

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КРУГ

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

ЗАПИСКИ

Редакция и вступительная статья
С. Я. ШТРАЙХА

ТОМ ПЕРВЫЙ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
КРУГ
МОСКВА — 1928

Главлит № А. 8417. Заказ № 302. Тираж 5000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата. Москва. Пятницкая, 71.



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Записки Вигеля любопытное и драгоценное приобретение для нашей народной и общежитейской литературы; они писаны умно и местами довольно художественно. Есть живость и увлекательность рассказа». Так отозвался об этих записках немедленно после появления их в печати П. А. Вяземский, свидетель и участник изображаемых в них событий, вдумчивый и остроумный наблюдатель, близко знавший автора их свыше сорока лет. Но уже за двадцать лет до того произведения Вигеля дразнили любопытство его современников, которые отмечали в своих дневниках и переписке с друзьями их огромное историческое значение, обменивались списками с них, распространяли их. Вместе с тем отмечались и отрицательные стороны этих писаний, в которых на ряду с умом, наблюдательностью и другими положительными сторонами дарования Вигеля отразились плохие личные качества его: болезненное самолюбие, непомерная гордыня, завистливое пристрастие. Один из этих современников, писатель Н. В. Берг, меланхолически заметил: «великое дело личность автора и его ренюме».

Вигель умер, сошли со сцены жизни все его современники, которым он внушал отвращение своими порочными вкусами, Записки Вигеля перепечатывались и читались, породив целую литературу отзывов и критических замечаний. А в наши дни, через восемьдесят лет после того как автор впервые читал в петербургских и московских салонах отрывки из своих Записок, ученые исследователи изображаемой в них эпохи, В. Ф. Саводник и академик М. Н. Сперанский, так характеризуют их значение:

«Озлобленный неудачник, неуживчивый мизантроп и холодный циник, каким был Вигель в жизни, сумел создать себе памятник непреходящего значения в виде своих знаменитых Записок, занимающих исключительное место среди русской мемуарной литературы. Записки Вигеля представляют собой обширную портретную галлерею русских людей первой половины 19 века и вместе с тем дают широкую бытовую картину тогдашней русской жизни». И авторы этой характеристики присоединяются к М. Н. Лонгинову, который за пятьдесят лет до них заявил, что с опубликованием записок Вигеля повторяется история с записками Сен-Симона, напечатанными после смерти автора и сделавшими его знаменитым.

При подготовке настоящего издания пришлось считаться с двумя обстоятельствами: во-первых, все напечатанные произведения Вигеля, в книгах или в старых журналах и сборниках, составляют большую библиографическую редкость, при чем не все они упомянуты даже в самых подробных справочниках; во-вторых, напечатано их свыше 120 печатных листов, т. е. около восьми обширных томов: семь томов записок и один том писем, памфлетов и пасквилей. Первое затруднение до известной степени удалось преодолеть путем розысков, второе пришлось разрешить путем сокращений.

Записки и письма Вигеля представляют для современного читателя чрезвычайный интерес именно, как обширная портретная галлерея русских людей эпохи Пушкина и как широкая бытовая картина тогдашней русской жизни, в частности литературной и театральной. Очень ценны они также ярким изображением нравов разлагающегося дворянства, особенно его самой гнилой верхушки — правящей аристократии. Но, конечно, совершенно не интересны в наше время десятки и сотни страниц рассуждений Вигеля о том, почему русские должны любить немцев или ненавидеть поляков и греков, и наоборот, смотря по тому, как в тот или иной момент своего писательского вдохновения сам автор

относился к этим народностям; зачем дед автора записок «чухонец» Вигелиус посылал одних своих сыновей служить немецкому королю, а других отдал на службу в русскую армию; рассказы Вигеля о том, каким талантливым стратегом был муж его сестры, генерал из полицейских приставов И. И. Алексеев, умевший хорошо устраивать кутежи, во время которых его драгуны обкрадывали подвыпивших офицеров; жалобы на то, что «негодные» молдаване и греки подкапывались под Вигеля во время его службы на юге; фарисейские рассуждения о том, как нежно и трогательно любит русский народ ниспосланных ему богом царей и как божественная воля проявилась в избрании Романовых; или философские размышления о том, что отчаянную храбрость готских племен воля всевышнего избрала для сокрушения человеческой гордыни, злости и пороков тогдашних обитателей Европы. Пришлось также считаться с нынешними издательскими возможностями и покупательскими способностями публики. Когда наступит пора полного переиздания всех памятников русской культуры, хотя бы и в негативном ее отражении, вероятно, будет напечатано и все, написанное Вигелем.

Поэтому в план настоящего издания включено только то, что может быть оправдано приведенной выше характеристикой записок Вигеля, что может служить пособием при изучении эпохи, когда развивалось первое русское революционное движение, закончившееся восстанием декабристов, когда зарождались в кружке Петрашевского идеи социализма и коммунизма. В соответствии с этим в книгу, разделенную на два тома, включены, кроме записок, письма Вигеля к А. С. Пушкину, П. Я. Чаадаеву, В. А. Жуковскому, М. Н. Загоскину, Н. С. Алексееву, при чем в записках восстановлены по рукописи, хранящейся в ленинградской государственной публичной библиотеке, все любопытные и неожиданные для нашего автора рассуждения о монархии и монархах, опущенные в предшествующих изданиях по цензурным соображениям.

Личная жизнь Вигеля так неинтересна и непривлекательна, что останавливаться на ее подробностях не нужно. Но сложные литературные и общественные отношения, отраженные в его занимательных записках и письмах, требуют пояснений, которые даны во вступительном очерке и в примечаниях к тексту. Примечания мои (некоторые из них введены в текст, в прямых скобках) не помечены, примечания П. И. Бартенева из «Русского Архива» помечены его инициалами, примечания Вигеля (некоторые из них введены в текст) помечены сокращением «Авт». В настоящем издании, по возможности, сохранены все особенности стиля и манеры изложения Вигеля, придающие его запискам и письмам живость и занимательность художественного рассказа. Ко второму тому приложены указатель имен и список литературных источников.

Многие оказывали мне содействие в работе советами и указаниями, особенно Н. О. Лернер, В. В. Майков, Б. Л. Модзалевский, Н. К. Пиксанов, А. О. Поверенный, жена моя Надежда Владимировна. Всем им глубокая признательность, равно как директорам библиотек: Института Ленина — Е. И. Короткому, Музея Революции — С. И. Мицкевичу, имени Ленина — Д. Н. Егорову.

Приложенный к первому тому портрет Вигеля дает хорошее представление о «зорком и любопытном его взгляде», о котором он сам говорит в своих записках.

С. Штрайх

Москва, январь-февраль 1928 г.

ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ВИГЕЛЬ

(ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЧЕРК)

1.

Пушкин хорошо знал Вигеля и ценил его талант рассказчика. С обычной сжатостью и меткостью своих характеристик поэт записал в дневнике, под 7 января 1834 года, про посещение Вигеля: «Вчера был он у меня — я люблю его разговор — он занимателен и делен». Но похвала Пушкина не безусловна. Ценя в своем давнишнем знакомце талант рассказчика, Пушкин кончает приведенную запись словами, которые построением всей фразы выявляют отвращение поэта к личной нравственности Вигеля: «Я люблю его разговор — он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве».

Конечно, не стыд за «неприличные» разговоры руководил пером Пушкина в этой записи. Поэт сам был чрезмерно щедр на нецензурные слова, и письма его к жене или к П. А. Вяземскому пестрят выразительными многоточиями даже в самых свободных изданиях. Запись о Вигеле интересна своей выпуклой обрисовкой нравственной сущности занимательного и дельного рассказчика: толки о мужеложстве пакостной нитью проходят через всю жизнь Вигеля. Прекрасно умевший приспособлять к умственному и нравственному уровню корреспондентов содержание и тон своих писем, Пушкин за десять лет до приведенной записи Дневника дал яркую характеристику Вигеля в черновом наброске письма к нему из Одессы в ноябре 1823 года.

Письмо это сопровождает знаменитое послание к Вигелю о Кишиневе. Из того и другого приведу строки, характерные для адресата (извлекаю дословно из последнего издания писем Пушкина под ред. Б. Л. Модзалевского, выпущенного Государственным издательством):

«Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить язык устанет!

Когда-нибудь на старый кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И не найду твоих следов!
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом.
Но только с этим городком
Я Кишинев равнять не смею.
Жалея о твоей судьбе,
Не знаю, придут ли к тебе
Под вечер милых три красавца.
На всякий случай, грустный друг,
Лишь только будет мне досуг,
Прощусь с Одессою, явлюсь:
Тебе служить я буду рад
Своей беседою шальною,
Стихами, прозою, душою,
Но, Вигель, пощади мой зад!

Это стихи, следственно, штука — не сердитесь и усмехнитесь, любезный Филипп Фил. — Вы скучаете в этом вертепе, где скучал я 3 года. Желаю вас рассеять хоть на минуту и сообщаю вам сведения, которых вы требовали от меня в письме к Шв: из 3 крас. Зна... думаю годен на употребление в пользу собственно самый меньшой. Он спит в одной комнате с бр. Михаи и тресутся немилосердно, — из этого можете вывести важные заключения, предоставляю их вашей опытности и благоразумию... У нас холодно, грязно — обедаем славно — я пью как Лот содомский и жалею, что не имею с собой ни одной дочки»...

Вся суть стихов и письма в полном отожествлении представлений о Вигеле и содомском грехе. И всегда упоминание о Вигеле было у Пушкина связано с названием этого библейского города.

Сообщая П. А. Вяземскому (14 октября 1823 года) об одесских встречах с общими знакомыми, Пушкин пишет: «Вигель здесь был и поехал в Содом — Кишинев, где думаю будет вице-губернатором». А в письме к жене от 21 октября 1833 года поэт говорит, повидимому, в ответ на ее письмо: «Княгине В. скажи, что напрасно она беспокоится о портрете Вигеля и что с этой стороны честное мое поведение выше всякого подозрения;

но что из уважения к ее просьбе я поставлю его портрет сзади всех других».

Конечно, Вигель знал о постоянном подтрунивании Пушкина над его слабостью, и удовольствия это ему не доставляло. Но Вигель, как многие его современники, понимал и ценил гений Пушкина и в своих отношениях к поэту сумел стать выше личного самолюбия.

Познакомился он с Пушкиным приблизительно в 1817 году, когда поэт вступил в литературное общество «Арзамас», одним из основателей которого был Вигель вместе с Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым, В. А. Жуковским и другими. Не сохранилось литературных свидетельств об их взаимоотношениях за первые годы знакомства, скоро прервашегося, так как в 1820 году Пушкин был сослан на юг и, повидимому, не переписывался с Вигелем. Но можно верить рассказу последнего о том, что встреча их в Одессе в 1823 году была Пушкину приятна.

Не только Жуковский и Блудов, как передает Вигель в своих записках, «наказывали» ему «войти в доверенность» Пушкина, «дабы отклонить поэта от неосторожных поступков», т. е. влиять на него в смысле консервативном. Другие арзамасцы — более близкие к Пушкину в политических взглядах — Вяземский и Тургенев, кроме прямой связи с поэтом, сносились с ним также через Вигеля. 25 сентября 1823 года А. И. Тургенев сообщал (из Петербурга) П. А. Вяземскому: «Я писал к Вигелю и просил прислать поэму поэта-африканца». Речь идет здесь о «Бахчисарайском фонтане». В конце ноября того же года Тургенев снова сообщал Вяземскому: «Я получил от Вигеля премилое письмо о Пушкине и стихи его, из коих 2 пиесы тебе посылаю, третью... Желал бы прочесть тебе письмо Вигеля, в котором есть и отрывки послания к нему Пушкина».

После одесских и кишиневских встреч были еще встречи и беседы в Москве и в Петербурге; о некоторых Вигель рассказывает в своих записках, например, о встречах в Москве в 1827 году, когда поэт приехал туда из Михайловской ссылки, и его буквально на руках носили. Остановлюсь на тех, о которых в записках не говорится.

В начале 1829 года А. Я. Булгаков писал из Москвы брату своему в Петербург о встречах с Вигелем и добавлял о поэте: «Давно к нам просится поэт Пушкин в дом, я болезнию отговаривался, — теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его к нам

ввести...» Когда вышел из печати нашумевший роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский», автор его просил Вигеля передать экземпляр книги Пушкину. Письмом от 11 января 1830 года поэт благодарил Загоскина за присылку книги, извещая его, что в «Литературной газете» будет статья А. А. Погорельского (Перовского) о романе, и добавлял: «если в ней не все будет высказано, то постараюсь досказать». Письмо это Пушкин переслал Загоскину также через Вигеля, который 14 января писал автору «Юрия Милославского» о полном успехе романа, передавал ему отзывы лучших тогдашних писателей и, своеобразно оттеняя значение отзыва Пушкина, добавлял: «Другой наш поэт, не совсем безызвестный, Пушкин, в восторге от вас. Я исполнил ваше поручение и послал ему назначенный экземпляр, но он уже прежде читал. Третьего дня приносил ко мне прилагаемое у сего письмо, но я был болен и не мог его видеть и принять... Пушкин говорит, что если он (Перовский) не отдаст вам всей справедливости и похвалы его будут слабы, то он берется за перо и накатает все, что чувствовал при чтении нашего творения».

После этого Загоскин уже прямо обратился с письмом к Пушкину, просил его дружбы, высказывал пожелание, чтобы «этот разбор (Погорельского) вам не понравился и вы бы сделали то, о чем мне намекнул в своем письме Ф. Ф. Вигель».

Были еще другие поводы для сношений Пушкина с Вигелем на почве литературной. Не сохранилось писем Пушкина к Вигелю, но дошли до нас три письма последнего к поэту, очень любопытные для определения их взаимоотношений в те годы, когда, по выражению Вигеля, «все заблуждения молодости» Пушкина «от света разума его исчезли, как дым». Проф. И. А. Шляпкин, опубликовавший эти письма, считает, не без некоторого преувеличения, что «Вигель — вдохновитель всего того, что набрасывает тень на светлый облик поэта 1831—1834 гг. и впоследстви портит его жизнь», подразумевая под тенью радовавший Вигеля отказ Пушкина от «заблуждений молодости» — от политического либерализма. Но сам Вигель, при всей своей непомерной гордыне, не приписывал себе того значения в жизни Пушкина, какое придает ему ученый исследователь. И в воспоминаниях о Пушкине и в письмах к нему Вигель проявляет умеренность и скромность, отсутствующие в его письмах к другим знакомым писателям.

Еще в 1818 году в затевавшемся арзамасцами литературно-политическом журнале Вигелю отводилась немаловажная роль помощника издателей. Пушкин, ценивший занимательность и дельность рассказов Вигеля, вспомнил о нем, когда в июле 1831 года пытался осуществить свой давнишний замысел издания литературно-политического журнала. В письме к шефу жандармов Бенкендорфу, которого Николай сделал цензурной сверхнянькой Пушкина, поэт жалуется на тягостное бездействие и просит разрешить ему журнал: «В России периодические издания не суть представители различных политических партий, и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостью взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению». Конечно, не Вигеля хотел Пушкин «мирить» с правительством, и не этот бывший арзамасский гусь страдал от «неприязни» николаевских министров к просвещению. Кроме желания воспользоваться для будущего журнала занимательными и дельными рассказами Вигеля, Пушкин, несомненно, рассчитывал на его служебные и личные отношения с тогдашним восходящим бюрократическим светилом, бывшим арзамасцем Д. Н. Блудовым. Так или иначе поэт сообщил Вигелю свой проект издания журнала и получил от него в ответ следующее (французское) письмо, относящееся к июлю — августу 1831 года:

«Мне надо поговорить с вами о тысяче дел, но нас разделяют двадцать две версты [Пушкин жил тогда в Царском селе], и мне приходится ограничиться десятком слов. Проект политико-литературного журнала восхитителен, я им очень занят; я искал и, кажется, нашел верный и в то же время приличный способ его исполнения. Вы знакомы с Уваровым, бывшим членом «Арзамаса». Хотя он не в особенно хороших отношениях с моим начальством, но благорасположен ко мне и в хороших отношениях с генералом Бенкендорфом. Ваш проект сообщен ему, он его одобряет, он им доволен, он им увлекается и, если вы хотите, он поговорит об этом с Бенкендорфом. Повторяю, вы знаете Уварова, знаете, что это придворный, раздраженный своими неудачами, но

не настолько злопамятный, чтобы отказываться от хорошего места, которое бы ему предложили; это человек умный, пресыщенный умственными наслаждениями, но всегда готовый снова начать литературную и ученую карьеру; в конце концов, это — добрый малый, но малый тщеславный, досадующий в нетерпении на то, что не достиг ни на одном из двух им выбранных путей того уважения и той власти, на которую он рассчитывал; теперь он выбрал третий путь — разбогатеть — и встретил на нем еще больше препятствий. По-моему, он изменился, по крайней мере, я нахожу его более любезным, чем он был раньше. Беда вся в том, что он вступил сначала на путь славы, потом — на путь почестей, приняв их один за другой, и окончательно смешал их. Это — ошибка, но его старые друзья были слишком требовательны, я бы сказал — даже несправедливы к нему; они предполагали в нем, не знаю почему, твердость стоика, душу римлянина; когда же они увидели, что обманулись, то отреклись от него, как от перебежчика или клятвопреступника. Несмотря на все мое уважение, на всю мою уступчивость к ним, я не нахожу его столь виновным; за мою вежливость, за мое благорасположение он платит мне тем же. За проект он ухватился с жаром, скажу даже — с юношеским увлечением. Он обещает, он клянется помогать его исполнению; с того момента, как он узнал, что у вас хорошее направление [политическое], он готов обожать ваш талант, которому до сих пор только удивлялся. По своему нетерпению, он хотел бы вас видеть почетным членом своей Академии наук. Первое свободное кресло в Российской Академии Шишкова должно быть вам назначено, вам оставлено [1]. Как поэту, вам не нужно служить, но почему бы вам не сделаться придворным? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему бы камергерскому ключу не украсить зад потомка благородного и древнего рода? Конечно, все это только предначертания счастья и почестей для того, кто не довольствуется одним прославлением своей родины, но хочет также

---

[1] С. С. Уваров был президентом российской Академии наук с 1818 года. Пушкин не был членом этой Академии, но 3 декабря 1832 года он был избран членом Российской Академии, учрежденной в 1783 году и включенной в 1841 году в состав Академии наук, как отделение русского языка и словесности. Президентом Российской Академии был А. С Шишков, направление которого в «Беседе» так жестоко высмеивалось арзамасцами, в том числе Пушкиным.

служить ей своим пером. Вы видите, что от вас только зависит иметь горячих и ревностных сторонников. Он сильно хочет, чтобы вы посетили его, но для бо́льшей верности напишите ему о желании иметь свидание, назначьте час и день, и вы получите быстрый, удовлетворительный ответ. Вы можете назвать меня в вашей записке, но ни слова не говорите о содержании этого письма. Оно должно было состоять из десятка слов, как я сказал вначале, но, кажется, я из тех людей, которым нужно два часа для их устного и три страницы для их письменного изложения. До свиданья. Когда же будет это свиданье? Вигель».

Нет данных, чтобы судить о том, последовал ли Пушкин совету Вигеля и обращался ли он к Уварову по вопросу о журнале, но есть любопытная подробность в приведенном письме. Известно, что через несколько лет между Пушкиным и Уваровым возгорелась сильная вражда: Уваров настойчиво преследовал поэта и, будучи по должности министра народного просвещения главным начальником цензуры, натравливал на Пушкина цензоров, вредил ему во мнении Николая первого; Пушкин заклеймил Уварова званием казнокрада в оде «На выздоровление Лукулла» и отзывался о нем в тоне глубочайшего презрения, что отмечено несколькими записями в Дневнике. Но в описываемое время отношения их были весьма приличны. Может быть, не без влияния Вигеля обратил Уваров внимание на «хорошее направление» Пушкина. Осенью 1831 года он перевел на французский язык написанное поэтом по поводу польского восстания стихотворение «Клеветникам России», послав автору свой перевод при письме, наполненном похвалами. Пушкин ответил на это письмом, в котором ироническое отношение к поэтическим талантам Уварова прикрыто сильными комплиментами. Через год Уваров пригласил поэта посетить вместе с ним, как с министром просвещения, Московский университет и, по свидетельству И. А. Гончарова, представляя студентам Пушкина, говорил о большом значении его для литературы. Лишь после этого их отношения стали явно портиться и вылились в жестокую вражду.

Отношения Вигеля к Уварову, как он сам писал Пушкину, были в это время с внешней стороны взаимно-благожелательны, но вскоре и они испортились. В литературе нет об'ективных данных для установления повода и времени размолвки Вигеля с Уваровым, но через несколько лет он писал Загоскину, что

«имеет все причины ненавидеть Уварова», а в Записках своих отзывается о нем очень плохо. Правда, сообщения Вигеля о стяжательности Уварова и его карьеристских стремлениях в общем подтверждаются свидетельствами других современников, но своеобразное значение приобретают такие отзывы в письме, имеющем как будто целью сближение двух людей. И если не Вигелю принадлежит главная роль в развитии вражды между Пушкиным и Уваровым, то, имея в виду его любовь к интригам и сплетням, можно считать указанное место его письма к Пушкину не единичной попыткой сеять в душе поэта чувство недружелюбия к Уварову. Отметив двойственную роль Вигеля в отношениях между Пушкиным и Уваровым, остановлюсь на других встречах Вигеля с поэтом.

В 1832 году, как рассказывает Вигель в памфлете «Москва и Петербург», он виделся с Пушкиным и говорил поэту о своем намерении переехать на постоянное жительство в Москву, где надеется «отдохнуть от бурь житейских». «Нет, сказал он мне,— передает Вигель ответ Пушкина, — не ездите туда. Я сам должен был оставить Москву; я вас знаю, вы будете изнывать, глядя на все, что там происходит. В обществе какая бестолковщина, и какой мрачный характер принимает зреющее, учащееся юношество; грустно смотреть на него: что за правила, что за суждения!» К 1834 году относится приведенная выше запись Пушкина об его встречах и беседах с Вигелем.

Ко второй половине октября 1836 года относится второе письмо Вигеля к Пушкину. Оно вклинивается в отношения Пушкина к Чаадаеву и написано по поводу знаменитого «Философического письма». Приведу его полностью (первый абзац писан по-русски, второй — по-французски): «Вы требуете от меня того, об чем я сам хотел просить вас. У меня есть человечек-машинка, который очень исправно переписывает ему совершенно непонятное. Его рукою писано письмо мое и мною даже не подписано. Вот вам доказательство, что я не ищу его известности; оно писано для одного. Надобно было быть уверену в его уме и проницательности, чтобы осмелиться так писать. Он один сквозь некоторую досаду мог увидеть беспредельную к нему любовь и преданность; его талант поставил выше мелочей обыкновенного самолюбия. Он может не уважить мнением моим, но чувства, я знаю, всегда уважал. Я болен, без того бы сам к вам явился. Я чувствую простуду и в то же время моральную болезнь, ка-

кое-то непонятное лихорадочное беспокойство. Нежную обожаемую мать разругали, ударили при мне по щеке; желание мести и бессилие меня ужасно тревожит. Я ожидаю от Дим. Ник. извещения, когда удобнее ему будет дружески, по-арзамасски, побеседовать с вами.

Вскрываю свое письмо, чтобы сказать вам, что Блудов с нетерпением ждет вас в среду от десяти утра до трех часов дня. Известите меня, должен ли я притти к вам; я очень болен, но мертвого или живого вы увидите меня у себя, если прикажете». В фразе об обожаемой матери, которую ударили по щеке, подразумевается «Философическое письмо» Чаадаева.

Еще в 1831 году, когда Чаадаев в списках распространял свои «Философические письма», высоко ценивший его произведения Пушкин делал несколько попыток напечатать их. Это ему не удалось. Когда в сентябре 1836 года появилось в «Телескопе» сильно нашумевшее «Философическое письмо», приведшее к гонению на автора, к закрытию журнала и к ссылке издателя, Н. И. Надеждина, в кругу Пушкина отнеслись к Чаадаеву отрицательно.

П. А. Вяземский особенно резко высказался по поводу чаадаевской теории. Он написал министру народного просвещения С. С. Уварову письмо, в котором доказывал, что от выступлений, подобных чаадаевскому, происходят революционные движения. В своей защите якобы поруганной Чаадаевым чести знаменитого историка, Вяземский дошел даже до имеющей явный оттенок доноса ссылки на авторитет императора Александра первого, который-де признавал великое значение Истории Государства Российского и очень чтил Н. М. Карамзина (женатого на сестре Вяземского). Но, узнав, что статьи Чаадаева навлекли на него гонение, Вяземский не отправил своего письма по назначению и писал А. И. Тургеневу, что особенно возмущается статьей Чаадаева из-за невозможности высказываться о ней публично: «опровержение было бы обвинением, доносом». Позднее между ним и Чаадаевым была дружеская переписка.

Вигель тоже выступил с письмом против статьи Чаадаева: он не смущался подозрением в доносе и требовал от петербургского митрополита Серафима, именем православной церкви, принятия мер против автора богохульной статьи. Донос этот характерен для Вигеля вообще, но некоторые места из него представляют особенный интерес. Приведу их:

«Прожив более полувека, я никогда ничьим не был обвинителем. Но вчера чтение одного московского журнала возбудило во мне негодование, которое, постепенно умножаясь, довело меня до отчаяния. Если вашему высокопреосвященству угодно будет прочитать хотя половину сей богомерзкой статьи, то усмотреть изволите, что нет строки, которая бы не была ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, кое бы не было жесточайшим оскорблением нашей народной чести. Сей изверг, неистощимый хулитель наш, родился в России, от православных родителей, имя его (впрочем, мало доселе известное) есть Чаадаев. Среди ужасов французской революции, когда попираемо было величие бога и царей, подобного не было видано.

Безумной злобе сего несчастного против России есть тайная причина, коей впрочем он скрывать не старается: отступничество от веры отцов своих и переход в латинское исповедание. Вот новое доказательство того, что неоднократно позволял я себе говорить и писать: безопасность, целость и величие России неразрывно связаны с восточною верою, более осьми веков ею исповедуемою. Стоит только принять ее, чтобы сделаться совершенно русским, стоит только покинуть ее, чтобы почувствовать не только охлаждение, омерзение к России, но даже остервенение против нее, подобно сему злосчастному, слепотствующему, неистовому ее гонителю. Он отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами и, в исступлении своем, наконец, нападает даже на самую нашу наружность, в коей видит бесцветность и немоту. Сама святая и соборная апостольская церковь вопиет к вам о защите».

В это время Вигель был директором департамента иностранных исповеданий, куда Блудов привлек его на службу в 1829 году. Чиновная карьера давалась Вигелю очень туго в виду неуживчивости его характера, и честолюбия ради он готов был сделать, что угодно. Конечно, он ухватился за преступную с точки зрения его прямых служебных обязанностей статью русского католика Чаадаева, главным образом, для того, чтобы показать митрополиту свою преданность православию. А это было единственное для Вигеля средство открыть себе путь к министерской должности синодального обер-прокурора.

Непонятно, для чего и каким образом хотел Вигель привлечь Пушкина к своему выступлению против Чаадаева. Трудно

также установить, что «требовал» от него Пушкин, и что имеет Вигель в виду первыми словами своего льстивого письма к поэту. Проф. И. А. Шляпкин полагал, что Вигель говорит здесь о своем опровержении «Философического письма», но при усвоенной Вигелем системе распространения своих писаний в копиях среди тогдашнего общества, несомненно, до нас дошло бы если не самое это опровержение, то хоть какое-нибудь упоминание о нем в переписке или мемуарах современников. И если до сих пор остается открытым вопрос о том, чего хотел Вигель от поэта в связи с «Философическим письмом» и зачем хотел он свести Пушкина с Д. Н. Блудовым по этому же поводу, то совершенно ясно, что попытка Вигеля воспользоваться в чаадаевской истории содействием Пушкина была безнадежна.

Пушкин тоже писал по поводу статьи Чаадаева — к самому автору: «Я довольно далек от полного согласия с вашим мнением», — писал поэт и, говоря о роли России, как спасительницы Европы во время нашествия монголов, добавлял: «Что касается нашего исторического ничтожества, то я решительно не могу с вами согласиться... После возражений я должен вам сказать, что в вашем послании есть много вещей глубокой правды... Вы хорошо сделали, что громко это высказали, но я боюсь, что мнения ваши об истории вам повредят». Письмо это датировано 19 октября 1836 года, но не было отправлено по назначению, так как Пушкин узнал о постигшей Чаадаева неприятности и не хотел навязываться к нему со своими рассуждениями и советами. Исследователь жизни и творчества Чаадаева, М. О. Гершензон, говорит, что из всех современных читателей «Философического письма» его понял один только Пушкин.

Третье письмо Вигеля к Пушкину датируется декабрем 1836 года. В нем читаем: «Я вам посылаю, почтеннейший Александр Сергеевич, как французский оригинал, так и русский перевод моей маленькой статьи; жаль мне будет, если читатели найдут ее слишком длинною. Ее участь вручаю вам, делайте, что хотите. Перевод, даже карандашом мною исправленный, мне кажется еще слабее оригинала. Не щадите моего самолюбия, скажите: дурно; но если б, переделав, перекроив, вам вздумалось представить публике мой беглый труд, мне желательно было бы окрестить его следующим именем: «Быстрый взгляд на историю славян». Французский оригинал посылаю вам только для сравнения; он у меня один; возвратите мне его, сделайте милость,

чтоб для знакомых мог я велеть снять с него копии. Вечно ваш Вигель».

Опубликовавший это письмо проф. И. А. Шляпкин высказал предположение, что в нем говорится все о том же ответе Вигеля на «Философическое письмо» Чаадаева. Но в академическом издании переписки Пушкина этому письму Вигеля предшествует письмо Пушкина к В. Ф. Одоевскому за ноябрь-декабрь 1836 года, в котором поэт пишет: «Вигель мне сказывал, что он вам доставил критику статьи Булгарина. Если она у вас, пришлите мне ее». А вслед за письмом Вигеля в названном издании помещено ответное письмо Одоевского, который сообщает Пушкину: «Я хотел было послать к вам статью Вигеля, но у меня перехватила ее редакция «Литературных прибавлений» (к «Русскому инвалиду»), которая взялась завтра вам ее доставить; между тем ее перепишут и пустят в ход. Статья прекрасна, но наверное уничтожат в ней лучшую половину».

К сожалению, нет более подробных сведений об этой статье Вигеля, но ясно, что Пушкин и его литературные друзья считали полезным содействие Вигеля в их борьбе с журналистом, обслуживавшим жандармское ведомство. Редактор новейшего издания писем Пушкина, Б. Л. Модзалевский, в личном сообщении мне высказывает предположение, что Вигель написал опровержение на статью Булгарина о «Современнике», в существовании которого этот правительственный журналист видел подрыв своим изданиям, — но статья Вигеля, повидимому, напечатана не была. Может быть, этому помешала острота ее содержания, о которой говорит и В. Ф. Одоевский.

Менее чем через два месяца после этого Пушкин умер. Сообщая В. Ф. Одоевскому в марте 1838 года о своем желании подписаться на журнал, основанный поэтом, Вигель писал: «Я все надеюсь как будто бы еще побеседовать с Пушкиным, когда буду читать «Современник» нынешнего года... Я также знал его, дивился ему и всей душой его любил, но, увы! бесталанный, что кроме бедного лепта, белой бумажки [подписные деньги] могу принесть я в дар?»

Вернусь к отношениям Вигеля и Чаадаева. Здесь много интересного для характеристики автора Записок и его общественных отношений. После упомянутого выше доноса на «Философи-

ческое письмо», Вигель несколько раз высказывался о Чаадаеве — в частных письмах или в публицистических очерках (они напечатаны в разное время после смерти автора) — и всегда сопровождал свои отзывы насмешкой над Чаадаевым, как над ученым и мыслителем. Пытался он также в своих письмах выразить презрение к Чаадаеву, как к человеку ничтожному, без всяких прав претендующему на популярность и уважение общества. Но все эти выходки против Чаадаева отдают плохо скрытой завистью человека, который, благодаря природному уму, хорошо сознавал, что по своему характеру и по своим личным качествам он никогда не добьется ни популярности, ни уважения.

В 1840 году Вигель переехал на жительство в Москву (о причинах этого переезда — ниже) и встречался с Чаадаевым, который, конечно, знал о выступлениях Вигеля против него, но от встреч с ним не уклонялся. Вряд ли Вигель мог заблуждаться насчет истинных чувств, которые должен был питать к нему Чаадаев, и меньше всего он мог ожидать, что Чаадаев станет посылать ему к именинам свой портрет с поздравительными стихами. Тем не менее, в один из своих кратковременных наездов в Петербург, Вигель послал оттуда Чаадаеву в Москву следующее письмо:

«30 ноября 1849 г. С.-Петербург.

Милостивый государь Петр Яковлевич.

Часу в девятом утра 14 ноября, когда еще был я в постели, принесли мне, неизвестно от кого, свиток бумаги: это был первый подарок старому, многими уже забытому имениннику. Развернув свиток, как в изображении, так и в деликатности поступка узнал я истинного христианина, кроткого сердцем, незлобивого, и человека, высокою своею светскою образованностью, ныне уже столь редкою, украшающего московское общество. Стихи, которые нашел я на обертке, весьма правильны и милы: но чьи они, вероятно, того же человека, которому стоило хорошенько заняться русским языком, чтобы и на нем показать совершенство слога.

Снисходительность часто возбуждает к нескромности, и оттого всепокорнейше просил бы я вас, если возможно, доставить мне другой экземпляр портрета вашего. Сие делаю я вследствие желания, из'явленного одной придворной дамой, которая про-

шедшей весной имела удовольствие познакомиться с вами. С совершенным почтением и преданностью честь имею быть, милостивый государь, ваш покорнейший слуга Ф. Вигель».

Чаадаева эта история возмутила, и он старался выяснить виновника глупой шутки, но безуспешно. Из переписки Чаадаева видно, что кто-то без его ведома унес из его квартиры его литографированный портрет с заготовленной надписью, без личного обращения, и от имени Чаадаева переслал этот портрет Вигелю ко дню именин последнего с поздравительными стихами. Получив письмо Вигеля, Чаадаев написал ему ответ, в котором виден отклик на вигелевский донос 1836 года, когда Вигель уверял митрополита в своем патриотизме и в нелюбви Чаадаева к России.

Свой ответ Чаадаев послал через В. Ф. Одоевского, которому рассказал всю историю, приложив для него копию письма Вигеля и своего ответа последнему, добавляя, что адрес Вигеля ему неизвестен, но его можно найти у Блудовых.

[5 января 1850 г. Москва].

«М. г. Филипп Филиппович.

Портрета своего я вам не посылал и стихов не пишу, но благодарен своему неизвестному приятелю, доставившему мне случай получить ваше милое письмо. Этот неизвестный приятель, сколько могу судить по словам вашим, выражает свойства души вашей, приятный ум ваш, многолюбивое ваше сердце. Теплую любовь к нашему славному отечеству я чтил всегда и во всех, но особенно в тех лицах, которых, как вас, общий голос называет достойными его сынами. Одним словом, я всегда думал, что вы составляете прекрасное исключение из числа тех самозванцев русского имени, которых притязание нас оскорбляет или смешит. Из этого можно заключить, что долг христианина в отношении к вам мне бы не трудно было исполнить. Сочинитель стихов, вероятно, это знал и передал вам мои мысли, не знаю, впрочем, с какой целью; но все-таки не могу присвоить себе, что вы пишите, тем более, что о содержании стихов могу только догадываться из слов ваших. Что касается до желания одной почтенной дамы, о котором вы говорите, то с удовольствием бы его исполнил, если б знал ее имя.

В заключение не могу не выразить надежды, что русский склад этих строк, написанных родовым русским, вас не удивит,

и что вы пожелаете еще более сродниться с благородным русским племенем, чтобы и себе усвоить этот склад.

Прошу вас покорнейше принять уверение в глубоком моем почтении и совершенной моей преданности».

Казалось бы, что после этого издевательского письма, где в остроумной форме дана яркая и верная характеристика Вигеля, последний должен был оставить в покое автора «Философического письма». Но двуличный и неприличный Вигель не унялся. Пришлось Чаадаеву снова писать ему, да еще придать своему письму огласку. Невозможно установить точную дату письма Чаадаева, но вряд ли можно сомневаться, что оно относится ко времени после истории с портретом: не только Чаадаев к Вигелю, но даже сам Вигель, вероятно, не стал бы обращаться к Чаадаеву после этого письма. Вот оно:

«М. г. Филипп Филиппович.

С тех пор как вы изволили переселиться в Москву, я не переставал оказывать вам самое дружеское расположение, следуя тому евангельскому учению, которое предписывает нам любить врагов наших. Обращение мое с вами нередко навлекало на меня упреки моих приятелей, которые единогласно мне предсказывали, что этим не избегну какого-нибудь нового доказательства вашего недоброжелательства. Это предсказание, кажется, сбылось. Вы, слышал я, везде говорите и повторяете, что я на вас «навязываюсь». Позвольте же, не переставая любить вас, с вами развязаться.

Люди ищут приязни других людей или из каких-нибудь вещественных выгод, или с тем, чтобы насладиться их прекрасными душевными или умственными свойствами, или, наконец, для того, чтобы стать под сень их доброго имени. Которая же, по вашему мнению, из этих причин заставляет меня искать вашего благорасположения? Какими вещественными выгодами можете вы меня наделить? Кого, скажите, могут привлечь прекрасные ваши свойства? Признайтесь, что вам самому показалось бы смешно, если бы кому-нибудь вздумалось не шутя говорить вам о том уважении, которым вы пользуетесь в обществе. Итак, я просто исполнял долг христианский, платя добром за зло. К сожалению моему, исполнение этого долга вы сделали почти невозможным. Не прогневайтесь же, если мое доброжелательство к вам выразится теперь иным образом; если для собствен-

ной пользы вашей, для вашего поучения, я дам этому письму некоторую гласность. Это, кажется, лучшее средство вывести вас из заблуждения».

После этого нечему удивляться, что в своем памфлете «Москва и Петербург», написанном в сентябре 1853 года, Вигель называет Чаадаева «сочинителем без сочинений и ученым без познаний». Впрочем, еще в мае 1850 года Вигель писал Загоскину, что А. Д. Блудова, только что вернувшаяся из Москвы, «без зевоты и смеха не может слышать имени Чаадаева; то же самое и другие придворные дамы и девицы, посетившие Москву».

3.

Таким же двуличным был Вигель почти всегда в своих отношениях с современниками: в письмах к ним самим или в личном общении — ласковый, со сложенными в нежную улыбку губами, в письмах к другим лицам, и отчасти в Записках — язвительный и злой. Исключений было очень немного,—в их числе — Пушкин.

Чрезвычайно интересно отношение нашего автора к Н. В. Гоголю. В 1836 г. Вигель писал М. Н. Загоскину, расхваливая его патриотические в квасном стиле пьесы: «То ли дело «Ревизор»; читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил он плутней, подлостей, невежества. Я, который жил и служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях. А наша-то чернь хохочет, а нашим-то боярам и любо; все эти праздные трутни, которые далее Петербурга и Москвы России не знают, половину жизни проводят за границей, которые готовы смешивать с грязью и нас, мелких дворян и чиновников, и всю нашу администрацию, они в восторге оттого, что приобретают новое право презирать свое отечество, и, указывая на сцену, говорят: вот она, Россия. Безумцы. Я знаю г. автора — это юная Россия во всей ее наглости и цинизме».

А после выхода в свет «Переписки с друзьями» Вигель послал Гоголю письмо, в котором заявлял: «Сочинитель этих писем так же высоко стоит над автором «Ревизора» и «Мертвых душ», как сей последний далеко отстоит от Шаликова [бездарный стихоплет, над которым потешались все современники, в их

числе и Вигель — в III ч. Записок]. Не могу описать восторгов, с которыми смотрел я на перерождение Гоголя... Гоголь был доселе верный наблюдатель нравов [в «Ревизоре» и «Мертвых душах»?!], искусный их живописец, остроумный и оригинальный автор; но как все это далеко от необыкновенного мужа, умевшего соединить в себе глубокую мудрость с пламенной поэзией души... И что за мысли! И какая их выразительность!.. Когда в первой молодости создали вы себе идеал совершенства и начали искать его между вашими соотчичами, когда вместо того встречали вы часто множество гнусных пороков и, вооружив руку огромным хлыстом, перевитым колючим терннем, с ожесточением, без милосердия, стали стегать в них, тогда эти люди с остервенением вам рукоплескали... Блеск необыкновенного ума вашего их восхитил; они в состоянии были понять, даже оценить его, особенно же всю едкость вашей, тогда неумолимой, чудесной, как бы не сказать, изящной злости. Долго, долго близорукие их очи любовались доступными их зрению, всеми признанными великими литературными вашими достоинствами... О, если б сердца этих людей получили способность к восприятию двойного небесного огня, коим вы об'яты, если б хоть одна искра его туда к ним заронилась!»

И дальше, сравнивая Гоголя с пророками, Вигель скромно сравнивает себя самого с Гоголем:

«Уже действие вашего примера и поучений становится ощутительно. Вы весьма справедливо заметили, что Пушкин красотою своего стихотворного слога увлек и обратил в подражателей других отличных поэтов, гораздо прежде его на поприще выступивших. Так точно и вы красотою ваших мыслей и чувств сильно подействовали на человека, далеко вас в жизни опередившего. Вы не могли указать ему на недостатки его; но заставили его самого с сокрушением к ним обратиться... Было время, что я вас долго и близко знал (о, горе мне) и не узнал! С обеих сторон излишнее самолюбие не дозволяло нам сблизиться...»

Гоголь благодарил Вигеля за отзыв о «Переписке с друзьями», высказывая уверенность, что Записки Вигеля не дадут забыть его имя в России, и добавляя, что всегда почитал его человеком «очень умным». Безудержность вигелевских похвал вскружила и без того закрутившуюся в это время голову Гоголя. Он забыл, что отзывы Вигеля о «Ревизоре» и «Мертвых душах» вызваны не столько досадой на плохое понимание авто-

ром действительной жизни, сколько словами его о «подлой роже директора департамента», в чем Вигель усмотрел личную обиду,—и Гоголь писал последнему: «Приятно прочесть те строки вашего письма, где мельком показали вы мне вашу душу. Любить добро земли своей есть не общее всем качество и стоит многих громких заслуг и выслуг». В то же время Гоголь писал А. О. Смирновой, прося ее навестить Вигеля проездом через Москву: «Я всегда о нем думал, что он умный и притом честный и благородный человек, в чем согласны были все знавшие его недостатки и грехи; но я никогда не думал, чтоб он так высоко чувствовал и умел понимать вещи, как увидел теперь из его письма, и мне стало очень грустно за его одиночество».

И другие литературные знакомцы Вигеля хвалят его, но в их оценках личности и дарования автора Записок он обрисовывается не так одностороние. В 1838 году Вигель был в Москве и очень сблизился с М. П. Погодиным, который записал в своем дневнике: «Я сказал ему — надо ездить к вам слушать очерки тех высоких комедий, из коих составляется история человеческого рода». Правда, Погодин имел в виду высокое служебное положение Вигеля и его близкие отношения с высшими представителями правящих кругов, что было важно для молодого историка, искавшего тогда путей для служебной карьеры, правда, Вигель с величайшими комплиментами отозвался о «патриотической» статье Погодина по польскому вопросу, — но Погодин отмечает в дневнике, что Вигель показался ему похожим на иезуита (иезуитское отмечает в личности Вигеля также И. П. Липранди). Записывает также Погодин рассказ А. Г. Глаголева о том, какие унижения перенес последний во время службы при Вигеле в качестве чиновника департамента иностранных исповеданий.

Меньше всего могли служившие при Вигеле чиновники быть спокойными и надеяться на беспристрастие начальника. Переписка товарищей Вигеля по «Арзамасу» — П. А. Вяземского и А. И. Тургенева — пестрит его именем в различных упоминаниях, и почти всегда здесь говорится об его пристрастии. Хорошо знавший Вигеля И. П. Липранди так рисует его начальническое беспристрастие: «Он был надменен в высшей степени с низшими, на которых смотрел всегда, как на врагов своих... Если подчиненный осмеливался в его присутствии чихнуть, этого бывало достаточно, чтобы последний остался навсегда у него

на замечании... Все должны были соображаться с его вкусом, с его взглядом, с его привычками, причудами... Если он в постороннем частном обществе встретит одного из своих подведомственных сидящим, когда он сам на ногах, тогда этот подведомственный нажил уже себе непримиримого врага... Подчиненные его старались не сближаться с ним, но между ними всегда находился один, который, подметив его слабость, льстил ему... и таким образом забирал его в руки и округлял свои дела...»

Двуличие — в отношениях Вигеля почти со всеми знакомыми. Яркий образчик этого — в отношениях с А. Н. Раевским — Пушкинским Демоном. В своих записках (во втором томе настоящего издания) Вигель изображает его коварным, злым, человеконенавистным и рисует портрет его самыми мрачными красками. В частном письме к А. С. Хомякову (от 28 апреля 1842 г.) он с самой слащавой улыбкой спрашивает: «Что делает наш московский знакомый, А. Н. Раевский, — этот так называемый Демон, который мне мил, как Ангел? Поклонитесь ему от меня...» И зная, какие чувства должен питать к нему Раевский еще с 20-х годов, со времени их встреч в Одессе, Вигель прибавляет: «но не говорите ни слова о моем участии [по поводу личных утрат Раевского], оно не только не поможет, но и не утешит его!» Такого же характера его отношения к В. Ф. Одоевскому. В письме к последнему Вигель хвалит его сочинения и его самого, а в памфлете «Москва и Петербург» презрительно называет его «одним из многочисленных» русских князьков, «окутанным в юродивость Гофмана и в музыкальную метафизику Баха и Бетховена». О своем двуличном отношении к М. Н. Загоскину Вигель сам, не обинуясь, рассказывает в записках. А. И. Тургенев писал в 1845 году П. А. Вяземскому: «Вчера достал письмо Вигеля Ефимовской — что за охота напоминать о своей двойной натуре?»

Называя А. С. Хомякова в памфлете «Москва и Петербург», необыкновенио умным человеком, слова которого блистают, как молнии, говоря о нем в письме к нему, как о настоящем пророке, совершенно неоцененном Москвою, которой нужны плешивые лжепророки вроде П. Я. Чаадаева, восторгаясь его деятельностью по возвеличению славы России над дряхлым Западом, — Вигель в памфлете по поводу знаменитого стихотворения Хомякова «России» говорит о гордыне его духа и о преклонении перед врагами родины. В этом отзыве проявилась та черта

характера Вигеля, которая метко определена А. И. Герценом, как «русский патриотизм немецкого происхождения», и которая продиктовала ему в памфлете «Москва и Петербург» следующие слова: «вообще я знаю по опыту, что Россия не имеет сынов преданнее обрусевших немцев и врагов злее онемеченных русских, каковы, например, Бакунин, Герцен, бежавшие из Москвы». Заодно Вигель обругал здесь и славянофилов, назвав их «немцами, переряженными в армяки и красные рубашки с косыми воротниками», которые «чуждаются всех умных русских, сохраняющих древний образ мыслей насчет России, и с омерзением смотрят на них». Этот памфлет, распространенный в рукописи, вызвал, по свидетельству П. И. Бартенева, ответ автору в стихах, в которых было такое обращение:

Ты, с виду кающийся мытник,
России самозванный сын,
Ее непрошенный защитник,
На все озлобленный мордвин.

4.

О своем происхождении Вигель рассказывает, что по отцу, который был киевским комендантом и пензенским губернатором, он — «финн, или эст, или, попросту сказать, чухонец»; по матери он принадлежал к русскому дворянскому роду Лебедевых. Родился он 12 ноября 1786 года в симбирской деревне своего отца, детство провел в Киеве, а в начале 1798 года был перевезен в Москву. С этих пор развивается в характере Вигеля испортившая ему всю жизнь озлобленность, порожденная страданием его врожденной гордости и самолюбия от непривлекательной роли приживальщика в домах знатных вельмож: Салтыковых и Голицыных. В доме московского генерал-губернатора И. Н. Салтыкова, где проживал Вигель, самолюбие его получило первые щелчки от насмешек боярской челяди над его неповоротливостью и недостаточной сообразительностью при попытке обучать его совместно с графским сыном; в киевской деревне опального при Павле первом — С. Ф. Голицына страдал он весь 1799 год, как соученик княжеских сыновей, мать которых проявляла в обращении с ним всю спесь племянницы Потемкина. В промежутке между учением в этих двух домах Вигель провел несколько месяцев в московском частном пансионе, где 13 лет от

роду влюбился в 15-летнюю соученицу-француженку, в «черных глазах которой блистал весь пламень востока и юга» и в руку которой он всунул любовную записку во время танцовального класса, всегда бывшего для него «часом искушений». Более сложными, чем в московском пансионе, были достижения Вигеля по части познания добра и зла в имении Голицыных. Один из молодых князей заговорил со своим товарищем таким языком, что он «покраснел от стыда и ужаса, но вскоре начал слушать его с удовольствием», а их общий гувернер, французский полковник Ролен-де-Бельвиль, судя по намекам Вигеля, познакомил его с тем грехом, о котором впоследствии говорил Пушкин в своем послании к нему и упоминали в своей переписке о Вигеле Вяземский и Тургенев. Зато русскому языку учился он у И. А. Крылова, который жил у Голицыных в качестве преподавателя их сыновей. Вигель с гордостью и благодарностью вспоминал об этом, а в своих записках оставил интересную и содержательную характеристику Крылова той поры, принятую после критической проверки его биографами.

Наконец, Голицыны решили отправить своих детей в столицу, а 15-летний Вигель был определен в военную службу. В 1800 г. прибыл он в Петербург. Вместо полка Вигель попал, однако, в коллегию иностранных дел под начальство Ф. В. Ростопчина, который по просьбе покровителей определил его в московский архив этой коллегии — в знаменитый рассадник «архивных юношей». Здесь болезненное самолюбие Вигеля снова подверглось сильному испытанию: его товарищами по службе большей частью были богато-одаренные молодые люди вроде братьев А. и А. Тургеневых, А. и К. Булгаковых, Д. Н. Блудова, П. Б. Козловского. В их блестящем кругу неродовитый Вигель терялся. Он чувствовал себя обиженным оттого, что не мог вести такой же образ жизни, как сыновья богатых фамилий. А по выходе из архива, конечно, не мог угнаться в служебной карьере за своими бывшими товарищами, связанными родством или другими отношениями с правящей аристократией.

Все эти испытания молодых лет и были причиной жгучей ненависти Вигеля к родовитой аристократии, которую он так сильно клеймит в своих записках. Дальше пошли одна за другой служебные неудачи Вигеля, из которых особенно остро и долго помнил он неудачу в министерстве внутренних дел, приписываемую им исключительно недоброжелательству М. М. Сперанского.

Может быть, Сперанский и недолюбливал Вигеля — для этого были все данные в полной противоположности их характеров, но то, что сообщает по этому поводу сам Вигель, ни в какой степени не оправдывает той бешеной ненависти к Сперанскому, которая проходит через все части иаших записок. Один исследователь отмечает, что эти отзывы Вигеля являются наиболее ярким отголоском ненависти помещичьего класса к преобразованиям Сперанского, подтачивавшим основы крепостного строя и между прочим нарушавшим в пользу разночинцев и поповичей монополию этого класса на все материальные блага государственной службы. Зная характер Вигеля, можно считать, что в его ненависти к Сперанскому проявилась также болезненная зависть его к человеку, который благодаря своим природным дарованиям сумел занять видное место в рядах правящей бюрократии, к чему Вигель долго и тщетно стремился. Особенно возмущал неполучившего систематического образования Вигеля закон, требовавший от чиновников сдачи университетских экзаменов для повышения по службе. Самолюбие и природная лень Вигеля мешали ему преодолеть это препятствие прямым путем. Позднее он обошел это препятствие при содействии Блудова.

Целых двадцать лет провел Вигель в переходе с одного места службы на другое и нигде не мог устроиться в смысле хорошей карьеры. Были у него длительные перерывы в службе, и тогда он уезжал в Пензу к отцу или в деревню к матери. В 1805 году он участвовал в известном посольстве графа Ю. А. Головкина в Китай, но доехал только до Кяхты, откуда посол отправил его обратно в Россию. Неуживчивость Вигеля, его подозрительность, постоянная мысль о том, что начальство относится к нему без должного уважения, зависть к сослуживцам, делавшим, по его убеждению, незаслуженно более быструю чиновную карьеру, — все это мешало ему успешно продвигаться по службе. Эти свойства сочетались в нем еще с ленью и неаккуратностью человека причудливого, по нескольку дней не являвшегося на службу вследствие внушенной самому себе болезни, убегавшего из канцелярии потому, что там накурено, или потому, что искусственный свет вредит его зрению. В глазах чиновного начальства эти недостатки, конечно, не искупались даровитостью Вигеля, его уменьем быстро схватывать сущность дела, способностью хорошо написать докладную записку. Эти положительные качества, в первые годы, также мешали карьере Вигеля: ближайшие началь-

ники могли опасаться, что он обойдет их по службе. Сразу же перейти в разряд крупных бюрократов Вигель не мог вследствие отмеченной неродовитости его, отсутствия связей в высших правящих кругах. Наконец, приятель его по службе в московском архиве министерства иностранных дел и по литературному обществу «Арзамас», Д. Н. Блудов, выдвинувшийся к 20-м годам благодаря своим связям в аристократических придворных кругах, отрекомендовал Вигеля новороссийскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову, который назначил его чиновником при управлении Бессарабской областью. Но Блудову еще пришлось повозиться со своим приятелем. В сентябре 1823 года он писал Воронцову: «Согласен с Вами, что Вигель может быть Вам особенно полезен на том месте, которое Вы ему только что дали, он человек рассудительный и, естественно, склонен к наблюдениям; за его искренность я ручаюсь, так же как за его прямодушие. У него, может быть, больше общих познаний, чем это требуется в крае, где он находится... Кроме преданности общественому делу, он питает к вам безграничную преданность. Я получил от него два письма, в которых он не говорит почти ничего, кроме восхищения, которое Вы сумели ему внушить». Восхищение Вигеля в свое время сменилось другим чувством. Но первое время отношения между ними были хорошими, и Воронцов благодарил Блудова за рекомендованного чиновника. С 1823 по 1828 год, в течение неполных пяти лет, Вигель был членом от короны в Верховном совете по управлению Бессарабией, бессарабским вице-губернатором, керченским градоначальником. В этот сравнительно короткий срок он в общей сложности около двух лет провел вне мест своей службы, то спасаясь от ненависти подведомственного ему населения, то просто уклоняясь от исполнения своих обязанностей, все время надоедая Воронцову просьбами о переводе и вынуждая его мирить своего неуживчивого подчиненного с другими чинами администрации. Наконец, Воронцов, бывший среди представителей правящей аристократии николаевского царствования одним из самых лучших администраторов, Воронцов, которому все подчиненные были преданы и которого любили за хорошее отношение к ним, Воронцов, оказывавший Вигелю могущественную поддержку и ограждавший его силою своего авторитета от вполне им заслуженных оскорблений со стороны местного населения, — расстался с ним под влиянием жалоб населения и Бессарабии, и Керчи.

Приятель Вигеля, хорошо знавший все подробности его служебной карьеры, И. П. Липранди, намекает, что в ряду других причин, вызвавших нелюбовь греческого населения Керчи к своему градоначальнику, немалое значение имела его приверженность к содомскому греху. Как бы то ни было, на Воронцова излился гнев Вигеля за неудачи по службе — прежиее восхищение превратилось в озлобление, и это отразилось на характеристике Воронцова в Записках. Во время службы на юге Вигель написал два очерка: «Замечания на нынешнее состояние Бессарабии» (1823) и «Керчь» (1827). Оба представляют собою пасквили на представителей местного общества, не угодивших автору, исполнены ругани и клеветы на местное население и причинили Вигелю иемало хлопот, так как он старался распространять свои памфлеты в списках, делая при этом вид, что хочет сохранить их втайне.

Снова пришлось Блудову заботиться о Вигеле, и он устроил (в 1829 г.) своего приятеля при себе; сначала вице-директором, а потом директором департамента иностранных исповеданий. Быть может, на этот раз Блудовым руководила не столько забота о служебных успехах Вигеля, сколько желание руками последнего выполнять грязную работу по принудительному сбращению в православие белорусских униатов. Есть сведение, что знаменитое Донесение следственной комиссии по делу декабристов, вызвавшее по адресу Блудова справедливые нарекания бывших его друзей по «Арзамасу», составлено не им, а подчиненным ему чиновником комиссии — К. С. Сербиновичем. В департаменте, да еще за спиною Блудова, Вигель чувствовал себя привольно: над безответными подчиненными можно было всласть измываться, можно было лениться и по два-три дня валяться дома в халате, наконец, это уже была должность в чиновничьем масштабе крупная, делавшая Вигеля видным бюрократом и открывшая ему двери аристократических салонов, куда ему так страстно, так болезненно хотелось попасть в качестве равного. Блудов ублажал своего помощника по делу спасения униатских душ — доставлял ему чины и ордена, чем очень тешил тщеславие Вигеля. Эту черту отметил Пушкин (7 января 1834 г.) в Дневнике: «Вигель получил звезду и очень ею доволен». Вяземский о том же писал (4 января) А. И. Тургеневу: «Вигель в звезде Станислава и рад, как андреевский кавалер». Звезда ордена Андрея первозванного была у бюрократов пред-

метом сладострастного вожделения, на звезду ордена Станислава ловцы больших чинов смотрели свысока. Но Вигель и этим был доволен, все-таки — звездоносец. К тому же несколько раньше Блудов, в виде особенного исключения, выпросил у Николая для Вигеля чин действительного статского советника. Блудову пришлось даже иметь неприятное об'яснение по этому поводу с начальником жандармов Бенкендорфом, который писал ему, что «частным образом» дошли до царя слухи о лености Вигеля и о «поведении его, которое уже слишком всем знающим его известно». Блудов притворился, что не понял намека на «азиатские вкусы» Вигеля, и писал Бенкендорфу, что знает Вигеля, как очень хорошего и трудолюбивого чиновника, как человека честного, примерно-бескорыстного. Удалось отстоять. Зато с уходом Блудова из министерства пришлось Вигелю уйти из службы — с позором, с предложением выехать из Петербурга — все по поводу того же «слишком всем известного поведения» его. Это было в апреле 1840 г. Впрочем, еще в 1836 году намечался этот недобровольный уход Вигеля из службы: недаром писал он тогда Загоскину, что хочет «убраться в Москву на отдых».

5

Вынесенные Вигелем из дома Голицыных «азиатские вкусы» — основа всех служебных и житейских неудач его, причина порчи характера, вечной подозрительности и мнительности. Все знали об этой порочной наклонности Вигеля, говорили о ней в переписке, в стихах, в эпиграммах.

«Свинство» Вигеля отталкивало от него всех его знакомых. Добрый, снисходительный, ко всем благожелательный А. И. Тургенев писал в 1842 году из Москвы П. А. Вяземскому: «Видел и Вигелька, и как скоро переберется на новую квартиру, буду читать его биографические записки. Мне весело с ним, но фанатизм его отвратительный и многое об'яснил мне». Через год он писал тому же корреспонденту: «Вигель во многих местах читает свои любопытные записки; но многие и лучшие его чуждаются».

Современники оставили также штрихи для обрисовки внешнего портрета Вигеля — они любопытным образом дополняют его нравственную характеристику, выясняющуюся из приведенного выше. Прибывший в 1814 году в Россию молодой француз

Ипполит Оже, впоследствии известный писатель и драматург, в своих воспоминаниях сообщает интересные сведения о тридцатилетнем тогда Вигеле: «С первого взгляда он не поражал благородством осанки и тою изящною образованностью, которою отличались русские дворяне. Слова Наполеона: «поскребите русского, и окажется татарин» были вполне справедливы в то время. Но я думаю, что мой новый знакомец оказался бы не татарином, а скорее византийским греком, может быть, похитрее и во всяком случае остроумнее их. Круглое лицо с выдающимися скулами заканчивалось острым прямым подбородком; рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку и тогда становились похожи на круглую вишенку. Это случалось при всяком выражении удовольствия: он как будто хотел скрыть улыбку. Речь его, обильно пересыпанная удачными выражениями, легкими стишками, анекдотами, и все это вместе с утонченностью выражения и щеголеватостью языка придавало невыразимую прелесть его разговору. Но иногда его заостренные словечки больно кололись: очень остроумным нельзя быть без некоторой дозы злости».

Оже хорошо подметил эту черту Вигеля. Д. Н. Блудов, знавший его всю жизнь, через несколько десятков лет как-то сказал о Вигеле: «Он только тогда хорош, когда он зол». «Его взор блестел лукаво, — продолжает Оже свой рассказ о Вигеле: но в то же время и привлекал к себе, хотя все побаивались в Вигеле его саркастического ума, а может быть и вследствие этого он был везде принят; у него были обширные связи в мире литературном...» Вигель ввел Оже в семью своего двоюродного брата Н. С. Тухачевского, где были сверстники молодого француза: «Благодаря Вигелю завязался непринужденный разговор. Чтобы заставить так разговориться людей совершенно незнакомых, нужно много остроумия, даже больше: нужно иметь особый талант. Вигель владел этим искусством в совершенстве: он извлекал звуки из камня... За обедом Вигель с обычным остроумием и редким тактом повел разговор...» Потом француз был у Вигеля на квартире: «Он жил небогато; его живой ум, образованность, тонкий, изящный разговор были дороже всего. Я не знал ни одного русского, с которым бы было так приятно разговаривать... У этого человека была пропасть ярких недостатков, но зато много и добрых качеств»... Через четыре года Оже встретился с Вигелем в Париже. «Благодаря своей любезности он

везде имел успех», — рассказывает француз. Но очевидно отношения их не всегда были гладкими. В воспоминаниях Оже имеется и такой отзыв о Вигеле: «Его характер — капризный, требовательный, изменчивый, подчас даже сумасбродный, имел влияние на наши отношения...»

Знавший Вигеля со времен «Арзамаса» до самой его смерти, остроумный, наблюдательный, часто язвительный, но постоянно беспристрастный князь П. А. Вяземский говорит о нем: «В течение жизни он неоднократно ссорился не только с отдельными лицами, но с целыми семействами, с городами, областями и народами. Не претерпевший никогда особенного несчастья, он был несчастлив сам по себе и сам от себя. Можно сказать, что при обстоятельствах, довольно благоприятных, он болезненно прошел жизнь свою, беспрестанно уязвленный иглистыми терниями и булавками, которыми он сам осыпал дорогу свою». К. Я. Булгаков писал в 1828 году о Вигеле: «Умный малый и добрый, кажется, а нигде не может ужиться». Писательница О. В. Энгельгардт вспоминала: «Вигель был недоволен другими потому, что был недоволен собою, своей наружностью, своей запятнанною репутацией». А. И. Герцен встречал Вигеля в Москве несколько раз в 1845 году и через 20 лет писал о нем: «Он слыл человеком злоречивым, самолюбивым, обидчивым, колким и умным. Жеманно натянутый [Вигелю в это время было уже 60 лет от роду], он кокетничал злословием».

Посещая салоны таких официальных столпов николаевского самодержавия, как Д. Н. Блудов и А. О. Смирнова, Вигель при жизни императора, конечно, вторил общему тону пресмыкательства и раболепия по отношению к «верховной» власти. Но в день смерти Николая он явился к А. О. Смирновой и в присутствии многих ее светских знакомых «тотчас же начал говорить о государе в самых неприличных выражениях». Смирнова выгнала Вигеля из своего дома, сказав ему: «Если я и не одобряла того, что при нем делалось, то я часто позволяла себе говорить ему об этом в лицо; только лакеи ругают своих господ за спиною и льстят им в лицо». Приблизительно такая же сцена произошла в доме Блудовых. Надо, однако, отметить, что Вигель и в записках своих, составлявшихся еще при жизни Николая, отзывался неодобрительно об этом кумире идеологов самодержавия. Но конечно плохие отзывы о Николае в день смерти последнего отражали не политический либерализм автора Записок: Вигель

не мог простить Николаю изгнание из службы и даже из Петербурга за его «азиатские вкусы».

Что касается политических взглядов Вигеля, то отзыв одного из современников, Н. А. Муханова, «что Вигель мыслей самых монархических, даже деспотических», — неточен. Вигель просто не имел никаких политических взглядов. Как в нравственном, так и в политическом отношении, он из своих собственных Записок и многочисленных отзывов современников вырисовывается грубым и неприличным циником, к тому же необычайно трусливым. Выставляя всегда напоказ свои монархические убеждения, Вигель, как умный и наблюдательный человек, не мог не видеть всех отрицательных сторон монархического строя и всех плохих личных качеств русских царей, при которых прошла его сознательная жизнь. Особенно ярко это выявлено в тех страницах Записок, которые были опущены в прежних публикациях и восстановлены по рукописи в настоящем издании. Конечно, ближе всего к его собственному умонастроению была политика реакции, но Вигель хорошо понимал весь вред этой политики для развития народного благосостояния и правильно умел оценить положительные стороны народного представительства. Но как огромное большинство бюрократов царской России, он считал нужным говорить о самодержавии с закатыванием глаз и биением себя в грудь. Ему было выгодно, и он говорил об устоях самодержавия, о божественном происхождении царской власти. Но когда это совпадало с его интересами, он умел красноречиво доказывать вред царской охранки — Третьего отделения. Вместе с тем он признавал и отмечал в Записках, что права государства («казны» — по тогдашней терминологии) и общества должны быть выше прав частной собственности, что «богатые и знатные» — печальный нарост на теле народном, что бояре — праздные трутни, что аристократия и магнаты — самый вредный слой правящего класса его времени; остро и талантливо вскрывает он язвы бюрократического строя и хорошо изображает взяточничество, как неизбежное следствие чиновничьей диктатуры. Сам Вигель, по удостоверению современников, никогда и ни под каким предлогом не брал взяток и вообще был в денежном отношении человек честный. Однако преувеличено заявление Оже, что этот «замечательно умный человек оказался несостоятельным в практической жизни, он и с своими делами не знал как справиться». Вигель сам приводит в Записках несколько

случаев своих удачных коммерческих операций. Впрочем, из имущества он более всего дорожил своей библиотекой, в которой было свыше 2000 прекрасно переплетенных томов, главным образом на французском языке и преимущественно по истории или о театре. Было еще у него огромное собрание литографированных и гравированных портретов русских деятелей, которое он перед смертью пожертвовал библиотеке московского университета. Да и трудно было Вигелю копить имущество при его постоянных переездах. Со времени отставки (1840 г.) и до самой смерти он был настоящим странником; сделанные мною хронологические выписки из разных источников показывают, что почти ежегодно переезжал он из Петербурга в Москву, да еще совершил несколько больших путешествий по России и за границу. Нигде не находил он ласки или привета, становился все угрюмее и озлобленнее и умер на руках наемной прислуги 20 марта 1856 года, за несколько дней до смерти одного из своих замечательных сверстников и противников, П. Я. Чаадаева.

За несколько лет до смерти Вигель снова написал донос. Но, как и в истории с Чаадаевым, это был донос запоздалый. В то самое время как он отмечал в Записках темное происхождение материальных благ своего старого парижского и кишиневского приятеля И. П. Липранди и не совсем светлые занятия его, Вигель послал их общему знакомцу, Н. С. Алексееву, следующее письмо от 28 апреля 1849 года:

«Не увидитесь ли вы с почтеннейшим Иваном Петровичем Липранди, единственным человеком, который с желанием истребления зла соединяет тонкий ум, к тому способствующий. Не скажете ли ему хоть от меня, что нечаянный случай дал мне по заочности узнать об одном Введенском, поповиче, говорят, с чрезвычайным умом и с изумительными правилами безнравственности и безбожия и со всем, проистекающим из этого. Он задушевный друг Петрашевского, но так благоразумен, что не принадлежит ни к какому обществу. Привлечь его к ответственности была бы совершенная несправедливость. Но он преподает науки в Павловском и других кадетских корпусах; не жалко ли будет оставить такую отраву среди подрастающего юношества? И как про это не знает генерал Ростовцев? Мы с вами не доносчики и не наше бы дело, если б мы не были знакомы с Ив. Петров. Что-то совестно не указать на то среди благонамеренных видов доброго знакомого».

Это был донос на первых русских социалистов — петрашевцев, которых Липранди выслеживал при помощи хорошо налаженной провокации, благополучно завершив свои «благонамеренные виды» еще до выступления Вигеля. И. И. Введенский — известный преподаватель словесности; Я. И. Ростовцев — тогда начальник военно-учебных заведений, 13 декабря 1825 года сообщивший Николаю первому о готовящемся выступлении декабристов, а при Александре втором — один из главных деятелей по уничтожению т. н. крепостного права. Еще до письма Вигеля к Алексееву Ростовцев запрашивал Введенского по поводу его прикосновенности к кружку петрашевцев.

6

Крупный интерес Записок Вигеля, которые он читал в домах всех своих знакомых, не мог, однако, заглушить неприязненное чувство к личности автора. Н. В. Берг рассказывает в своих записках: «Среди гостей Е. П. Растопчиной [поэтесса] бывал массивный старик Ф. Ф. Вигель, почему-то нелюбимый москвичами. Наконец, его почти выгнали из Москвы. Вигель любил смертельно читать свои записки — навязывался с ними к Растопчиной. Записки эти были, может быть, любопытнее всего, что читалось когда-либо у Растопчиной и ею и ее гостями, но неприятная личность автора и отчасти старые приемы чтения сообщали прекрасному материалу какую-то бесцветность, отсутствие интереса. Никто не хотел скучать, а скучали. Великое дело — личность автора и его реноме». О бесцветности чтения Вигеля и о скуке, им вызываемой, говорит, кажется, только один Берг. Все другие современники, упоминающие о Вигеле, даже не любившие автора, с жадностью читали его записки и памфлеты, гнались за ними, старались добыть списки с них, переписывались по этому поводу с друзьями.

Записки Вигеля — единственное утешение его долгой жизни, лишенной обычных человеческих радостей, изобиловавшей огорчениями, неприятностями. По поводу первого их появления в печати, в 1864 году, М. Н. Лонгинов писал: «Многие, особенно петербургские жители, помнят сухощавого, пожилых лет человека, которому его колкий и едкий разговор, строумные и своеобразные выходки приобрели особую тогда громкую известность. Разочарованный, ожесточенный обстоятельствами жизни,

страдавший еще больше от своего неуживчивого своенравного характера, он знал невыразимое наслаждение, находил великое утешение в своих воспоминаниях, которые много лет сряду ложились у него на бумагу с тем поразительным мастерством, которое является для читателя образцом полнейшей безыскусственности». Лонгинов, читавший отрывки Записок Вигеля в публичных собраниях Общества любителей российской словесности, отмечает, что в них читатель найдет «бесценную галлерею портретов, ряд тонких нравоописаний и верных оригинальных картин, цепь любопытных рассказов, увлекательных и важных для современной истории».

Редакция «Русского вестника», где впервые были напечатаны Записки Вигеля, отмечала «природную наблюдательность автора, неистощимое остроумие, оригинальность его взгляда и блестящий литературный талант, обнаруживающийся и в мастерстве его рассказа и в умении при описании происшествий своей жизни коснуться важнейших исторических событий». «Все это делает воспоминания Вигеля, — заключает редакция, — явлением в высшей степени замечательным, можно сказать — небывалым в нашей литературе». Отзыв заинтересованной стороны вполне подтвердил другой крупный журнал того времени — «Отечественные записки», орган прогрессивной части общества, находившегося в числе политических противников «Русского вестника». «Воспоминания Вигеля, — читаем мы в большой статье по поводу его Записок, — едва ли не первые разрезываются большинством читателей! Успех понятный», — говорит автор статьи и, отметив пристрастие Вигеля к некоторым из его современников, подчеркивает, что читаются Записки с огромным и живым интересом, что в них отражены большой ум составителя, наблюдательность его и огромная память.

В 1845 году П. А. Плетнев писал Жуковскому: «В Записках Вигеля много острого и даже справедливого... Вигель пренаблюдательный ум, только желчный и односторонний». Тогда же он писал Я. К. Гроту: «Вигель очень умен, любит bon ton, подозрителен, ненависть готов простереть до бесконечности и вообще оригинал. Он ведет смолоду Записки, очень интересные, исполненные остроты, желчи, насмешливости и себялюбия. Многое он читал нам у Одоевского и Жуковского. Все это описано очень колко и умно». Через два года Плетнев писал Гроту, что прибывший в Петербург из Москвы Вигель читал ему и Вязем-

скому многое из своих мемуаров: «Это так занимательно, что и пересказать трудно. Он остроумен, желчен, знающ и умен до чрезвычайности. У него можно поучиться писать, но жаль, что это долго не увидит печати». Много позднее С. М. Сухотин по поводу Записок Вигеля отмечал, что он «мастер обрисовывать характеристики». Таковы все отзывы о Записках Вигеля и при жизни автора и в течение всего времени от их опубликования вплоть до наших дней.

А. И. Герцен хорошо сказал по поводу Записок Вигеля, что автор их «на волос не выше среды, в которой жил» и которую изобразил. Но не будучи выше этой среды, Вигель был в некоторых отношениях не менее одарен, чем многие из талантливейших ее представителей. Все это вместе и придает Запискам Вигеля то непреходящее значение, которое вполне оправдывает сделанное М. Н. Лонгиновым сравнение Вигеля, как мемуариста, с Сен-Симоном.

С. Штрайх.

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

ЗАПИСКИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В наше время появилось бесчисленное множество исторических записок; ими наводнен Запад Европы. Иные из них мало занимательны, другие мало правдивы; но все могут, для будущих историков, быть более или менее полезны. Сии источники, иногда весьма мутные, быв собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику, очищены вкусом и гением, могут составить величественный, ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве.

Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся, тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, по крайней мере, долговечию.

Обстоятельства, не благоприятствующие намерению моему, препятствовали мне доселе приводить его в исполнение. Они не переменились, но я решился вопреки им приступить к труду сему, столь заманчивому, быть может, бесполезному для других, но для меня уже тем полезному, что доставляет мне занятие на весь остаток дней моих.

По большей части исторические записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, одним словом, действующими лицами, которые, описывая происшествия, на кои они имели влияние и в коих сами участвовали, открывают потомству важные тайны, едва угадываемые современниками: их записки — главнейшие источники для истории. Но если сим актерам ведомо все закулис-

ное, то между зрителями разве не может быть тиких, коих замечания пригодились бы также потомству? Им одним могут быть известны толки и суждения партера; прислушиваясь к ним внимательным ухом, они в то же время могут зорким оком проникать в самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умом наблюдательным и счастливою памятью, то сколько любопытного и неизвестного могут сообщить они своим потомкам!

От самого рождения природой и фортуной быв осужден, по мнению моему, более чем на ничтожество, во всем получив от судьбы посредственность в удел, я однакоже беседовал много с мудрейшими из моих соотечественников, был в самых близких сношениях с просвещеннейшими из них; глупцы и невежды мне также вовсе не были чужды: я долго жил посреди их и в мыслях часто мерил пространство, тех и других отделяющее. Я не убегал также от нищеты и не отказывался от знакомства с богатыми: от знатного до простолюдина, все состояния мне были известны. Пространнейшее государство в мире проезжал я от Востока до Запада и от Юга до Севера и был вне пределов его; его блестящие столицы и отдаленнейшие от них провинции, непроходимые леса Сибири и безлюдные степи Новороссийского края мне равно знакомы. Я пил воды Селенги и Сены и от вершины Хамар-Дабана странствовал до Содома Нового Завета, который посетил я после падения минутной великой империи [1].

Я родился при Екатерине, записан в службу при Павле, действительно и деятельно продолжал оную при Александре и оканчиваю ее при Николае. Еще в младенческом возрасте все окружавшее меня сильно возбуждало во мне внимание и любопытство, все врезывалось мне в память и все в ней сохранилось.

Пока еще лета не лишили меня сей способности, желаю я внукам моих соотечественников, за неимением собственных, завещать повесть о разнообразных предметах, встреченных мною на длинном пути не совсем обыкновенной жизни.

---

[1] Имеется в виду расстояние от Забайкалья до Парижа — места, посещенные Вигелем во время его путешествий.

О себе буду говорить мало: скромность не позволит мне хвалиться добрыми, но весьма обыкновенными свойствами, которые едва могут служить перевесом бесчисленным недостаткам или даже порокам; а стыд, который еще знали в наше время, не допустит меня открывать последних. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его.

В описываемом мною я буду ничто: я буду только рама или, лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты и многоразличием их старающийся заменить недостаток в искусстве живописном.

Младший из всего многочисленного своего семейства, он [отец автора] родился 12 июня 1740 года; не знаю, когда поступил он в кадетский корпус, но знаю только, что в последний год царствования Елисаветы Петровны был уже он в нем прапорщиком и преподавал науки кадетам, из коих многие были ему ровесниками.

Немецкое происхождение и совершенное знание фронтовой службы ввели его в особенную милость к наследнику престола. Сделавшись императором, Петр III сравнил кадетских офицеров с гвардейскими и, щедрый на награды, как сын и внук, в продолжение шестимесячного царствования своего, произвел отца моего в подпоручики, в поручики и в капитан-поручики. Приближался Петров день, царские именины, и барон Унгерн-Штернберг, генерал-ад'ютант и двоюродный дядя моего отца, об'явил именем государя, что в сей день он будет пожалован флигель-ад'ютантом. Можно посудить о радости двадцатидвухлетнего юноши; он из Ораниенбаума поскакал в Петербург, чтобы закупить все нужное к обмундировке. Но прежде 29 июня было 28-е. В этот день, проходя утром чрез Исаакиевскую площадь и ничего не ведая, он был схвачен и посажен под караул. Екатерина вступила на престол.

Тогда попали в честь Орловы [1],

а, подобно деду Пушкина, отец мой — «в крепость, в карантин». Но он не долго в нем оставался, не более двух не-

[1] Из стихотворения Пушкина: «Моя родословная».

дель; его выпустили и, не бывши в числе крупных любимцев, он скоро исчез в толпе и возвратился к своим корпусным занятиям.

С величайшим любопытством прислушивался я в ребячестве к рассказам покойного отца о благодетеле его, Петре III. Он не хвалил его наружности, об уме слова не было; но зато с восторгом говаривал он о душевной его доброте и беспримерной снисходительности к окружающим.

Я рос в Киеве, никогда не видал царей и представлял их себе хотя и людьми, нам подобными, но имеющими еще более важности и величия, чем сам митрополит. Оттого бывал я в крайнем изумлении, когда слышал об огромнейшей чаше с пуншем, о целой горе курительного табаку и о десятках трубок, находившихся по вечерам в приемной у императора, который расхаживал, балагурил, и если не приневоливал, то усердно приглашал всех этим потешаться. Мне это казалось слишком милостиво.

Около тридцати пяти лет служил мой отец Екатерине второй верой и правдой, всегда с благоговением произносил ее имя, никогда не позволял себе осуждать ее слабостей (о том у нас в доме и помину не было), но зато никогда и не удавалось мне слышать от него тех заслуженных похвал, коими все ее превозносили. С растроганным видом говаривал он о ее наследнике: по уверению его (а ему верить было можно) и многих других, Павел Петрович был в детстве прекраснейший ребенок и между тем чрезвычайно похож на отца своего, который, однакоже, был ни хорош, ни дурен.

В 1764 году отец мой, после долгой разлуки, посетил слепого и умирающего своего отца, принял его благословение и последний вздох (но наследства никакого) и, возвратясь в Петербург, был выпущен в армию с чином премьер-майора и определен в генеральный штаб.

Поселившись в Саратове, отец мой охотно посещал Пензу: там находил он начала, некоторые признаки общежития. В особенности же свел он там дружбу с воеводою, Андреем Алексеевичем Всеволожским, отличавшимся некоторою образованностью, кротким нравом и приятным обхождением.

Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича — провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (зато человек хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений.

По случаю рождения первого внука Екатерины, столь славного Александра Павловича, было во всей армии большое производство по старшинству. В сие производство попал и отец мой: он пожалован полковником в Нарвский карабинерный полк, сверх комплекта. Тогда полковник был и чин, и место; название полковых командиров не было употребляемо, а полковники, не имеющие полков, были приписываемы к ним сверх комплекта, как бы зауряд и могли зато к ним почти и не являться и жить где угодно, в ожидании назначения. И потому-то отец мой возвратился опять в свое поместье.

Недолго однакоже мог он подышать свободой и заняться хозяйством: ему скоро дали Алексопольский пехотный полк, который был расположен на берегах Днепра, во вновь занятых тогда степях Новороссийского края.

Начали строить Херсон.

Явился сам Потемкин. В младенчестве моем я так много слышал о сем гиганте, столь внезапно свалившемся тогда

во гроб, что мне невозможно, хотя вкратце, не изобразить его.

Невиданную еще дотоле в вельможе силу свою он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, не злопамятен; а его все боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности. Одним словом, в нем видно было все, чем славится русский народ, и все то, чем по справедливости его упрекают; а со всем тем он русскими не был любим. Сие покажется загадкой, а ее можно об'яснить весьма естественно. Не одна привязанность к нему императрицы давала ему сие могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла: в нем страшились не того, что он делает, а того, чтó может делать. Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него никто не слыхивал; в нем совсем не было того, чтò привыкли мы называть спесью. Но в простом его обхождении было нечто особенно обидное; взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям; а чем можно более оскорбить их самолюбие?

Его рассеянно-прихотливый взгляд в обществах иногда останавливался или, лучше сказать, скользил на приятном лице моей матери. Сего достаточно было, чтобы встревожить совсем не ревнивого, но благородно-самолюбивого отца моего. В один вечер звездоносные шуты тешили светлейшего разговорами о женской красоте; один из них об'явил, что он никогда не видал столь прелестной маленькой ножки, как у моей матери. «Неужели? — сказал Потемкин. — Я не приметил. Когда-нибудь приглашу ее к себе и попрошу показать мне без чулка». И не прошло двух дней, как мой отец узнал о сем разговоре. Можно себе вообразить страх и гнев, коим он вскипел; он представлял себе отчаяние супруги, если б ей осмелились сделать столь обидное предложение. Для предупреждения всяких неприятностей он упросил ее отправиться немедленно в деревню.

Несколько времени спустя после сей домашней тревоги, о коей виновник ее вовсе ничего не знал, прибыл в Херсон

Виртемберский принц Фридрих для командования дивизией, в которой находился мой отец. Своенравию, странностям его не было пределов. С таким начальником трудно было ужиться отцу моему; взаимные жалобы их наскучили князю Потемкину, и он решился развести их. В разлуке с женою, с детьми, посреди таких неприятностей, моему отцу самому желательно было отойти с честию.

Он был уже семь лет полковником; ему доставалось в бригадиры, а в сем чине немногим оставляли полки. Потемкин представил его к чину и вместе с тем полк его отдал другому. Сие не совсем было приятно, но делать было нечего: он был, по крайней мере, утешен мыслию близкого свидания с семейством и вскоре потом отправился в Пензу. Возвратившись туда, он недолго дожидался производства: он получил бригадирский чин, но с назначением к определению в обер-комендантскую или комендантскую должность.

Не прошло года по прибытии отца моего в пензенскую деревню свою Симбухино, как я в ней родился среди сельской тишины.

Я был еще на руках кормилицы, когда в жизни моих родителей произошла важная перемена. Вот как сие случилось. Князь Потемкин, наконец, поссорился с Виртембергским принцем и, так сказать, почти его прогнал. Один из его любимцев, Василий Степанович Попов, с которым отец мой был хорошо знаком, но не имел никаких связей, разговорился об нем с князем и представил как жертву своенравия принца. Потемкин был великодушен, как все люди сильные и умные: он начал с того, что бригадиру, почти в отставке жившему, доставил генерал-майорский чин, а потом чрез г. Попова прислал ему письмо, адресованное на имя тогдашнего статс-секретаря (после канцлера) Безбородки. В сем письме, выражаясь с величайшим участием о своем клиенте, он требовал повелительно, чтоб ему дано было первое вакантное место, согласно с его желанием.

С сим письмом оставалось только отцу моему поскакать в Петербург: с таким талисманом в руке хлопотать ему там было нечего. Безбородко об'явил ему, что открываются две вакансии: олонецкого губернатора и киевского обер-коменданта. Он предпочел последнее из сих двух мест, в хорошем климате, почетное, спокойное и законно-

прибыльное, ибо доходы с тысячи душ давались на содержание занимавших оное. Сие место было обещано другому, но нельзя было итти против воли Потемкина.

Едва исполнилось мне семь лет, как мне наняли учителя немца, Христиана Ивановича Мута.

Еще до г. Мута учил уже меня русской грамоте по псалтырю и часослову наш крепостной, молодой человек Александр Никитин, род дядьки при братьях моих. Разумеется, я редко принимался за книгу, но метода моего русского учителя была прекрасная: сколь бы ни ничтожны были успехи мои в чтении, он всегда дивился чудесной понятливости маленького барина и тем возбуждал меня к новым чудесам. Совсем противное делал г. Мут: часто пожимал он плечами, с состраданием говоря о моей бестолковости; наказывал редко и то за явные ослушания, и как наказывал! Ставил в угол, на колени, а иногда бил линейкой.

С детским простодушием человек сей соединял самую чистейшую нравственность. Он имел удивительную память и познания, посредством ее приобретаемые: знал хорошо историю, географию, знал правильно французский язык, но выговаривал на нем бог знает как. Чтò сам знал, тому помаленьку учил и меня. Когда я попривык к нему и начал понимать по-немецки, то разговоры с ним начали для меня становиться занимательнее; мало-по-малу начал я даже заимствовать и некоторые из его привычек. Например, он любил собирать гербовые печати со всех пакетов, получаемых отцом моим и кем бы то ни было, он их потом наклеивал на большие листы; мне это понравилось, я скоро начал то же делать и мог узнавать гербы всех известнейших в России фамилий. Хотя он не был ботаник, но собирал разные цветы, травы и растения, клал их по листам, одним словом, составлял гербарий, и у меня до сих пор страсть к коллекциям. Все, что касается до хронологии достопамятнейших происшествий в мире, до генеалогии знаменитейших домов в Европе, знал он наизусть, и впоследствии по этой части мог бы и я с ним состязаться.

Некоторое время жили мы с ним, так сказать, с глазу на глаз, но скоро одиночество мое прекратилось, и общество мое умножилось несколькими товарищами. Средства

воспитания были тогда так скудны, что родители у моих выпрашивали как милости дозволения детям своим со мной учиться. Их было трое: сыновья артиллерийского генерал-майора Нилуса, гарнизонного майора Яхонтова и штаб-лекаря Яновского. Между ними, как хозяйский сын, брал я натурально первенство; но г. Мут не оказывал мне ни малейшего предпочтения, а иногда в молчании улыбался прилежнейшему. Поутру задавал он нам уроки, которые мы твердили и должны были сказывать ему перед обедом; а он между тем читал про себя что-нибудь из истории и географии с тем, чтобы после обеда в виде повести нам это пересказывать. Таким образом узнал я историю иудеев, ассириян, мидян, персов и греков, но до Рима едва только с ним дошли. Говоря словами Пушкина, мы учились чему-нибудь и как-нибудь.

Сверх того я брал еще другие уроки: софийский кафедральный протоиерей Сигаревич преподавал мне закон божий, артиллерийский штык-юнкер Скрипкин учил меня арифметике и геометрии, наукам, в коих, мимоходом сказать, я весьма мало успевал. Один малороссийский виртуоз, которого очень хвалили (кажется, звали его Чернецкий), учил меня играть на фортепиано, а какой-то маляр учил рисовать. Не моя вина, если в обоих сих искусствах я не мастер: нашли, что они бесполезны, и скоро заставили бросить, тогда как к музыке я всегда чувствовал особенную склонность. Старшие братья, выпущенные гораздо после в кавалерийские полки, учили меня ездить верхом, а про танцы еще речь впереди.

Хотя в 1797 году детский возраст мой еще не прошел, но как это был год великих перемен в судьбе целой России, равно как и в моей ребячьей жизни, то им следует заключить здесь главу сию. В сем первом периоде моего существования являлись мне однакоже некоторые примечательные лица, о коих я ни слова не упомянул, вопреки обещанию, данному самому себе и читателю. И потому прежде всего прошу позволения обратиться к ним и исправить сделанное мною упущение.

Всего памятнее мне одна вельможная дама, которая почти каждый год посещала Киев и коей приезд приводил в

движение, можно сказать, в волнение весь дом наш. Это была графиня [А. В.] Браницкая, любимая племянница князя Потемкина и жена польского коронного гетмана. Не знаю, где и как познакомилась она с моею матерью; но она ее полюбила и когда езжала в собственный городок, известный под именем Белой Церкви, находившийся тогда за границей, хотя только в 80 верстах от Киева, то проездом чрез сей город всегда у нас останавливалась и живала по неделе и по две. Потемкина уже не было на свете; но любимица его, принявшая его последний вздох, все еще как будто бы озарялась его славою. Умнейшая из пяти сестер, урожденных Энгельгартовых, она была их и богаче. Императрица особенно благоволила к ней и, сверх того, ласкала ее как жену довольно сильного польского магната, преданного России. По всем сим причинам знаки уважения, ей оказываемые, были преувеличены, и чтобы посудить об обычаях тогдашнего времени, чему ныне с трудом поверят, все почетнейшие дамы и даже генеральши подходили к ней к руке; а она, умная, добрая и совсем не гордая женщина, без всякого затруднения и преспокойно ее подавала им. Мать моя смотрела на то без удивления, нимало не осуждала сего, но, вероятно чувствуя все неприличие такого раболепства, сама от него воздерживалась. Вообще обхождение ее с графиней Браницкой было самое свободное, приязненное, и разницу во взаимных их отношениях можно было только заметить из ты и вы, которые они друг другу говорили.

Могущество Потемкина вызвало из смоленской деревни прекрасных его племянниц, где получили они обыкновенное тогдашнее провинциальное воспитание. Старшая из них, Браницкая, уже неспособна была к принятию блестящей образованности Екатеринина двора. Но, имея ум, характер, бывши в самых тесных, иные говоря, в непозволительных связях со всемогущим своим дядею, она облеклась в какую-то величественность и ею прикрывала недостатки своего воспитания. Вышедши замуж за человека расточительного, который был вдвое ее старее, в такой век, который нравственностью не отличался, она всю жизнь осталась примером верности супругу, несколько раз спасала его от разорения и бережливостью своею, может быть и скупостью, удвоила огромное его состояние.

Жил-был тогда в Киеве один барин, да еще же и князь, который, кажется, почитал себя выше обыкновенной знати. Фамилия Дашковых происходила от рода князей смоленских, потомство коих, за исключением Вяземских, при польском правительстве утратило княжеское свое достоинство. Князья Дашковы не размножились, как другие княжеские роды, и их имя в русской истории нигде не встречается. Первый и последний блеск дала ему честолюбивая женщина, которая почитала себя рожденною с тем, чтобы располагать судьбою царей[1]. Сын ее, последний в своем роде, был ею воспитан на славу; она возила его с собою по всем иностранным государствам, всему его учила и в Эдинбурге доставила ему диплом на звание доктора прав, богословия и даже медицины. Но учение и самый опыт не дают того, что̀ природа отняла.

Участию матери своей в возведении на престол Екатерины второй был обязан князь Дашков быстрым повышением в чинах: в двадцать пять лет он командовал уже сибирским гренадерским полком и стоял с ним в Киеве. Тут ему приглянулась одна девочка, дочь облагороженного чинами купца Семена Никифоровича Алферова. По высоким философическим понятиям, которые почерпнул он в своих путешествиях, по примеру английских лордов, коим он старался подражать и кои часто ничтожных тварей, из одной оригинальности, возводят в звание супруг своих, он долго не задумался, взял да и женился, не быв даже серьезно влюблен. Сей брак поссорил его с матерью, разорвал связи его с обществом столиц и заставил его поселиться в Киеве. Он сдал полк; но, по старой памяти к услугам матери, производство для него не остановилось, и он получил чины бригадира и генерал-майора.

Горе ученым глупцам! Для головы их обширные познания то же, что̀ жирная пища для слабого желудка: их беспрестанно несет вздором.

Самолюбивейший из смертных, Дашков полагал, что способен управлять государством и осужден был скрывать свое величие в низеньком доме самого грязного киевского пере-

---

[1] Е. Р. Дашкова, помогавшая Екатерине убрать с престола ее мужа, Петра III.

улка. Там собирал он около себя веселых людей, каких мог найти в Киеве, шутов, всякую иностранную сволочь, шумом сего общества старался заглушить страдания своей гордости. Несчастный утешался презрением, которое мог он изливать на всех окружающих его, на жену, на тестя, на всю родню их.

Несмотря на несправедливое пренебрежение, которое он также оказывал как жителям того города, который выбрал он постоянным местопребыванием, так и обычаям их, они сначала приглашали его на все праздники свои, на все вечеринки. Он был красивый, видный мужчина и страстный охотник до танцев, которые тогда были едва ли не более в моде, чем ныне; но он не хотел на вечерах сих ни одну даму, ни одну девицу пригласить, а с начала до конца беспрестанно танцовал с одной своей женой. Как бы не замечая, что есть хозяева, есть гости, он без церемонии сажал ее к себе на колени и целовал взасос; потом, за что-нибудь поссорившись с ней, при всех начинал ее бить по щекам.

Мои родители застали его уже женатого и сначала, как и все другие, водили с ним знакомство. Досадуя на целый мир, он всех поносил, всех клеветал и тем уже охолодил отца моего. Один вечер, будучи у нас, он за что-то прогневался на жену и дал ей толчка; тогда отец мой ему напомнил, что он не дома, и просил для супружеских исправлений избрать другое место. Он гордо поглядел на него, не сказав ни слова, потом взял под руку битую жену и вышел с нею с тем, чтобы никогда не возвращаться; с тех пор он сделался непримиримым врагом отца моего. Сей пример подействовал на киевлян; наскучив его отвратительными странностями, один за другим перестали к нему ездить и звать его к себе. Несколько лет прожил он потом в шумном своем уединении, среди грубых, отчаянных наслаждений, ни на что неупотребляемый, забытый двором и ненавидимый обществом.

Мне необходимо говорить теперь о вельможе, в 1797 г. начальствовавшем в Киеве. Его пребывание в сем городе имело большое влияние на судьбу некоторых членов моего семейства и на мою собственную. В графе Иване Петровиче Салтыкове можно было видеть тип старинного барства, но

уже привыкшего к европейскому образу жизни; он любил жить не столько прихотливо, как широко, имел многочисленную, но хорошо одетую прислугу, дорогие экипажи, красивых лошадей, блестящую сбрую; если не всякий, то по крайней мере весьма многие имели право ежедневно садиться за его обильный и вкусный стол. В обхождении его, весьма простом, был всегда заметен навык первенства и начальства; вообще он был ума не высокого, однако же не без способностей и сметливости; он не чужд был даже хитрости, но она в нем так перемешана была с добродушием, что его же за то хвалили. Как воин, он более был известен храбростию, чем искусством.

Семейство его находилось в Петербурге. Для перемены любил он раз или два в неделю проводить вечера у нас, и обыкновенно в сопровождении Алексеева, любимейшего из своих ад'ютантов.

У этого Алексеева была самая счастливая физиономия, самый счастливый характер; я не знал почти людей, которые бы его не любили, и ни одного, которого бы он не любил.

Умному отцу моему и умной сестре Наталье с самого начала полюбилось в нем что-то такое, чтò лучше богатства, ума и знатности: прекрасная душа в стройном теле, которая отражалась на свежем как утро, румяном, красивом лице.

Не прошло месяца после сговора, который был 14 октября 1797 года, как граф Салтыков получил известие, что он переведен военным губернатором в Москву.

Надобно было приготовляться в одно время и к свадьбе, и к разлуке. Среди сих приготовлений отцу моему пришло на мысль отправить меня с зятем и сестрой, коей попечениям, несмотря на ее молодость, можно было поручить меня с полною доверенностью.

Свадьбу сыграли мы 20 января 1798 года, а в путь отправились 16 февраля.

Есть чувствования, которые не только другим, но и самому себе об'яснить весьма трудно. Первый раз в жизни покидал я все родимое, все мне любезное, священный Киев и благословенное семейство, в котором я родился. Голова моя была полна слышанными рассказами про Москву бело-

каменную, про ее обширность, ее великолепие, ее сорок-сороков церквей. В сем расположении духа, с печалью и радостию вместе, выехал я из Киева.

Москва произвела на меня то действие, которое обыкновенно производят большие столицы на провинциалов, никогда их не видавших, старых ли или малых: я был еще более оглушен ее шумом, чем удивлен огромностью ее зданий. По набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо к Воскресенским воротам помолиться Иверской богоматери; вокруг часовни, где поставлен ее образ, в двух узких отверстиях, ведущих к Кремлю, беспрестанно кипит народ, ломятся экипажи. Во время молебна мне все казалось, что подле нас идут на приступ.

Квартира, которую дали зятю моему в казенном доме, называемом Тверским или Чернышевским, или домом главнокомандующего, была просторна, довольно красива, а мне показалась даже великолепна. Мы занимали комнат двенадцать в одном из загнутых флигелей внутри двора сказанного дома. Из окошек были видны только высокие палаты, в коих жил начальник Москвы и зятя моего и пред коим наш флигель казался на коленях, да еще не весьма обширный двор, с утра до вечера наполненный каретами, в коих приезжали не к нам с посещениями, а с поклонением к фельдмаршалу и жене его.

Мы жили почти в совершенном уединении: сестра редко делала и принимала визиты. Шум и блеск были вокруг стен наших, а внутри царствовала тишина и молчание. Я начинал сравнивать настоящее положение наше с прошедшим... Тяжело вздохнул я; мне казалось, что наша доля самая низкая в мире. Моральная болезнь, врожденная, хотя и не наследственная, которую ни религия, ни рассудок, ни опыт доселе совершенно излечить не могли, жестокое самолюбие, источник немногих для меня наслаждений и бесчисленных страданий в жизни, сия болезнь в первый раз открылась во мне с некоторою силою; тогда-то заронились мне в сердце первые семена отвращения от аристократии, впоследствии столь постоянно развивавшиеся.

В Киеве мечтал я о Москве; в Москве только и думал что о Киеве. Но без нас все уже там переменилось. В марте месяце генерал Розенберг [преемник Салтыкова в Киеве]

переведен военным губернатором в Смоленск, а на его место назначен граф Иван Васильевич Гудович. Сей последний не успел еще с Кавказа приехать в Киев, как его перевели в Каменец-Подольск, а на его место назначили... кто бы мог ожидать? того самого князя Дашкова, который жил в Киеве, брошенный всеми. Он находился шефом какого-то полка, был за чем-то вызван в Петербург и там до того полюбился императору, что вдруг получил ленту, чин генерал-лейтенанта и место киевского военного губернатора. Трудно об'яснить, чтò побудило кн. Дашкова говорить царю об отце моем. Павел первый не задумался, он церемониться не любил: вдруг приказал без всякой другой причины отца моего отставить от службы. Лишить почетного, выгодного места человека, который десять лет занимал его с честию, который в глазах его ничем не провинился и даже был ему угоден, ему казалось делом самым обыкновенным, никакая несправедливость его не устрашала: помазанник божий, он твердо веровал в свою непогрешимость; во всех жестоких проказах своих видел он волю небес.

В Москве жил я, между тем, в совершенной праздности и скуке, не имел знакомых, не имел книг и нетерпеливо ожидал минуты, когда отдадут меня в какое-нибудь учебное заведение. Но зять мой, по-своему пекшийся о моем благе, полагал, что для меня будет величайшая честь воспитываться вместе с молодым графом, сыном его начальника: у него шли о том негоциации, и оттого медлили решить мою участь. Я знал о его намерении и трепетал от ужаса сделаться наперсником московского дофина [наследника]. В Киеве естественным образом брал я верх над своими маленькими товарищами, в Москве я ожидать сего не смел; но все-таки не хотелось же находиться в свите сына, как зять мой был при особе отца. В одном равенстве видел я свое спасение.

Моего мнения не спрашивали, и дело было почти положено. В один вечер пригласили меня, то есть призвали, к знатному моему ровеснику. Я чувствовал, что иду на смотр: московское житье сделало меня робким, застенчивым; но отчаяние дало мне силы, и я вооружился неведомою мне дотоле наглостью. Я нашел графчика одного; я ожидал найти в нем спесь, но он мне показался в смущении, в замешательстве. Притворная смелость моя его ободрила, мы начали

говорить вздор и, как водится между мальчиками, через несколько минут коротко познакомились. Я уже умягчался душой, как вдруг показались мои судьи, сперва мусью Моринд, наставник графа, за ним г. Лоран, воспитатель его, и, наконец, сама г-жа Лоран, супруга последнего. Она была вся разряжена и, благосклонно улыбаясь, сказала мне:«Bon jour, mon petit»; не имея понятия о ее интригах, не знаю сам от чего, я весь вспыхнул и готов был в нее вцепиться. С трех сторон посыпались на меня вопросы. Я прескверно говорил по-французски; тут нарочно я коверкал язык, врал и дурачился. Плечи пожимались, уста насмешливо улыбались, и все мне показывало, что я успел в своем намерении. Может быть, я и напрасно приписываю себе успех в сем деле; я не имел довольно ума и искусства, чтобы прикидываться глупым; может быть, я показался бы им неуклюжим и без всяких усилий; но, как бы то ни было, я торжествовал, чувствуя, что мне не выбрили затылок.

Я сказал выше, что у меня в Москве не было знакомых, забыв, что одному нечаянному случаю был я обязан весьма приятным знакомством.

Дом князя Одоевского, коего сделался я частым посетителем, не был шумен, пышен, как другие дома богатых в Москве людей, но он был, однако же, верное изображение тогдашних нравов древней столицы; в описании его вижу я обязанность принятого мною звания рассказчика. В одеянии, поступи, в самом выражении лиц господских людей виден характер господина: там, где беспорядок, они ленивы, неопрятны, оборваны; там, где их содержат в строгости, они одеты довольно чисто, вытянуты в струнку, но торопливы и печальны. Вид спокойствия, довольство, даже тучность домашней прислуги князя Одоевского, почтительно-свободное ее обхождение с хозяевами и гостями, вместе с тем заметный порядок и чистота показывали, что он отечески управляет домом. Действительно, он был барич, который, по достижении совершеннолетия, долго путешествовал за границей и, возвратясь оттуда, сохранил в доме своем обычаи старины, прибавив к ним устройство и опрятность, которые заимствовал он у европейских народов. Из целой Москвы едва ли не у него только была передняя, в которой можно было дышать не зараженным воздухом.

Он был сухонький старичок, но весьма живой и, как говорят французы, еще зеленый. Мне сказали, что он отставной полковник; а я, признаюсь, сначала принял его за отставного камергера. Он нисколько не походил на тех отважных екатерининских полковников, которых прежде я видел в Киеве; несмотря на имя его, я даже не вдруг поверил, что он русский: не знаю, природа ли, или искусство дали ему совершенно французскую наружность, хрустальные ножки и какое-то затруднение в выговоре. Но в доме его все напоминало русское барство, и в нем только он один был аристократ. Различие между сими двумя названиями — аристократией и барством, надеюсь я об'яснить в другом месте.

Он не гнался за почестями: в это время бригадирским шитьем или камергерским ключом заключалось обыкновенно поприще честолюбивейших или тщеславнейших из москвичей. Он жил в кругу родных и коротко-знакомых, довольствовался их любовью и уважением, наслаждался спокойствием, богатством и воспоминанием молодости, проведенной в Париже. Там был он в конце царствования Людовика XV и, в качестве русского принца, был представлен ко двору его. Так очарователен пример старой греховодницы-Франции, что добрый и честный князь завел свою мадам де Помпадур [любовница Людовика XV].

Больная, набожная княгиня редко выходила из внутренних своих покоев. Это было ненужно: как в гостиной, так и в сердце ее супруга, место ее занимала молодая дворянка, Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота, не столько ею, сколько мужем ее призренная. Но это еще не все; была в одно и то же время и мадам Дюбарри [вторая любовница Людовика XV]. Видно, в это время французские гувернантки занимали везде более одной должности. Мамзель Дюбуа, которая воспитывала двенадцатилетнюю дочь князя Одоевского, была совершенная красавица и до того мила, что во мне... стыдно сказать, родилось сожаление, что я не девочка и что не она моя наставница. Я не могу понять, как согласилась она играть второстепенную роль, тогда как подле девицы Сабуровой казалась она как пышный цвет подле миниатюрного скелета; предпочтение же Анне Васильевне было очевидно.

Несмотря на эти княжеские прихоти, которые у нас в России могли бы войти в пословицу, как за границей баронские фантазии, совершенное согласие царствовало в сем доме. Посетителей в нем видел я весьма мало, молодых ни одного; но зато посетительницами он изобиловал. Большая часть из них были так называемые московские старые девки. В Москве было в старину одно почтенное, трогательное обыкновение: в каждом доме, смотря по состоянию, принималось на жительство некоторое число убогих девиц, преимущественно дворянок; одни старелись в них и даже умирали, других с хорошим приданым выдавали замуж; связи первых с своими благодетельницами от времени становились иногда крепче, чем самые родственные узы. В домах женатых людей положение сих девиц было не совсем безопасно, но у вдов и у незамужных старушек их общества составляли род светских монастырей или, лучше сказать, капитулов, коих они были канониссами. Их жизнь была деятельно-праздная; в доме они кой за чем присматривали, исполняли некоторые комиссии своей хозяйки-аббатиссы, раскладывали с ней гран-пасьянс, посещали иногда подруг своих. Их набожность ограничивалась одними наружными обрядами религии, но они соблюдали их с точностью мелочною; они знали все храмовые праздники, и там, где бывало архиерейское служение, ими наполнялась половина церкви. Так проходила их беспорочная, их бесполезная жизнь.

Целыми стаями слетались эти барышни к своим знакомым у князя Одоевского; бывало, спросишь: кто они такие? Скажут: такая-то живет у княгини Марьи Ивановны, такая-то у княжны Лисаветы Федоровны. Нельзя себе представить их детского добродушия; разговор их был невинный лепет первого возраста. Они меня чрезвычайно любили, осыпали ласками и, будучи сами престрашные лакомки, и меня прикармливали вареньями и пастилой: сладко мне о них воспоминание! Изредка попадаются ныне такого рода женщины, и я всегда встречаю их с сердечным удовольствием. Дому Одоевских останусь я всегда благодарен за приятные минуты, в нем проведенные, хотя, впрочем, меня, свежего мальчика, довольно оригинального, любили там и тешились мною среди единообразной жизни, как забавляются обезьяной, карлицей или попугаем. Князя Одоевского благодарить

мне нечего: он, кажется, не любил мой пол, я же был не совсем ребенок, и он всегда на меня косился. Когда после воротился я в Москву уже взрослым мальчиком, то не мог быть принят в его доме, где, видно, наблюдались все строгие правила гаремов.

Мне было весьма трудно уговорить сестру сделать первое посещение княгине Одоевской; с каждым днем она более дичала, но решилась, наконец, сие сделать, чтобы поблагодарить за оказанные мне ласки. В разговоре о затруднениях, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на совет мамзель Дюбуа; она рассыпалась в похвалах пансиону г-жи Форсевиль, своей единоземки. Мне чрезвычайно хотелось учиться в университетском пансионе; но французский язык, коим преимущественно и почти исключительно говорили тогда высшие сословия, был вывескою совершенства воспитания; я на нем об'яснялся плохо, а воспитанники университетские не славились его знанием. Это заметила мамзель Дюбуа, прибавляя, что из рук г-жи Форсевиль молодые люди выходят настоящими французами. Рассуждая, что мне предназначено быть светским и военным человеком, а не ученым и юристом, сестра моя нашла, что действительно лучше отдать меня к французам. Видно, на роду у меня было написано не получить основательного образования.

Исполнение намерения предать меня в руки мадамы замедлилось несколько дней по случаю тревоги, в которой находилась вся Москва, и особенно свита графа Салтыкова. Ожидали скорого прибытия императора, полки собирались на маневры, и все исполнены были страха, надежд и любопытства. Я стоял с трепетом 10 мая [1798 г.] на Тверской, подле дома главнокомандующего, когда Павел первый в нескольких шагах проехал мимо меня. Он сидел в открытой коляске с своим наследником и с улыбкой кланялся (безобразием его я был столько же поражен, как и красотою Александра). В продолжение шестидневного пребывания своего в Москве он всех изумил своею снисходительностью: щедротами он удивить уже не мог. Войскам об'явил совершенное свое удовольствие. Шефа одного полка, который был действительно очень дурен, он наказал только тем, что ничего ему не дал, но не позволил себе сделать ему даже выговора; всех же других завешал орденами, засыпал по-

дарками. Никто не мог постигнуть причины такого необыкновенного благодушия; узнали ее после. Любовь, усмиряющая царя зверей, победила и нашего грозного царя: пылающие взоры известной Анны Петровны Лопухиной[1] растопили тогда его сердце, которое в эту минуту умело только миловать. Графу Салтыкову пожаловал он четыре тысячи душ в Подольской губернии, а всех ад'ютантов его, в том числе и зятя моего, произвел в следующие чины.

В пансионе, в который, наконец, отвезли меня, воспитывались дети обоего пола, под непосредственным наблюдением содержательницы его. Я ожидал найти в ней другую мамзель Дюбуа; может быть, лет двадцать до нашего знакомства была она и лучше. Тогда она была женщина лет сорока пяти, высокая, полная, белая, которая задыхалась от здоровья, у которой щеки алели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. Она деспотически управляла вверенными ей ребятишками, и мне казалось обидным, что меня ставят на одну с ними ногу, тогда как почти все они были меня моложе. Я, напротив, имел притязания на совершенную свободу, коею пользовался соученик мой Лутовинов, пятнадцати или шестнадцатилетний дюжий мальчик, который ничему не учился, ничего не делал или, лучше сказать, делал все, что̀ ему было угодно. Если б я был несколько постарее, то, может быть, умел бы присвоить себе равные с ним права; а может быть, и нет, ибо румянец осеннего листа, ветчинная свежесть г-жи Форсевиль мне были вовсе не по вкусу.

Был также и мусью Форсевиль; он принадлежал к тому роду незаметных мужей, коих существование поглощается и исчезает в великой знаменитости супруг, как муж г-жи Жоффрен или г-жи Каталани[2]. Заведение находилось под его фирмой, но в нем почти ни во что̀ он не мешался. Он мало выходил из своей каморки, прозванной кабинетом разве толь-

---

[1] Любовница Павла, имевшая на него хорошее влияние. Он выдал ее замуж за кн. П. Г. Гагарина, которого в награду за согласие сделал генерал-ад'ютантом. Гагарин впоследствии (1831) женился на балерине М. И. Спиридоновой.

[2] Мария Жоффрен (1699—1777) — хозяйка знаменитого литературного салона, где 25 лет собирался весь образованный и талантливый Париж. В числе посетителей г-жи Жоффрен были энциклопедисты. Муж ее был фабрикант. Анжелика Каталани (по мужу Валабрен) — знаменитая итальянская певица (1777—1849).

ко потому, что в ней находился маленький шкаф с двумя дюжинами каких-то книг, прозванный библиотекой. Тут не было ни письменного столика, ни даже чернильницы, а одни станки да пилы, буравы, все принадлежности токарной и столярной работы: все было засорено стружками и опилками, и все обличало присутствие более мастерового, чем грамотного человека. На природном языке говорил он как простолюдин, зато уверял, что весьма хорошо знает английский, и взялся два раза в неделю учить меня оному. Недостаток ли в его знании или в моих способностях был причиною, что я никаких успехов не сделал. Он был совершенный сморчок, старичишка добрый, по крайней мере для меня; доверенность его ко мне до того простиралась, что из учеников я только один имел вход в так называемый кабинет его, где таинственно предавался он своим занятиям. Он долго жил в Англии и всегда предпочитал ее своему отечеству; теперь я уверен, что он там был ремесленником. Бог весть, как занесло его к нам и как встретился и совокупился он с француженкой, в России родившеюся, хотя безграмотною, но досужею и проворною бабой. Обо всем он говорил равнодушно, кроме Англии; самая покорность его супруге, кажется, была не что̀ иное, как следствие уважения его к той земле, где королевы женятся.

Девицы, которые с нами воспитывались, обедали, а иногда и учились за одним с нами столом, жили, однако же, в особливой половине. Они были также маленькие провинциалки, но грациознее и остроумнее мальчиков. Из двадцати или из двадцати пяти одну только Ложечникову можно было назвать хорошенькою; не знаю, где умели набрать таких уродцев. Обхождение с ними Форсевильши было более строгое: от взгляда ее, от одного движения губ бедняжки приходили в ужас. Более всех тирански преследовала она бедную, четырнадцати или пятнадцатилетнюю француженку, дочь какого-то приятеля, которая училась у нее даром, а за то употреблялась для разных домашних упражнений без платы; расцветающие прелести были ее виною в глазах отцветшей мадамы. Ее звали Лаборд; она родом казалась более из Индии, чем из Франции: весь пламень Востока и Юга блистал в черных глазах ее, самый яркий румянец выступал на смуглосвежих ее щеках; ее волосы, уста и губы позволил бы я себе

сравнить с эбеном, кораллом и перлами, если б от частого употребления сии сравнения мне самому не надоели; выражение же лица юной одалиски словами невыразимо. Живши с ней под одной кровлей, видя ее часто, я бы влюбился в нее, если бы был постарее; однако же, несмотря на отрочество мое, я не был к ней совершенно равнодушен, написал какой-то вздор и всунул ей потихоньку в руку во время танцовального класса, который для девочек почти столь же опасен, как балы для девиц, а для меня всегда был часом искушений. Я ожидал ответа, но тиранка-Форсевиль имела свою тайную полицию: кто-то из уродцев подсмотрел и донес. На другой день тревога, позор и срам: призвали виновных, осыпали их ругательствами, самыми грубыми, непристойными укоризнами; я стоял как вкопанный, не внимал им, а только смотрел на слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудь, и был весь раскаяние. Определено обоих выгнать из пансиона, и приговор исполнен в тот же день; меня отослали к родным, но, как шурин ад'ютанта главнокомандующего я на другой же день воротился с письменным уверением, что дòма строго был наказан. Наказание мое состояло в грустных, нежных упреках сестры; зять же мой расхохотался, называя меня молодцом. Чрез три дня явилась и бедная Лаборд, но с тех пор я не смел уже подходить к ней, а она на меня даже и глаз не подымала. Пример сей не нужен, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вместе детей разного пола; теперь это вывелось, а в старину полагали, что до пятнадцати лет все дети должны быть столь же бесстрастны, как грудные младенцы.

Главный вопрос, который должен был сделать всякий и который могу я сам себе сделать: да чему же мы там учились? Бог знает; помнится, всему, только элементарно. Эти иностранные пансионы, коих тогда в Москве считалось до двадцати, были хуже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учители ходили из сих школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить; один только немецкий учитель, некто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики; другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали

тотчас после классов. Мы были настоящее училище попугаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей, а отдавали их потом в пансион университетский. Сие неминуемо должно было со мной случиться, но странность судьбы моей к тому не допустила.

Письмами своими старался я разжалобить родителей и в том успел; но не вполне достиг я своей цели, ибо, вместо того, чтоб отдать меня в университетский пансион, велено обратно меня отправить в Киев. Причина тому была нижеследующая. В числе имений князя Потемкина, коим наследовали племянницы его, находилось в Киевской губернии село Казацкое, доставшееся на часть княгине Голицыной, жене известного князя Сергея Феодоровича. Муж ее некогда воспитывался в кадетском корпусе, в одно время с отцом моим, и хотя несколько лет был его моложе, всегда помнил его, любил и сохранял с ним сношения; она же была родная сестра графини Браницкой. По сим уважениям (как часто говорится в канцелярских бумагах), проезжая в сказанное имение через Киев, она прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была с ней знакома. Ее супруг начальствовал тогда над корпусом, посылаемым на помощь Австрии против французов, а она намеревалась несколько лет прожить в деревне, для поправления расстроенных хозяйственных дел.

Покойная мать моя, которая с ней скоро подружилась, не в состоянии была не говорить о том, чтò ей казалось моей миловидностью и затейливостью, и о тяжкой для нее разлуке со мною; слушая ее, княгиня Голицына предложила ей взять меня к себе, чтобы неподалеку от Киева воспитываться вместе с ее сыновьями, и прибавила, что многочисленность ее семейства и разные учители делают из ее дома настоящий пансион. Предложение было принято, и я, ничего о том не ведая, несказанно возрадовался, в уповании вновь узреть богоспасаемый град Киев.

Одну московскую барыню, на житье переселившуюся в Киев и находившуюся тогда в Москве, по каким-то делам, просила мать моя привезти меня с собою. Итак, госпожа Королькова взяла меня от госпожи Форсевиль и передала госпоже Турчаниновой: тогда судьба моя была переходить из рук в руки к женщинам.

Но прежде чем отправлюсь из Москвы, хочу описать сколь можно вкратце как особу, с которую должен был совершить путешествие, так и семейство ее.

Во время походов Миниха и Ласси, маленький турчонок был взят русскими в плен и привезен в Петербург к Анне Иоанновне, которая его крестила. Елисавета Петровна отдала его в услужение наследнику своему; он сделался Кутайсов[1] Петра III. Господин и государь его не имел времени пожаловать его графом или светлейшим князем, и в день кончины его он назывался только Александром Александровичем Турчаниновым, камердинером полковничьего ранга. При Екатерине он скрывался, потом на сбереженные деньги купил именьице в Орловской губернии, потом женился на соседке, девице Сибилевой, также с некоторым достатком. Семейство их втихомолку плодилось и множилось, равно как и состояние; наконец, они имели даже дом в Москве, у Пречистенских ворот.

Воцарение Павла пробудило давно заснувшие надежды малого числа приверженцев Петра III; в числе их предстал и г. Турчанинов пред новым императором, который приказал производить ему все содержание, кое получал он при отце его, а сверх того выдать ему оное за все время царствования Екатерины с наросшими процентами и рекамбиями. Составился значительный капитал, на который искал он купить хорошее имение. Тогда в Киевской губернии продавались за ничто поместья князя Станислава Понятовского, брата последнего короля; для сбыта их был дан ему самый краткий срок; ибо он переехал в Австрию и не хотел сделаться русским подданным. Бывши в Киеве на богомолье, г-жа Турчанинова о том проведала, купила селение Степанцы, состоявшее из 1 000 душ, кажется, не более как за 60 000 рублей и потом подвластного ей мужа выписала из Орла.

Он был сухонький сладенький старичок, который всегда улыбался и до того ко всем был ласков, что рождал недоверчивость. Супруга его, женщина еще видная, соединяла твердость с добротою душевною; слабость ее, впрочем, весьма

---

[1] Ив. Павл. Кутайсов — из крещеных турок, брадобрей и любимец Павла первого, который сделал его графом; он имел большое влияние на государя и пользовался этим.

простительная, была желание казаться моложе, и потому-то погибшие на лице ее розы и лилии она весьма неискусно заменяла искусственными. Из многочисленного семейства их одна только младшая дочь была примечательна и сделалась даже впоследствии известною.

Не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее знали под именем философки. Вся киевская ученость скрывалась тогда под иноческими мантиями в стенах Братского монастыря; она открыла ее и, чуждая мирских слабостей, не побоялась свести явную, тесную дружбу с некоторыми монахами, преподававшими науки в духовной академии. С такой высоты вдруг опустила она внимание на маленького невежду, которого пугали и странность ее наряда и мрачное выражение ее лица.

Когда она выпросила меня к себе в гости, и меня в первый раз к ней послали, то я отправился весьма неохотно. Только сей первый шаг был для меня труден, а потом я надоедал просьбами о дозволении посетить ее. Чистота ли ее души сквозь неопрятную оболочку сообщалась младенческой душе моей, или магнетическая сила ее глаз, коих действие испытывали впоследствии изувеченные дети, действовала тогда и на меня: я находился под очарованием. Я не нашел в ней и тени педантства: всегда веселая, часто шутливая, она об'яснялась с детскою простотой. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о том, чему я учился, и ужасалась глубине моего неведения; но вдруг потом, как пифия на треножнике, как бы содрогаясь от вдохновения, сверкала очами и начинала предрекать мне знаменитость. Увы, пророчества ее столь же мало сбылись, как и удалось ее лечение!

Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Поэзия доступна понятиям младенчествующих как народов, так и людей, и хотя она была для меня халдейским

языком, девица Турчанинова заставляла меня иногда читать некоторые места из Россияды и негодовала, когда неодолимая зевота мешала мне продолжать сие чтение. Тогда принималась она за мелкие стихотворения, потчивала меня ими, упрашивала выучить наизусть, и одно только из них, «Ода на смерть сына моего» Капниста, мне полюбилось и осталось доселе у меня в памяти. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце моей любезной Турчаниновой.

Лет тридцать спустя, увидел я ее опять в Петербурге, вскоре после того как имя ее наделало в нем великий шум, но столь же кратковременный, как и надежды, кои возбудила она в сердцах скорбных родителей обещанием исцелить их детей [1]. Я не нашел в ней почти никакой перемены: черные, прекрасные, мутные и блуждающие глаза ее все еще горели прежним жаром; черные длинные нечесаные космы, как и прежде, выбивались из-под черной скуфьи, и вся она, как черная трюфель в масле, совершенно сохранилась в своем сальном одеянии. Я не упомянул об ней, говоря о Киеве; там видел я еще много других примечательных особ и умолчал об них с намерением после описать их, по мере как в совершеннолетии случай опять сводил меня с ними.

С ее родительницей я должен был отправиться, и от'езд наш был назначен на третий день после Рождества. Я был

[1] Анна Александровна Турчанинова (1774—1848), писательница, магнетизерша. В конце 20-х годов нашумела ее полушарлатанская система лечения магнетизмом, встретившая живой отклик в мистически-настроенном столичном обществе. Одним из ее поклонников был кн. А. Н. Голицын, который писал в 1829 году известной сектантке кн. А. С. Голицыной: «Девица Турчанинова действительно феномен. Излечивает она взглядом и начала с горбатых, а теперь лечит паралитиков, расстроенные нервы, глазные болезни и даже глухонемых; множество девиц из общества приезжают к Турчаниновой для лечения кривобокости. Я спрашивал у Турчаниновой о силе, действующей на этих детей, и она отвечала мне, что ее можно сравнить с насосом, извлекающим жизненную силу в природе, чтоб передать ее, посредством взгляда, больным...» В 1843 г. она хотела ехать в Турцию, чтобы «попробовать магнетическую силу глаз своих над над чумою». Николай тоже считался с этой полусумасшедшей старухой и назначил даже для исследования ее способов лечения комиссию под председательством знаменитого Н. С. Мордвинова, при участии шефа жандармов Бенкендорфа и других.

вне себя от радости; но, в самую почти минуту сего от'езда, к ней примешалось маленькое горе. Младший сын г-жи Турчаниновой, по совету сестры, учился в университетском пансионе; к нему пришли товарищи и начали при мне читать «Московские Ведомости», лежавшие на столе. В них было помещено известие об экзамене, за несколько дней перед тем в сем пансионе происходившем, и имена учеников, получивших награды. Двум только даны были золотые медали; один из них, г. Кириченко-Астромов, находился тут налицо; приветствия ему и поздравления хозяйки были мне как острый нож. Отец его занимал какую-то маленькую должность в Киеве, и он ласково подошел ко мне, называя себя моим земляком; но я спесиво и холодно отвечал ему, что никогда имени его не слыхивал (этой глупости я ввек себе не прощу). Имя другого ученика, целой России после знакомое, имя Жуковского, было тогда столь же мало известно. Уверяли, будто он поляк; другие утверждали, что он малороссиянин; он сам долго не мог решиться, чем ему быть, и оставался покамест русским, славя наше отечество и им славимый. После восторгов, произведенных во мне его стихами, мне нечего раскаиваться в зависти, которую возбудило во мне имя его, в первый раз, как я его услышал.

Князя Дашкова уже в Киеве не было. Новым поведением своим он заставлял забывать прежние свои поступки, с усердием исправлял лежащие на нем обязанности, и все им были довольны. По какому-то недоразумению или наговору, бог весть за что̀, царь на него прогневался и без всякой церемонии просто отставил его от службы; он поклонился и уехал в деревню.

Только в одной наружности Киева не нашел я ни малейшей перемены; в обществе же его почти наполовину встречались мне совершенно новые лица. Я не успел еще ознакомиться с ними, не успел еще хорошенько узнать их имен, как родители мои об'явили мне о намерении своем отдать меня в дом Голицыных для усовершенствования моего образования и самим везти меня туда. Мне это было очень не по сердцу, но делать было нечего. Итак, Киев мелькнул только передо мною, ибо в первых числах февраля отправились мы в новое для меня местопребывание.

В первый день остановились мы в Белой Церкви и весь следующий провели у графини Браницкой; я говорю, у графини, ибо супруг ее в доме ничего не значил, так точно как мужья госпож Форсевиль и Турчаниновой. Он был человек старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственного; славился же он беспримерным аппетитом вместе с утонченным вкусом в гастрономии. Несмотря на свою скупость, графиня Браницкая нанимала изящнейшего повара-француза и ничего не щадила для стола, дабы сим приятным занятием отвлечь супруга от хозяйственных дел, в которых он ничего не понимал и в кои от скуки он захотел бы, может быть, мешаться. Они жили в обширном деревянном доме, внутри оштукатуренном, коего стены были выкрашены просто, а потолки выбелены. Но главные комнаты сего дома были наполнены драгоценными вещами, бронзовыми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, из коих, как уверяли, ни одна не была куплена графиней Браницкой: все они были даны дружбою и щедротою Екатерины, а иные подарены или завещаны князем Потемкиным. Изо всех мне более показалась примечательна одна высокая бронзовая гора, на вершине коей сидел двуглавый русский орел; из боков ее струились живоносные хрустальные ручьи, а внутри ее устроенный механизм производил музыку, которая подражала журчанию вод. На полугоре сидел Сатурн с косою за плечами, одною рукой опираясь об часы, а другою держа миниатюрный портрет Екатерины, на меди писанный, в оправе из стразов, как бы забывая время свое и любуясь ее изображением.

При двух сыновьях и трех дочерях, так же как у графа Салтыкова, находились учитель и гувернер с гувернанткой, муж с женой, г-н и г-жа Дориньи и мусью Бробек. Сверх того жили в сем доме польские и русские дамы и барышни, иностранный медик и несколько отставных военных, неимущих, довольно образованных чиновных людей, занимавших должности домоправителей, прикащиков над деревнями, конюших и тому подобное[1]. Две враждебные нации жили тут

[1] Нельзя себе представить, сколько добрых и честных людей, без всякой вины отставленных или выключенных из службы, в сие мрачное время скиталось без пропитания. Они принимали всякие низкие должности в знатных и помещичьих домах.

в совершенном согласии. Домашняя услуга вся состояла из шляхтичей, и в сем доме, без лишних прихотей, все напоминало, однако же, феодальное могущество.

Княгиня Голицына, к которой везли меня, была родная сестра графини Браницкой; но в это время произошла между ними если не явная ссора, то, по крайней мере, сильная простуда родственной любви. Обе хотели купить Корсунь, поместье князя Понятовского, которое вместе с окружавшими его деревнями имело до восьми тысяч душ. У Браницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не было даже большого кредита; следственно первая сторговала имение. Павел первый помирил их, купив оное для Петра Васильевича Лопухина, отца своей любимицы, которого, вместе с тем, пожаловал светлейшим князем. Мать моя взялась довершить примирение, начатое императором, и, кажется, в том успела.

Село или местечко Казацкое, в которое мы приехали, было из числа тех имений, кои польские короли раздавали магнатам в Украйне, после разделения ее на русскую и польскую и по совершенном порабощении последней. Магнаты никогда в них не приезжали, жили в Варшаве или Вильне и получали с них только доходы; казацкая вольница не страдала от панского присутствия. Князь Потемкин, еще при польском правительстве, властью и деньгами приобрел все те имения, которые находились в соседстве с Новороссийским краем; по смерти его они достались его наследникам. Проезжая чрез сии имения, чрез Богуслав, Корсунь, я не мог надивиться тому, что везде вижу православные церкви, везде слышу малороссийское наречие и только изредка встречаю поляков. Невежество мое, которое, впрочем, разделял я со всеми жителями внутренней России, заставляло меня думать, что все находящееся за старою нашею границей есть и было всегда настоящая Польша

Еще не было году, что семейство Голицыных поселилось в Казацком. Мы приехали туда в сумерки. Бесконечный двор, обнесенный тыном, в глубине коего открывались деревянные барские хоромы, наскоро выстроенные, а по бокам находи-

---

У князя Куракина жил в деревне один видный собою майор, которого обязанность состояла только в том, чтобы с палкою в руке ходить перед князем, когда он изволил шествовать в свою домовую церковь. Авт.

лись шесть довольно просторных мазанок, вместо флигелей, и сад, разведенный только осенью и представляющий одни только ряды прутьев, все это, занесенное снегом, имело в глазах моих вид мрачный и угрюмый. Те, кои вспомнят, как тяжела мне была мысль сделаться приемышем в знатном доме даже среди шума блестящей столицы, могут посудить о том, что̀ во мне происходило в сию истинно-горестную для меня минуту.

Нам отвели особливые комнаты. В тот же самый вечер меня представили княгине, и я познакомился как с гувернером, коему меня поручили, так и с маленькими моими товарищами.

Я не скажу теперь ни слова о впечатлении, которое произвело на меня мое новое знакомство: ибо всех членов многочисленного семейства, среди коего пришлось мне жить, также и все лица, кои, находясь в сем доме, составляли его общество, намерен я впоследствии перебрать поодиночке. Права гостеприимства я почитаю священными; но я нимало не нарушу моих обязанностей, если о посторонних людях скажу истину с такою же откровенностью, с какою говорил о самых близких родных. Чрез два дни родители мои воротились в Киев, оставив меня между людьми, мне дотоле вовсе незнакомыми.

С нетерпением ожидала княгиня Варвара Васильевна (так звали г-жу Голицыну) известий от мужа из армии, которая на походе находилась тогда в Литве; с исступлением бешенства скоро получила она письмо его, коим он ее уведомлял, что государь за что-то на него прогневался, отставил его от службы, отдал корпус его генералу де-Ласси, велел ему жить в деревне, и что фельд'егерь не замедлит привезти его к нам. Конечно, было за что подосадовать, но гнев княгини Голицыной превосходил всякое описание. Столь ужаснейшего гнева я никогда еще не видывал; он превратил ее в фурию, исказил все черты еще прекрасного ее лица. Забывая, что свидетелями она имеет детей и слуг, она проклинала царя, всех, народ и войско, которые ему повинуются, и успокоилась только от изнеможения сил. Этот первый взрыв яркими чертами осветил в глазах моих весь характер той особы, у которой я находился в зависимости, и заставил меня в поступках своих быть весьма осторожным.

Дни три спустя после того прибыл или был привезен, сам князь Голицын, в сопровождении второго сына своего Федора, отставного гвардии корнета, который отправился к нему в армию, в надежде под начальством его опять вступить в службу, но, встретясь с ним на дороге, вместе воротился.

Не прошло недели, как из Петербурга прислали старшего сына его князя Григория, генерал-ад'ютанта и любимца Павла первого, внезапно отставленного и высланного из столицы. Это было в феврале, а в половине лета еще прислали к нам третьего и четвертого сыновей князя Голицына, Сергея и Михаила, семеновских офицеров, также без просьбы отставленных, но не совсем, однако же без вины и причины. Итак, Казацкое сделалось местом заточения целого семейства, мне совершенно чуждого, но которое, однако же, я должен был с ним разделять.

Я не был свидетелем свидания супругов; мы в это время сидели за книгами; когда же кончился класс, и меня представили хозяину дома, то вид его, спокойный, довольно-веселый, и ласково-покровительственный мне прием меня чрезвычайно ободрили.

Теперь приступлю к обещанному выше, к изображению людей, с коими прожил я около года в совершенном удалении от мира и коих характер следственно мог хорошо изучить. Чтобы успокоить читателя, спешу предупредить его, что между ними были лица отменно-замечательные, и начинаю с главы семейства.

Воспитанный в кадетском корпусе, в конце царствования императрицы Елисаветы, князь Сергий Федорович учился с успехом математическим наукам и, исключая русского, знал еще хорошо немецкий язык. Вышед из него, он в обществе получил навык к французскому; знание языков было тогда не безделица: оно вело к повышению. Он не принадлежал к знаменитой ветви Голицыных, Дмитрия и двух Михаилов Михаиловичей, коих счастие при Петре великом равнялось великим их заслугам и коих семейства приобрели новую славу в глазах русского народа, падая умилительными жертвами немецкого тиранства при Анне Иоанновне. Его отец, князь Федор Сергеевич, был человек и не чиновный, и не богатый, и не расчетливый: прельстившись всем заграничным, куда

как-то его занесло, он получил необоримое отвращение ко всему отечественному. Рассказывали, что, по возвращении из путешествий он тотчас завел флёровую фабрику и потом, гнушаясь названиями ржи и проса, он все поля свои засеял французским табаком и скоро до того разорился, что наконец не на чем ему было посеять и репы. Когда просвещение блеснет перед полуварварами, то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети, которые ловят огонь.

К счастию молодого сына, он вовсе не походил на отца; в нем билось истинно-русское сердце, он был наружности приятной, был добр, умен и храбр: без того, несмотря на сиятельное свое происхождение, ему бы невозможно было выбиться из княжеской толпы. Много ему способствовало к тому родство с известным фельдмаршалом, графом Захаром Григорьевичем Чернышовым, президентом военной коллегии, коего по матери был он родной племянник; а еще более женитьба на племяннице князя Потемкина, который, впрочем, не очень его любил, но не мог отказать ему в уважении. То же самое было и с другими тогда царскими любимцами.

Это знал Павел первый и, вступив на престол, осыпал его ласками и наградами. Долго это продлиться не могло: только в Екатеринино время можно было безнаказанно соединять верную службу и преданность престолу с некоторою независимостью характера. Скоро должен был князь Голицын оставить службу и поселиться в Москве. Но когда война с французами заставила вызвать Суворова из заточения, тогда вспомнили и о других брошенных мечах Екатерины: на гатчинских фрунтовиках трудно бы было выехать. Призванный в Петербург, обласканный Голицын отправился ко вверенному ему корпусу, а вскоре потом в ссылку за какое-то откровенное письмо к императору.

Он был тогда полный генерал и обвешан всеми первостепенными орденами, за военные подвиги полученными. Он был в крепости сил и лет, ибо ему еще не было пятидесяти, и по его опытности, деятельности и бесстрашию казалось, что судьба предназначала его быть одним из лучших наших полководцев; сии ожидания никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что еслиб ему поручен был корпус Корсакова или Германа, то слава русского оружия в Голлан-

дии или Швейцарии прогремела бы тогда не менее, чем в Италии; самые важные происшествия взяли бы тогда, может быть, иной оборот.

Как домашним, так и деревенским хозяйством исключительно занималась княгиня, «его супруга златовласа, Пленира сердцем и лицом» [1]. Когда я начал знать ее, такое название уже ей не было прилично, хотя черты ее были бесподобные, и в сорок лет она сохраняла свежесть двадцатилетней девы. Но сильные страсти, коих вследствие дурного воспитания она никогда не умела обуздывать, дали ее лицу весьма неприятное выражение. В ее власти находились чада и домочадцы, слуги и крестьяне; однако же муж не переставал быть господином, и хотя всем она управляла, всем повелевала, но он сохранял права генеральной инспекции и контроля: самый благоразумный образ правления в доме.

Я худо об'яснился, если мои читатели увидят в княгине Голицыной злую женщину: между злюю и сердитою разница превеликая. Если бы гнев ее иногда не был продолжителен, то ее просто можно было бы назвать вспыльчивою. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила без памяти мужа и одного из сыновей своих и терпеть не могла противоречий; а как рассудок ее был не весьма обширен, то никакие доводы не могли ее убеждать. Сообразуясь с сим, можно было избежать неприятных с нею столкновений, и в ее управлении не было заметно и тени тиранства; но горе тому, кто, возбудив ее гнев, не спешил покорностию смягчить его: тогда она забывала все, и свой сан и свой пол, и начинала даже рукам давать волю. Рассказывали ужасы, будто бы один раз она приятельницу свою, помещицу Шевелеву, у себя в гостиной при всех таскала за волосы; будто бы дорогой, измучившись от неисправности, в которой она находилась, она среди поля при себе велела разложить сопровождавшего ее заседателя и высечь плетьми: тогда еще был жив князь Потемкин, и не было даже возможности жаловаться на нее. Надобно сказать, однако же, к ее чести, что на совершенно беззащитных, например, на горничных девок, никогда рука ее не подымалась.

---

[1] Так называет ее Державин в известном стихотворении: «Осень во время осады Очакова». Авт.

С таким нравом ей не легко было жить в обществе. В столицах она обыкновенно вела жизнь уединенную, стараясь окружать себя одними только угодниками и угодницами, а в деревне тогда не трудно было знатной барыне соседних мелкопоместных дворянок обращать в свои прислужницы. Потому-то ее Зубриловка в Саратовской губернии была любимым ее местопребыванием: там степень ее доверенности указывала места всем уездным барыням.

Получив село Казацкое по наследству от дяди, она долго не решалась в него приехать. Одни только сильные привычки удерживали тогда на севере новых помещиков завоеванного края; но они восхищались мыслию, что могут, когда захотят, поселиться в теплом, прекрасном климате; ныне, если б государь имел власть раздавать имения близ Ниццы и Флоренции, то получившие их наши руссо-европейцы едва ли бы тому так радовались. Княгиню Голицыну к переселению побудили другие причины: все эти имения, находящиеся в руках арендаторов, заброшенные, забытые польскими помещиками, приносили чрезвычайно мало доходу в сравнении с великороссийскими деревнями; она хотела личным присутствием стараться его умножить.

Часто, часто вздыхала она о своей Зубриловке. В благословенной стране, среди роскошной природы, она жила как в пустыне; вокруг были одни крупные поместья, и самые ближние соседи во ста верстах. Все ее навыки, все ее вкусы были старинные русские. Кому было угождать им, кому было разделять их с нею? Конечно, она бы могла собрать рассеянных в округе шляхтянок, но как их подпустить к себе? В глазах ее они стояли ниже ее служанок. Одна своя семья и живущие в ней составляли ее бессменное, единообразное общество. Поутру она занималась делом, за обедом хорошо кушала (и по большей части одни русские блюда); после обеда она сидела за столиком в софе, как изобразил ее Державин. Скука ее одолевала. «Что̀ бы нам делать?» — иногда говорила она, — «чего бы нам поесть?» И моченые яблоки, и рябинная пастила, и брусничная вода, и клюковный морс, и морошка в сахаре, иногда просто липовый мед, все северные лакомства предпочтительно южным плодам сменяли друг друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая княгиня! Истая боярыня! Несмотря

на твой постоянно-угрюмый вид, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люблю твою память; прости мне мою откровенность: ты теперь в обители вечной истины и дозволишь мне говорить ее о тебе.

Десять сыновей родила княгиня Голицына мужу своему, и один только из них умер в малолетстве. Старший, князь Григорий, при рождении был пожалован гвардии капитаном, как первенец из внуков Потемкина, то есть сыновей его племянницы. Император Павел, при вступлении на престол, сделал его, тогда семнадцатилетнего мальчика, полковником и своим флигель-ад'ютантом, а года через полтора генерал-ад'ютантом.

Тут нет ничего мудреного, и цари могут, когда им угодно, жаловать новорожденных фельдмаршалами; но вот что̀ удивительно: он несколько времени управлял военною канцелярией и докладывал по делам ее государю, следственно был род начальника штаба; кто его знал прежде и после, тому это покажется вовсе непонятным. Он лицом походил на отца, хотя был красивее его и ростом выше; не имел пылкого характера матери, но у нее заимствовал страсть первенства над мелкими людьми. Его воспитывал какой-то барон Эйбен, который, даром что немец, ни сам ничего не знал, ни его ничему не учил. Много придется мне говорить об этом человеке впоследствии времени; теперь сказанного здесь почитаю достаточным.

Второй сын, восьмнадцатилетний князь Федор, не только в нашем маленьком обществе, но и в самом блистательном, многочисленном, был бы замечателен. Получив столь же плохое воспитание, как и братья, он приобрел, однако же, в большом свете этот хороший тон, который человеку, одаренному умом, дает так много средств его выказывать, а неимущему скрывать его недостатки. Более всего помогает он обходить затруднительные вопросы, которые могли бы изобличить в невежестве: имея самые поверхностные познания, можно с ним прослыть едва ли не ученым. Во Франции, где родился он, прикрывались им пороки и даже злодейства, пока революция не истребила его, как бесполезный покров. Давно уже вывезли его к нам молодые, знатные наши путешественники, Шуваловы, Белосельские, Чернышовы, но более всего эмигранты распространили его в лучшем обще-

стве. В нем образовался князь Федор Голицын; а как французский язык был исключительный орган хорошего тона, без которого и поныне он у нас не существует, то он выражался на нем так свободно и приятно, как я дотоле не слыхивал.

Казалось, что он взял себе девизом: все для большого света, его успехов и наслаждений. И потому-то я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо русской кормилицы, белое, полное, широкое, румяное, но с огненным взглядом и привлекательною улыбкой, делали наружность его весьма приятною; самой необычайной толщине своей умел он в молодости, посредством туалета, давать щеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы; в этом, кажется, заключались все его знания.

Сверх того был он одарен необыкновенным вкусом, не тем изящным вкусом, который умеет давать цену произведениям ваятеля, зодчего или живописца и которого одобрение почитают они лучшею наградой, — нет, он сам сознавался, что ничего не смыслит в наружной архитектуре, что красоты ее для него не существуют, и никогда не хотел взглянуть на картину. Но что̀ касается до внутреннего расположения комнат, до убранства их всеми драгоценными безделками, то на вымыслы в этом роде был он настоящий гений. Если б он остался жив и захотел бы себя на то для других употребить, то я уверен, что в нынешнее время он бы затмил, уничтожил Монферрана [1].

Еще одну великую способность имел князь Федор: никто в России не умел так славно приготовлять великолепные праздники и быть их распорядителем. С большим состоянием, которое наконец он получил, и с маленькою бережливостию, которой никогда он не имел, такие люди, как он, служат если не подпорою государства, то по крайней мере украшением двора.

Моложе его годом, князь Сергий, третий брат, был похож на него лицом, но лучше его, выше ростом и не так

[1] Авг. Монферран (настоящая фамилия его Рикар) — строитель Исаакиевского собора, Александровской колонны, дома Лобанова на углу Вознесенского и Адмиралтейской в Петербурге, и других зданий.

толст. Он его взял за образец, и сие искусное подражание была одна только его блестящая сторона.

Но четвертым, Михаилом, не без причины гордился отец; его любила мать, любили братья, товарищи по службе, весь дом, все знакомые. Нельзя было сыскать дурного лица, столь приятного, в невысоком росте нельзя было найти более мужественного вида; из-под наморщенного чела, из-под нахмуренных всегда бровей никакие глаза не выражали столько сердечной доброты, столько веселой смелости. Он без памяти любил женщин и был столько в них счастлив, сколько скромен на счет успехов своих. С первого взгляда физиогномист мог узнать в нем русского человека. Изо всего семейства своего он один был одарен основательным умом и любознанием и один был бы в состоянии поддержать весь падший ныне род князя Сергея Федоровича. Но смерть всегда выбирает лучшие жертвы, и он погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау, имея не более двадцати трех лет от роду

За ним следовал пятый брат, Николай, несчастный, больной, искаженный в ребячестве от испуга, лишенный рассудка, и который потом, двадцати лет, умер на руках у няньки.

Шестой и седьмой, Павел и Александр, были мои товарищи, но двумя или тремя годами моложе меня. Ни тот, ни другой далеко не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще в ребячестве имел лакейские манеры и самые подлые наклонности; он долго страдал следствиями порочной жизни и в низких должностях старался держать себя вдали не только от столичных, но и от губернских городов. Другой, Александр, был умен и храбр; но ложные понятия о чести и слишком упрямый нрав рано остановили его на военном поприще, которое бы он мог с успехом проходить.

Самые меньшие, Василий и Владимир, едва выходили тогда из младенчества. Первый весьма не глуп и всегда оставался добрым и честным человеком; он мог бы быть человеком более полезным, но баловство страстной к нему матери много повредило ему. Вообще все члены этого семейства гибнули, одни в блестящем, другие в жалком ничтожестве.

Более всех из братьев наделал шуму меньшой, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затей-

ливого, и от того вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных[1].

Источником всех неприятностей в жизни, неудач по службе, разорения для этих Голицыных было дурное их воспитание.

Отец более всего заботился о физическом образовании детей: ему желалось их всех видеть молодцами. Конечно, это весьма похвально, особливо в то время, когда родители не только высшего, но и среднего состояния думали отличиться от простонародья, воспитывая детей своих в совершенной неге, державши их вечно в тепле и не давая никакой свободы ни их мыслям, ни их движениям. Человек, однако же, не растение, и нужно приготовить его к перенесению непогод и нравственной атмосферы. Об этом, кажется, никто не думал в том доме, где я находился. Молодые князья были искусны во всех гимнастических упражнениях: они шибко бегали, высоко лазили, славно катались на коньках, мастерски перепрыгивали через рвы; смотря по возрасту, у каждого из них были разных величин свайки, и они тешились ими между собою или дворовыми людьми; зимою и летом каждое утро обливали их холодною водой. Развитие же их умственных способностей оставлено было на произвол судьбы; никаких наставлений они не получали, никаких правил об обязанностях человека им преподаваемо не было. Гувернер ими очень мало занимался и только изредка, как Онегина, слегка бранил. Дядьки говаривали: «Полноте, ваше сиятельство; ведь за вас на мне взыщут».

Чтò касается до наук, то, исключая гувернера, который учил их по-французски и знал хорошо правописание, несмотря на то, что он был эмигрант, находился еще при них учитель математики. Имея намерение их всех посвятить

[1] «Наделавший шуму» Вл. С. Голицын (1794—1861) известен романом с фрейлиной В. И. Туркестановой (1775—1819), которая была влюблена в Александра I. Голицын хотел жениться на этой фрейлине, которая была старше его 20 годами, но, застав у нее однажды ночью Александра, отказался от мысли о браке. Когда же Туркестанова родила от Александра I дочь и отравилась, придворные толки обвинили в этой драме Голицына, чтобы «оградить священную особу государя». Тогда это удалось настолько, что даже Пушкин в своем дневнике приписывает Голицыну вину в беременности фрейлины.

военной службе, отец чувствовал всю необходимость для них сей науки.

Будучи воспитан как благородное дитя, то есть ленивый телом и мало приученный к холоду, новая метода, которой и я должен был следовать, была мне вовсе не по вкусу. Делать было нечего, и я привык к ней. Здоровое и крепкое сложение, которое получил я от природы, могло бы со временем быть обессилено телесным бездействием, и я весьма благодарен дому Голицыных за сохранение многих физических способностей. Но как добро бывает редко без худа, то в сем же доме (с горестью должен в том признаться) в первый раз познакомился я с идеями порока и разврата. Опасность явилась с той стороны, где ее менее ожидать было можно. Старший из моих маленьких товарищей, моложе меня, как сказал я выше, заговорил со мной таким языком, который сначала показался мне непонятен; я покраснел от стыда и ужаса, когда его понял, но вскоре потом начал слушать его с удовольствием.

Кто бы мог поверить? Другой соблазнитель мой был сам наш гувернер, шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило. Я еще помнил строгую мораль, которую читал в глазах г. Мута; недавно расстался с брюзгливым Форсевилем, и вдруг нахожу наставника, который хочет уверить меня, что я уже не ребенок; а в отроческие лета кому не хотелось быть постарее! Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками; я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок, которые начались с открывшеюся весной, он часто забавлял меня остроумною болтовней; об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-по-малу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые Титаны, по словам его, только временно овладели

сим Олимпом, но, подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове религия он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе однако же ничего против нее говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами (не с сочинениями) Расина, Мольера и Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть.

Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. Я не знал, что̀ мне делать: я так уже привык в него веровать, что стыдился своего стыда; а он, злодей, наслаждался моим смятением. Еще приятнее было ему видеть, как постепенно исчезала моя робость и умножалось бесстыдство. Какая была цель его? Просто, в этих людях есть нечто демонское. Когда между французами таковы были поборники веры и законного правительства, то что̀ же такое были их противники?

Изобразив поступки этого человека, надобно сказать несколько слов и о наружности его. Он был высок и сухощав, имел самые маленькие серые сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика святого Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательства старинного дворянства.

И вот в каких руках находилась тогда, конечно, половина благородного русского юношества! При Павле, в числе других зол и беспорядков, размножились у нас эмигранты: не было полка в армии, в коем бы не находилось их по два и по три человека. Вообще тем, коим удалось попасть в службу, более других посчастливилось. Графский титул, который по бесчисленности носящих его мелких, мало известных дворян во Франции уже был ни по чем, у нас тогда еще был в редкость, и наши знатные или богатые невесты охотно выходили за сих мнимознатных людей, особливо, когда они имели русский чин. Таким образом Лавали, Модены, Кенсона́ у нас сделались величайшими аристократами, не только сравнялись с знаменитейшими нашими фамилиями, но начали почитать себя выше их. Не такова была участь тех, кои принуждены были приняться за воспитание детей: звание учителя, в наших варварских понятиях, казалось нам

немного выше холопа-дядьки, вечного соперника мусьи. Французы это заметили; но как не было возможности их всех поместить, ибо прибывающие их толпы беспрестанно увеличивалось, то, следуя нашей пословице (я думаю, у них же заимствованной) «плоха честь, когда нечего есть», они рассеялись по лицу земли русской, чтобы каким-либо образом добывать себе хлеб. Умножающееся употребление французского языка способствовало им к отысканию мест; скоро в самых отдаленных губерниях всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза. Я знал в Пензенской губернии одного г. Жедринского, у которого было не более трехсот душ, обремененных долгами. Его сына воспитывал виконт де-Мельвиль.

Когда между французами, между эмигрантами, встретится человек благоразумный, просвещенный, скромный, с религиозными чувствами и строгою нравственностью, то надобно говорить об нем, как о диковинке. Такая диковинка находилась у нас в селе Казацком. К сожалению, не ему было поручено воспитание наше: он только давал нам уроки. Г. Керлеро́, о коем хочу говорить, не приехал, а пришел в Россию с корпусом принца Конде. Как искусного инженерного офицера, его бы охотно приняли во всякую иностранную службу; но он предпочел надеть ледунку, взять ружье и стать в ряды простых воинов, защитников королевских прав, кои почитали они священными; когда корпус, к коему принадлежал он, был принят в русскую службу, то скоро, наскучив гарнизонною жизнью, он определился учителем в дом Голицыных.

Он с добродушною настойчивостью победил во мне отвращение к математическим наукам, и в одно лето прошли мы с ним геометрию и алгебру; ему обязан я тем, что не остался совсем бессчетным. С величайшим терпением учил он маленьких князьков, но усердно и успешно занимался с шестнадцатилетним отставным офицером, князем Михаилом, который один из братьев пожелал вознаградить потерянное на службе время.

Итак в сем доме было два француза. Было еще и два немца: отставной ротмистр, который заведывал конюшней и смотрел за лошадьми, и лекарь, который морил людей; последний был женат. Потом был грек, отставной майор,

главный управитель над деревнями, который всегда улыбался, пришучивал и обкрадывал своих верителей. В нем одно только мне памятно: от него ужасно несло курительным табаком; цвет лица он имел совсем кофейный и ежедневно пил по двенадцати чашек кофе. Всех вышесказанных, но не вышеименованных особ, лет двадцать тому назад мог бы я назвать читателю, который, впрочем, немного бы от того выиграл, и горе только одному мне, кому память столь приметно изменяет [1]. Наконец, был и поляк, Загурский, пан-экономом с своей паньей. Грек и немцы обедали с нами только по праздникам и по воскресеньям, а шляхтича с женой, тоже по воскресеньям, пускали только поутру с поклоном к княгине, которая милостиво давала им целовать ручку.

Все это были должностные лица; но в нашем обществе находились еще два почетные члена, из коих один давно уже членом российской академии, а другой доселе тщетно ожидает сей чести.

Родной племянник Александра Петровича Сумарокова, одного из известнейших наших старинных писателей, Павел Иванович служил в Преображенском полку под начальством князя Сергия Федоровича и женился на двоюродной сестре его, княгине Марии Васильевне Голицыной. Он свел ее с ума, где-то оставил, а прижитых с нею двух детей, сына и дочь, отдал он на воспитание в дом своего родственника и покровителя. Принужден будучи, подобно многим, оставить службу при Павле и не имея большого состояния, он находился тогда вместе с ними и гостил в Казацком.

Непомерная спесь г. Сумарокова превосходила всякое описание: никакие успехи не смягчали его гордости; бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить. В обращении со всеми, кого смолоду не привык он почитать выше себя, было всегда что-то грубое, жесткое, нестерпимое. В глубокой старости он остался так же тяжел и несносен, как в первой молодости; более он сделаться не мог.

---

[1] Чтоб иметь по обращику каждой нации, учился с нами маленький, красивый англичанин Джон Лич, сын какого-то ремесленника. Я недавно знал его архитектором медико-хирургической академии, во что определил его известный его единоземец Виллие [Я. В., лейб-медик императора и начальник академии], хотя он никогда архитектуре и не думал учиться. Авт.

Два раза был он губернатором, обе губернии должен был оставить, истощив терпение начальства, подчиненных и жителей; теперь он состоит инвалидным сенатором.

Он один видел в себе государственного человека и литературного гения; никто даже в шутку его в том не уверял. Вероятно, у него был двойник, и их взаимное удивление, обожание, утешало его в мнимой несправедливости людей. Нельзя думать, чтобы творения его дошли до потомства; библиоманам было бы однако же не худо их сохранять: они могут служить образцами дурного слога, дурного вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности. Стараясь спасти их от забвения, в котором, может быть, и сам потону, спешу назвать известнейшие: «Досуги крымского судьи», «Прогулка за границу» и повесть: «Феодора», которая такая же дура, как и сам сочинитель.

В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса: деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленность, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.

Он был тогда лет тридцати шести и более двенадцати известен в литературе. Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе еще непонятно. Оттого ли сие происходило, что он не был иностранный писатель? Оттого ли, что в это время у нас дорожили одною только воинскою славой? Как бы то ни было, но я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просвещенными людьми в России; если бы знал это, то, конечно, смотрел бы на него совсем иными глазами.

Собственное его молчание не может почитаться следствием скромности, а более сметливости: он выказывал

только то, что в состоянии были оценить, истинные же сокровища ума своего ему не перед кем было расточать.

Происхождение его мало известно; кажется, он должен быть сыном нового, мелкого, бедного дворянина. Природа сама указала ему путь, на котором он встретился с фортуной; потому-то он мало заботился о службе. Но в России, особливо лет пятьдесят тому назад, никак нельзя было оставаться без чина, и его куда-то записали. Неимущий, беспечный юноша, он долго не имел собственного угла и всегда гостил у кого-нибудь. Таким образом попал он к князю Голицыну и жил у него уже два года до нашей встречи. Он сопутствовал ему в армию в звании частного секретаря, надеялся за границей получить новые впечатления, приобресть новые познания; но неблагоприятный оборот, который взяли дела его патрона, заставил его с ним вместе укрыться в деревне.

В тучном теле его обращалась кровь не столь медленно, как ныне, в нем было более живости, даже более воображения; но уже тогда был он замечателен неопрятностью, леностью и обжорством. В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: выбирай любое, и он начал пользоваться ее богатыми дарами, сделался поэт, хороший музыкант, математик. Скоро тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса, поглотившая у нас столь много наслаждений. Мы дивимся, мы восхищаемся тем, что ускользнуло от могущества плоти, что бы мы увидели, если б она могла быть побеждена!

Крылова называют русским Лафонтеном; тот и другой первые баснописцы в своей земле; но как поэт, мне кажется, француз стоит выше. Как он бывает иногда трогателен, увлекателен, например, в басне: «Два голубя»! Читая его, никто не спросит: был ли он добрый человек? Всякий это почувствует. Если б о Крылове мне сделали сей вопрос, то я должен бы был отвечать отрицательно. Чрезмерное себялюбие, даже без злости, нельзя назвать добротой; в деяниях Крылова, в его разговорах был всегда один только

расчет; в его стихах чистота, стройность и размер, везде ум, нигде не проглянет чувство, а ум без чувства то же, что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Никогда не вспоминал он о прошедшем, никогда не рȁдовался ни славе нашего оружия, ни успехам просвещения; если он и завидовал другим знаменитым современным нашим писателям, то разве в тайне; был с ними приветлив, но никогда их не читал, никогда не хотел говорить о их сочинениях. Единственную страсть, или лучше сказать, что-то похожее на нее, имел он к карточной игре, но и в ней был всегда осторожен и всегда презирал игроков, с коими однако же прожил век. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим.

С хозяевами домов, кои, по привычке, он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков, любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Если б его спросили, какое слово в русском языке ему кажется нежнейшим, то я уверен, что он бы отвечал: кормилец мой. Чтȍ делать! Видно, сердце у него в желудке; из сего источника почерпнул он большую часть своих мыслей, и надобно сказать правду, он им нехудо был вдохновен.

Тот, кто остается чужд житейских бурь, кто на страсти людей, благородные или пагубные, смотрит с улыбкою презрения, тот не должен иметь их слабостей, а еще менее их предрассудков. Но таковы несообразности в каждом из нас, такое несогласие бывает между рассудком и наклонностями, что не сыщается ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Положим, это следствие господствовавшего прежде мнения, под влиянием коего он вырос, и я очень далек, чтобы видеть тут что-нибудь худое; но зачем же богатство имеет равное право на его почтительную нежность? Отчего же такое жестокое невнимание ко всем, кто обижен не природой, а фортуной? Где же твердый муж? Где же философ? Надобно было видеть в Казацком его умное, искусное, смелое раболепство с хозяевами; надобно было видеть, как он сам возбу-

ждал их к шуткам, как часто в угождение им трунил над собою.

Грустно это вспомнить, а еще грустнее подумать, что на нем выпечатан весь характер простого русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Часто этот народ должен трепетать перед тем, чтò он презирает, и если Крылов — верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей. В простом языке его, который иногда употребляет он и в разговоре, из простых его изречений схватил он все, чтò показывает его глубокомыслие, и без лишних украшений, без приправы, составил из них оригинальные свои творения, как славный повар из простых, но самых свежих припасов готовит вкусный стол, который может удовлетворить прихотям взыскательнейшего гастронома. Подобно восточным стихотворцам, в коих самовластие не могло заглушить таланта, но кои не дерзают явно говорить истину, решился и он ясным мыслям своим, верным наблюдениям дать форму аполога.

Несмотря на свою леность, он от скуки предложил князю Голицыну преподавать русский язык младшим сыновьям его и следственно и соучащимся с ними. И в этом деле показал он себя мастером. Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и об'яснений разных предметов из других наук. Из слушателей его никого не было внимательнее меня, и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался.

Обхождением его со мной я был очень доволен: правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, чтò мне было весьма не по сердцу; но зато маленькому англичанину Личу при мне говаривал он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном [1].

[1] Характеристика Крылова, оставленная Вигелем, принята, после строгой проверки, лучшими биографами знаменитого баснописца, вроде П. А. Плетнева и других.

Чтобы никого не пропустить из нашего деревенского общества, должен я назвать еще два лица: отставного капитана Таманского, побочного сына князя Сергия Федоровича, и живущую у княгини русскую барышню, Прасковью Андреевну, которые ничтожества свои, во время пребывания моего в Казацком, совокупили законными брачными узами.

Нас человек двадцать каждый день садилось за стол, но по праздникам бывало и более двадцати пяти. Казалось, будто мы океаном или непроходимыми горами отделены от других частей мира, и только один раз в неделю, посредством почты, имеем с ним сообщение. Меня уверяли после, будто за нами присматривали; но кажется, кому бы было? Земской полиции мы в глаза не видали, а между нами не было ни одного человека, который бы когда-либо запятнал себя предательством.

Почтовые дни были для нас днями радости. Я знал тогда хорошо по-немецки и с жадностью бросался на гамбургские газеты, которые по прочтении вручал мне князь с одобрительною улыбкой. «Московские Ведомости» не менее тогда были любопытны: не было номера, в коем бы не упоминалось о Суворове. Я шел за ним через Адиж, Требию и По, за ним летел на высоты Альпов и с нетерпением ожидал его в Париже; голова моя горела, сердце билось при чтении блистательных его реляций. Я дома был изнежен и следственно труслив; тут откуда взялась бодрость: с восхищением мечтал я об опасностях, стыдился малейшей робости и побеждал ее. Так сильно действуют великие люди, в отдаленнейших от нас местах, на самые низшие классы и на самый нежный возраст.

Слава Суворова отражалась на пославшем его [Павел первый], ослабляла чувство ненависти к нему, утешала угнетенных им, ссыльных, и разливала радостный свет среди скорбной тьмы его царствования. Дерзали даже ликовать, и известия из Киева говорили о беспрестанных там увеселениях.

Тут в первый раз узнал я сладостное чувство любви к отечеству, меня потом никогда не покидавшее; в этот достопамятный для меня год познакомился я с пороками и добродетелями, мне дотоле неизвестными; в уединенном углу

России вкусил я от древа познания добра и зла. Скудны были мы настоящими происшествиями; но зато, исключая детей, все были богаты воспоминаниями, и потому-то бо̀льшая часть разговоров проходила в рассказах. Из разных стран собрались тут образчики разных наций и состояний; с обыкновенным вниманием я все выслушивал, позволял себе вмешаться в разговоры, делать вопросы и получал снисходительные и удовлетворительные ответы. Таким образом в самом тесном кругу, в коем прожил я тогда близ года, чрезвычайно расширился круг моих идей.

Например, я узнал между прочим, что знатный род и блестящие связи не только заменяют заслуги и чины, кои они доставляют или должны доставлять, но стоят на высоте, для сих последних недосягаемой. Сию веру исповедывали все члены семейства, в коем я жил; из них, кажется, первый князь Федор принял ее в тогдашних петербургских гостиных, куда вывезена была она прямо из Сен-Жерменского предместия статскою советницей княгиней Натальей Петровной Голицыной, урожденной графиней Чернышевой, сестрой фельдмаршальши Салтыковой. Находясь в Париже во время революции, сия знаменитая дама схватила священный огнь, угасающий во Франции, и возжгла его у нас на севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространить свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом и правила французской аристократии начала прилаживать к русским нравам столь же удачно, как в нынешних французских водевилях маркизы де-Сенваль и виконтессы де-Жюссак на нашей сцене перерождаются Авдотьями Дмитриевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нем один из оплотов престола против вольнодумства, а Павел первый даже покровительствовал его, представляя себе, однако же, право немилосердно тузить его членов, чего французские короли себе позволять не могли.

Не один раз придется мне говорить о сем высоком сословии, не более как с полсотни лет у нас образовавшем-

ся, о преимуществах, коими оно пользуется, о сомнительных нравах некоторых из его членов. Чтобы с некоторою подробностью изобразить его, я хочу дождаться времени, когда мне дано было почтительно приблизиться к его святилищам; сказанное теперь почитаю покамест достаточным. В малолетстве не совсем деликатно давали мне чувствовать его могущество, но оно еще являлось мне как огромный блестящий фантом, коего образ сокрыт был от меня таинственным покровом, коего не видел я слабых сторон и коего власти не знал я границ.

Барская спесь, с примесью французских предрассудков, делала самохвальство молодых Голицыных иногда несносным. Ни у одного не было дурного сердца, не было даже гордости, но губительное для них впоследствии тщеславие и легкомыслие. Им все еще грезилась тень дедушки Потемкина; из слов их можно было узнать, что они более видят в себе побежденных сильным противником, чем караемых грозным владыкой. С своими слугами они обходились так же просто, как и с живущими у них в доме; эта ласка была такого рода, какая оказывается любимой лошади, собаке или птице. Такой ласки я снести не мог и смею похвастаться, что умел отразить покровительственный тон, который хотели взять со мной молодые люди; с родителями их было дело другое.

Прошло лето, наступила осень, и уже близилась зима; с каждым днем все у нас в деревне становилось мрачнее и печальнее. Заграничные известия сделались менее радостны, уменьшалась быстрота полета Суворова; сколь ни славен был переход его через Альпы, но он отдалял нас от цели; наши французы-роялисты повесили голову, а я чуть не плакал от досады.

Мои родители из Киева отправились в Москву, чтобы быть при родах сестры моей Алексеевой, которая в октябре благополучно и разрешилась сыном Александром. Это известие меня обрадовало и возгордило: в первый раз я сделался дядей.

К концу года приготовились для меня новые перемены в жизни. Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он об'явил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться; и сколько

с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, столько из видов корысти положил неимоверную плату: ежегодно по 1 500 рублей, нынешних шесть тысяч. Обстоятельства способствовали успехам сего заведения, которое находилось у Обухова моста, на Фонтанке, рядом с великолепным домом князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своего к аббату Николю, коего чрезвычайно поддерживала; будучи сестрою княгини Голицыной, она письменно и ее убеждала прислать туда же младших сыновей своих, на чтò последняя долго не из'являла согласия. Но как невозможно было наконец не подметить безнравственности г. Ролена, так как совестились ему прямо отказать и затруднялись в приискании ему преемника, то и решились отправить мальчиков в Петербург [1]. О сем намерении уведомили также и моих родителей, возвращавшихся тогда из Москвы.

Едва успели они воротиться, как прислали за мной доверенного слугу. Исключая Михаила Голицына и учителя Керлерò, я расстался почти без всякого сожаления с людьми, с коими, казалось, одна свычка должна уже была меня связать; не меня винить надобно, а их равнодушие даже между собою, даже друг к другу. В самое рождество, отужинав, простился я со всеми довольно холодно и пошел к себе спать с тем, чтобы до света выехать. Странное дело! Лишь только пришел в свою комнату и стал раздеваться, как мне сделалось грустно. Так после со мною бывало и везде, особенно там, где люди не оказывали мне и не возбуждали во мне большого участия: вместо их, роднился я с местами и их только покидал как друзей. Менее суток пробыл я в дороге и далеко за полночь, когда уже у нас все спали, приехал я в Киев.

Когда поутру увидели меня родители, то едва могли узнать: так много с небольшим в десять месяцев изменилась моя наружность. Они оставили меня отроком, я предстал им юношей. Я похудел, я вытянулся как спаржа; в теплице порока насильственно и быстро я созрел.

---

[1] В пансионе аббата Николая учились многие будущие декабристы, вышедшие из аристократических семей.

Они не знали, что со мной делать: мои лета требовали еще продолжения учебных занятий, мой рост и тогдашние обычаи делали меня годным для службы. К тому же им жаль было со мной расстаться; из многочисленного семейства находился я при них тогда почти один, ибо старшая сестра и старший брат остались гостить у замужней сестры в Москве, а средний брат поехал в Петербург попытаться войти опять в службу.

В звании военного и гражданского чиновника вместе [обер-прокурор А. А.] Беклешов, дабы в глазах государя облагородить одно звание другим, предложил ему составить новый пехотный полк под именем Сенатского и его назначить шефом того полка; не ограничивать числа вступающих в него подпрапорщиков из дворян, а сим последним, в одно время преподавать законоведение и учить их фронтовой службе. Сия мысль была довольно курьезна, чтобы полюбиться Павлу первому, и она немедленно была приведена в исполнение. Брату моему, находившемуся тогда в Петербурге, поручил Беклешов написать к моим родителям, чтоб они прислали меня к нему для определения в этот полк и не заботились потом о моей судьбе. Выгоды казались очевидны и только ожидали случая, чтоб отправить меня в Петербург.

Одно поразило меня тогда в Киеве: новые костюмы. Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником, трехугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами. В столицах уже давно успели привыкнуть к сей уродливости, в провинциях позже, а к нам в деревню или приказание не дошло, или оно в ней не исполнялось. И мне все платье пришлось перекроить, ибо уже года два ходил я в галстуке и снял куртку.

В первых числах февраля княгиня Варвара Васильевна прислала к нам в дом двух сыновей своих, Павла и Александра, чтобы всем нужным запастись для дальнейшего пути. Сих законных сыновей князя Голицына привез в Киев незаконный сын его Таманский, он должен был сопрово-

ждать их до самого Петербурга. Вот и удобный случай меня отправить; им воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попечениям и надзору г. Таманского.

Этот раз поехал я уже без всякого восторга, с одним только чувством горести. В чужбине так мало испытал я радостей, что в будущем ничего не смел себе приятного обещать. В виду у меня были двойные занятия и военная служба, в которой, как уверяли, дворяне, не имеющие офицерского чина, не избавлялись тогда от телесных наказаний. Зима была ужасная и продолжительная; мы сидели закутанные в крытых кибитках и света божьего не видели. Но нас было четыре мальчика, сорвавшихся с узды: двое Голицыных, англичанин Лич и я, а над нами Таманский, которого никто не слушался, на которого никто из нас не хотел глядеть. В такой веселой компании скоро можно было забыть горе: Таманский рассчитывался, расплачивался, суетился, а мы, без забот, даже без замечаний, скакали день и ночь, меняли лошадей, а на станциях только что проказничали и резвились: последний раз в жизни был я ребенком!

В одном только Витебске чрезвычайная стужа заставила нас остановиться на сутки, чтоб отдохнуть и обогреться. В Порхове узнали мы от одного проезжего, что Беклешов отставлен и уже уехал из Петербурга: «Чтò же Сенатский полк?», спросил я у проезжего. — «Переименован в Литовский, отвечал он, у Сената нет уже гвардии: один государь может ее иметь». — «Чтò же со мной будет?», подумал я и тяжко вздохнул.

Наконец, 18 февраля 1800 года, поутру в Гатчине едва выпив чашку чаю второпях, к полдню в первый раз я увидел Петербург [и поселился у брата].

Были мы вхожи в дом одного приятеля наших родителей, если только Никита Иванович Пещуров мог быть комунибудь приятелем. Он веровал в одно только могущество при дворе; любимцы царей, любимцы вельмож и их любимцы составляли его Олимп, небесную иерархию, которой он униженно кланялся. Чтò всего страннее, он не был честолюбив, не искал власти, а любил ее в других; ему нужно было молиться, и как праздные женщины, которые в Москве всякое утро таскаются от часовень к соборам и от приходских церквей к монастырям, так и он, прежде нежели от-

правиться к должности, любил возить набожность свою по приемным. За других он никогда не хотел просить, а за себя очень редко. Он ездил без всякой нужды; просто приедет, подождет; выйдет боярин, скажет: «здравствуй, братец Никита Иванович, каков ты?», а он с благодарностью поклонится, слава, мол, богу, и потом на целый день доволен, а когда пригласят откушать, то и совершенно счастлив. Говоря всегда с восхищением о сильных, он никогда не позволял себе злословить падших, в ожидании, что они когда-нибудь восстанут; он не шел против них, а почтительно и молчаливо их убегал: это была в одно время и врожденная, и систематическая, и самая откровенная, и самая утонченная подлость. Генеральский чин нашего отца, который в то время предполагал некоторые важные связи, давал нам право на его улыбку, по крайней мере, на ласковый, рассеянно-покровительственный его прием.

О жене его говорить мне не хочется; низкие пороки между женщинами худо образованными в это время встречались нередко; вино согревало и веселило тогда женские сердца чаще, чем любовь. С двумя сыновьями его, тогда офицерами Семеновского полка (меньшой убит в Фридланде, а старший был впоследствии губернатором в Пскове), я сблизился, несмотря на разность наших лет. Как все молодые люди того времени, они были образованы для света и для военной службы, но и в этом не имели ничего блестящего. Они были со всеми отменно вежливы, а ко мне особенно внимательны. Я много им обязан тем, что не совсем праздно провел тогда время в Петербурге: они ссудили меня новыми «Новостями» Флориана, и я перевел их на русский язык, но уже как? Это бы мне любопытно было теперь знать. Я полагаю, что этот перевод не существует; ибо мой брат, который был невеликий литератор, хотя любил чтение, нашел, что он достоин быть напечатан, и с этим намерением взял его к себе, а потом затерял.

Странный был состав маленькой библиотеки молодых Пещуровых, особливо для офицеров: полное собрание сочинений Флориана, все творения Дората, маленький том Буффлера, Театр Мариво, письма к Эмилии о мифологии г. Демутье, Шольё и Лафар, Бернис и Жанти Бернар; все легкое, розовое, амурное, ни одной военной, ни одной рус-

ской книги. Вместе с версальскими предрассудками вошла у нас в моду и французская литература; в высшем обществе знали наизусть классических ее авторов и век Людовика XIV ставили выше веков Августа и Перикла: знатные дамы с восхищением читали Массильйона и Бурдалу, и некоторые из них аббатами приготовлялись уже к восприятию католицизма; полупросвещенные повесы проповедывали безбожие и клялись Вольтером и Дидеротом; чувствительные юноши, женщины, принадлежащие ко второстепенным обществам, и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись нежностями, мадригалами, гримасными улыбками мелких французских писателей. Духом сего времени созданы Измайловы и Шаликовы с их отвратительною чувствительностью.

Третий дом, нами посещаемый, был полуаристократический, не по знатности, не по тону, а по богатству, по связям, а еще более по претензиям. Мой брат учился в пансионе вместе с одним молодым Демидовым, свел и сохранил с ним дружбу и сделался домашним у его родителей. Потомки знаменитого кузнеца, во дни Петра великого открытием руд и усовершенствованием железных работ стяжавшего столь великое богатство, что каждая из раздробленных между многочисленными его правнуками частиц составляет еще миллионы, потомки сии почти все отличаются железным упрямством и удивительными причудами. Внук сего Акинфия Демидова, Петр Григорьевич, отец товарища моего брата, тот самый, к которому мы ездили, если всех их не превосходил странностями, то никому и не уступал. Я скажу только о тех, кои в глазах света казались смешными, а по моему мнению ему делают честь.

Около тридцати лет был он тогда уже женат. Заведенный им порядок с тех пор ни на волос не изменялся, и сей порядок, кажется, существовал еще в доме его отца и деда. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени, во всем было заметно нечто голландско-немецкое. Сверх нижнего жилья, одноэтажный каменный дом его в Большой Мещанской сохранил еще и поныне старинный свой фасад. Несколько узких длинных комнат сего дома были назначены для приема гостей; гораздо же большее число внутренних, как сердце г. Демидова, открывалось только задушев-

ным его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными изображениями; стены одних были завешаны множеством хороших и дурных картин, в других они были составлены из изразцов, в иных видна была дубовая резная работа; столовые и стенные часы, люстры, все мебели одни другим соответствовали: везде встречались опрятность и роскошь Монплезира и маленького Екатерингофского дворца. Одна из комнат была убрана китайскими шелковыми обоями; она называлась чайною, и в шесть часов вечера, не позже, разливали в ней сей горячий напиток, разводили огонь в камине, и гостям мужского пола подавали каждому по маленькой белой трубке с табаком: обычай, который, конечно, ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно.

Из сего можно видеть, что Петр Григорьевич чрезвычайно любил старину. Одни седины и морщины давали право на его приветливость; на молодых людей, даже на молодых женщин, он не обращал ни малейшего внимания. Ими с большею любезностью занималась супруга его, Екатерина Алексеевна, урожденная Жеребцова. Родной брат ее был женат на известной некогда в Петербурге Ольге Александровне [1], родной сестре князя Зубова, любимца Екатерины; родная же племянница г. Демидова была замужем за одним графом Головкиным, а родной племянник, также Демидов, женат на княжне Лопухиной, родной сестре княгини Гагариной, любимицы Павла первого. Столь знатное родство, посещавшее сей дом, давало ему некоторый блеск; но странности, в нем встречаемые, всегда удаляли от него цвет тогдашнего лучшего общества.

Странная мысль вошла тогда брату моему в голову. Он никогда не бывал в доме у Григория Александровича, племянника г. Демидова, а с молодою, прекрасною, меланхолическою женой его, которую муж ревновал к целому свету, редко имел случай разговаривать. Ему показалось, впрочем весьма неосновательно, будто она к нему неравнодушна. Желая казаться более интересным и воспользоваться мнимым ее хорошим расположением, он стал описывать ей

---

[1] Она принимала большое участие в подготовке убийства Павла первого.

братскую ко мне любовь и нежные попечения о моей участи. Женское ли самолюбие, которое дало угадать сильное впечатление, сделанное на человека, хотя не красивого, но молодого, смелого и пылкого, просто ли доброта женского сердца возбудили в ней сострадание к бедному мальчику, но она сама вызвалась говорить обо мне графу Растопчину, министру иностранных дел, и сдержала слово. Трудно было тогда отказать в чем-нибудь сестре княгини Гагариной, и министр через нее велел мне подать просьбу об определении в службу.

Запрещение принимать в гражданскую службу молодых дворян все еще существовало, но из сего правила сделано было из'ятие для дипломатической части. Дозволено было при иностранной коллегии иметь двадцать человек юнкеров 14 класса и десять при московском ее архиве, дабы таким образом ограничить число привилегированных юношей. Легко себе можно представить, как много было желающих занять такие места и какое нужно было покровительство, чтобы получить их.

Вместе с двором находился тогда граф Растопчин [Ф. В.] в Петергофе. Надобно было лично подать ему просьбу, и одним утром мы отправились туда с братом в наемных дрожках. Этой поездки я век не забуду. Страх был во мне сильнее радости. Я видел много вельмож, ласкавших мое отрочество, робеть мне, казалось, было нечего; но во всех официальных действиях и отношениях при Павле был сокрыт какой-то тайный ужас, и приближенные его, подобно ему, прослыли грозными. День был прекрасный, воздух жаркий, но беспрестанно прохлаждаемый ветерком, дующим со взморья. Петергофская дорога, по которой ехал я в первый раз, была тогда, в окрестностях столицы, единственное место, где богачи всех сословий проводили лето, люди же других состояний такой прихоти себе не дозволяли и жили все в городе. Двадцать шесть верст почти беспрерывно тянулась предо мною двойная цепь красивых дач, ныне в развалинах или обращенных в фабрики, дворцы, барские палаты, киоски и пагоды, монументы, местами каскады и фонтаны, каналы и затейливые через них мостики; целые рощи цветов, украшающие крыльца и балконы, попеременно мелькали передо мною, и я с жадным вниманием смотрел на все то, чем искус-

ства и произведения чуждых нам климатов так удачно прикрывают уродливую петербургскую природу. Я был очарован, переходил от изумления к изумлению и во всю дорогу забыл и горе свое и свои надежды.

На заставе у Петергофа должен был я о том вспомнить. Караульный офицер посмотрел на нас с видом подозрительным, спросил наши имена, зачем мы приехали и долго ли пробудем; и записав все это, потребовал, чтобы мы долее назначенного нами времени не оставались. Растопчин жил в деревянных, так называемых кавалерийских домиках, близко от дворца, и чтобы сколь возможно миновать сие место ужаса, мы, оставя дрожки наши где-то в поле, старались пробраться оконечностью нижнего сада. Когда мы пришли, то нас вели в небольшую комнату и, оставя в ней одних, тотчас пошли об нас докладывать. Мы дожидались недолго: отворилась дверь, и вышел граф Растопчин, с видом довольно угрюмым. Зверообразное, калмыковатое лицо его и свирепый взгляд, когда он бывал невесел, должны были в каждом производить страх. Брат мой назвал госпожу Демидову, а у меня чуть не подкосились ноги, когда я безмолвно подал просьбу. Приняв ее, министр сказал только: «хорошо, посмотрим»; и мы, поклонясь, тем же путем отправились обратно в Петербург.

Не прошло двух дней после того, как мы получили грозное письмо от родителей. Пятимесячное пребывание наше в столице становилось для них тягостно; они делали всевозможные пожертвования, чтобы содержать нас прилично, но брат мой, как сказал я где-то выше, был более чем нерасчетлив и наделал долгов. Не видя никакого успеха в моем определении, наш отец решился приказать нам немедленно оставить Петербург и отправиться в Москву к зятю и сестре, чтоб отдать меня там в Екатеринославский кирасирский полк, тогда называвшийся именем шефа своего, фельдмаршала графа Салтыкова. Делать было нечего: малейшее отлагательство в исполнении родительской воли казалось делом невозможным, а согласие, из'явленное графом Растопчиным, весьма походило на отказ.

Сборы наши были недолги; несколько дней спустя, с двумя слугами, сели мы в две телеги и на перекладных поскакали в Москву.

Прежде нежели оставлю я Петербург, молодой город, который тогда не праздновал еще и первого своего юбилея, мне хочется вкратце описать его и дать понятие о тогдашнем его состоянии; читатели не только простят мне сие, но, может быть, и поблагодарят за то. Все уверяют, будто, после двадцатилетнего или даже десятилетнего отсутствия, никто не может узнать Петербурга. Сие могло быть справедливо при Екатерине; но при ней сделано в нем все основное; перемены же, которые с тех пор последовали, суть только прибавления к целому (accessoires). К несчастью, она усвоила себе гибельную мысль Петра великого, развила ее и, так сказать, осуществила. Все творения ее носят печать вечности, и город сей, который тридцатипятилетними её стараниями возвысился и распространился, город, которым щеголяет Россия, забывая, что кости сотен тысяч наших братий, погибших при ископании сей бездны, служат ему основанием, сей город простоит в велелепии столь же долго, как и слава царства русского. Без Екатерины он скоро потонул бы в болоте, среди коего возник. В моих глазах он как здание, которое, близ сорока лет тому назад, увидел я в первый раз совсем оконченным, но коего некоторые только части не были совсем отделаны и из коих многие потом изукрасились. Главные примечательнейшие строения тогда уже существовали и почти в таком же виде, в каком находятся и поныне: дворцы — Зимний, Аничковский, Мраморный, Таврический, три академии, Большой театр; кадетские корпуса, церкви — Спаса на Сенной и Николы морского; стены Петропавловской крепости и берега Невы, Фонтанки и Екатерининского канала были уже выложены гранитом, решетка Летнего сада уже изумляла красотой. Михайловский, что̀ ныне Инженерный, за̀мок тогда достраивался.

Ничто так меня не прельстило в Петербурге, как театр, который увидел я первый раз в жизни; ибо в Киеве его не было, а в Москве меня туда еще не пускали. Несколько о том слов будут здесь не лишние. Русской труппы я тогда не видал или, лучше сказать, о ней и не слыхал, и название ни одного из актеров мне не было известно; знающих по-французски в сравнении с нынешним временем не было и десятой доли, и отличающимся знанием сего языка было бы стыдно, если б их увидели в русском театре: он был оста-

влен толпе приезжих помещиков, купцов и разночинцев. Тощий наш репертуар ей казался неистощим; без скуки и утомления слушала она беспрестанно повторяемые перед ней трагедии Сумарокова и Княжнина; национальные оперы: «Мельник», «Сбитеньщик». «Розана и Любим», «Добрый солдат», «Федул с детьми», «Иван Царевич» лет двадцать сряду имели ежегодно от двадцати до тридцати представлений. В это же время переведенные с итальянского оперы придворного капельмейстера Мартини «Редкая вещь» и «Дианино Древо» начали знакомить нашу публику с хорошею музыкой, а комедии фон-Визина чистить вкус и нравы. Сей вкус, однако же, был угрожаем порчей от драматических произведений Коцебу, коими переводчики наводнили тогда наш театр.

Когда брат бывал мною доволен, что̀ случалось весьма редко, то брал с собою во французский театр. Так как кресел было тогда не более двух рядов, то обыкновенно все ходили в партер, куда за вход платили только по одному рублю. Всего удалось мне видеть спектакль три раза, и следственно награды мне за хорошее поведение стоили не более трех рублей медью. В первый раз играли комедию «Le Vieux Célibataire» [«Старый холостяк»], как бы в предзнаменование моей будущей судьбы. Я не в состоянии был судить об искусстве, и потому-то, вероятно, чудесная игра г-жи Вальвиль не могла примирить меня с ее безобразием; старый Офрен играл старого холостяка и для этой роли мне показался слишком стар; он был знаменитый трагический актер: комедия была не его дело. Несмотря на все это, я не дышал во время представления, боялся проронить слово; новое удовольствие, которое ощутил я тогда, было столь сильно, что в этот вечер дал я себе слово не пропускать спектакля, коль скоро позволено мне будет располагать собою и своим карманом.

От второго представления, которое я видел, я было совсем сошел с ума. Давали оперу Гретри «Прекрасная Арсена», коей музыка и тогда была не весьма новая, но всех еще восхищала. Оркестр, богатые костюмы, декорации, превращения, все меня очаровало, но более всего мадам Шевалье — красавица, столь же славная певица, как и актриса. Когда она запела: et je régnerai dans les cieux [и я

буду царствовать на небесах], мне казалось, что она меня туда за собою увлекла. В последний раз видел я вторично эту сирену в маленькой опере «Le Prisonnier» [«Пленник»]; ничего не могло быть милее, и ни одна актриса меня с тех пор так не пленяла. После оперы был балет или дивертисмент, утвердительно сказать не могу; помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры. Были две молодые танцовщицы, которые в то время друг у друга оспаривали пальму первенства и на которых смотрел я с большим удовольствием, даже тотчас после Шевалье. Одна из них, француженка, Роза Колинет, вышла потом замуж за известного балетмейстера Дидло и, кажется, еще и поныне находится в живых; другая — русская, Берилова, более известная под простым, нежным названием Настеньки, воплощенная грация, которая через год или два после того увяла цветком. Я никогда не был великий охотник до балетов и всегда полагал, что лишь язык может говорить уму и сердцу, а одни прыжки и телодвижения говорят только чувственности, и сего рода наслаждения я никогда не искал на сцене. Привязанность графа Кутайсова [1], женатого человека и отца семейства, к г-же Шевалье и щедрость его к ней казались многим весьма извинительными; но влияние ее на дела посредством сего временщика, продажное ее покровительство, раздача мест за деньги всех возмущали. Уверяли, будто Кутайсов ее любовью делился с господином своим [Павлом I], будто она была прислана сюда с секретными поручениями от Бонапарте, что̀ подвержено сомнению, ибо он был еще в Египте, когда она в Россию приехала; но впоследствии, будучи уже первым консулом республики, мог он употребить ее, как тайного агента. Как бы то ни было, но она почиталась одною из сильных властей государственных; царедворцы старались ей угождать, а об ней, о муже ее, плохом балетмейстере, и о брате ее, танцовщике Огюсте, говорили как о знатном семействе; а когда она в гордости своей воспротивилась браку сего Огюста с дочерью актера Фрожера, то находили сие весьма естественным. Она все

---

[1] Граф Кутайсов до конца (ум. в 1830 г. от холеры) носил на груди вместе с образками портрет г-жи Шевалье (слышано от Пр. Никол. Барановой). П. Б.

реже и реже стала являться публике, как бы гнушаясь городским обществом и сберегая прелести лица своего и таланта для одного двора, на театре Эрмитажа. Следующей зимою пожаловали мужа ее прямо коллежским асессором; тогда ее высокоблагородие, говорят, совсем перестала показываться.

В Петербурге был тогда один только театр, Большой или Каменный, близ Коломны; ибо манеж, отведенный для немцев в доме Ланского, что̀ ныне главного штаба, на Дворцовой площади, сего имени не заслуживает. Русские, французы и итальянцы играли попеременно на Большом театре; первые обыкновенно по воскресеньям и праздничным дням, когда торговый народ, который весь почти у нас русский, ничего не делает, и он-то поддерживал национальные представления. Ремесленный же класс, всегда состоящий здесь из расчетливых немцев, охотно, за весьма умеренную цену, ходил слушать на сцене Ифланда и Коцебу; общество и образованные иностранцы наполняли французский театр. Но откуда брались слушатели для итальянской оперы, когда и теперь еще у нас так мало дилетантства? И что̀ всего удивительнее, первая итальянская труппа была выписана при Елисавете Петровне, когда еще не существовало ни французского, ни немецкого здесь театра, а русский был еще в пеленках. Как тогда, так и теперь музыка у нас роскошь, в Италии — потребность, в Германии — наука. Представления итальянских опер были весьма редки; со всем тем, как уверяли, чудесный голос Павла Мандини гремел, и волшебные звуки Маджиорлетти раздавались часто в пустой почти зале.

Я хотел сказать несколько слов о театре и написал три страницы о любимом предмете. Кто, не посвящая себя литературе и музыке, подобно мне, страстно их любит и имел много праздного времени, тот в хорошем театре находит свое блаженство. Я тогда едва хлебнул только от чаши наслаждений, которая потом так упоила мою молодость.

Но пора оставить Петербург; я слишком долго прощаюсь с ним, хотя и не на долгое время.

Первая молодость сливается с телегой в воспоминаниях всех русских моих современников; ни дорожного, ни домашнего комфорта мы столько не знали, как нынешние молодые

люди. Недавно остроумнейший из наших стихотворцев [П. А. Вяземский, в 1838 году] украсил тележную езду всею прелестию поэзии; трогательная шутка его расшевелила мне сердце до самой глубины. Улыбаясь сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи к Орловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Все нашел я тут: и вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика, и шляпу его, украшенную даровою лентой, и руку его, вооруженную вдохновительным кнутом, и русокосых красоток, коими любовался, несмотря на боль моих ребер. Ни я, ни он, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь без памяти и скакать и прыгать по крупным камням и мелким бревешкам тогдашней мостовой, а вспоминать о том, право, приятно!

Первую ночь я никак не мог уснуть от быстроты и силы движения, в коем находился; на другую ночь довольно крепко заснул, а третий день, при беспрестанных толчках, почти весь проспал преспокойно. Конечно, я с нетерпением ожидал конца того, что почитал моею пыткой; однако же любопытство, коим я одарен или одержим, как угодно, не дозволяло мне ни единого предмета пропустить без особого внимания: ни башен и куполов древнего Новгорода, ни Валдайских гор, ни девок и баранок, ни Вышневолоцких шлюзов, ни сафьянных изделий Торжка, ни улиц Твери, по указу и шнурку выстроенных.

Мы спешили приехать в Москву 20 июля, день имянин нашего зятя, а прибыли только 21-го перед рассветом, и ни его, ни сестры не нашли в городе: они были это время в подмосковной графа Салтыкова. Я и забыл сказать, что зятя моего произвели в полковники и что вслед затем не без причины он был отставлен от службы. Государь прогневался на графа Салтыкова, который младшую дочь свою выдал за графа Орлова, родного племянника ненавистных ему Орловых. Он без церемонии отставил бы его, но был удержан уважением к графине, которая, как одна из пожилых дам, внушала ему к себе почтение и которая приезжала в Петербург ходатайствовать за мужа. Но чтобы каким-нибудь образом показать ему свою немилость, отставил он его ад'ютантов. Итак, бедный Алексеев несколько времени

должен был жить одною помощию своего бывшего начальника.

Я увидел Москву с великим удовольствием, как старую знакомку; один Киев тогда почитал я родным местом. Мы в'ехали на квартиру зятя и сестры, которые сохранили ее, по милости главноначальствовавшего в Москве, в том же самом загнутом флигеле казенного Тверского дома, где жили и прежде.

В один вечер, между разговорами, сестра не скрыла от графини Салтыковой опасений своих насчет моей участи, находя, что незаметно было во мне ни охоты, ни способностей к тому роду службы, который принуждены были для меня избрать, и упомянула о неудачной попытке у графа Растопчина. Услышав его имя, графиня воскликнула: «Зачем же вы мне прежде не сказали! Ведь мы с ним большие друзья; он мне ни в чем отказать не может; завтра же пишу к нему».

Разумеется, что с просьбою к полковому командиру мы приостановились. Ответ графа Растопчина не заставил себя долго ждать: мы получили его не с большим через неделю. Вот содержание его письма: «Покровительствуемый-де вами давным-давно определен в число юнкеров, при коллегии положенных, но доселе неизвестно было, куда он девался; если вам непременно угодно его иметь в Москве, то хотя в архиве комплéкт уже наполнен, я беру на свою ответственность перевести его туда сверх штата».

В самый день имянин сестры моей, 26 августа, графиня Салтыкова прислала ей письмо министра, вместо подарка; лучшего она ей сделать не могла. Повезли меня к обедне, отслужили молебен, послали за портным, заказали мне мундир, созвали кого успели из приятелей и в два часа пополудни сели пировать. На другой день поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину Бантышу-Каменскому, его старинному знакомому, а моему новому и первому начальнику. Бумага обо мне еще не была получена, и только в первых числах сентября начал являться я на службу в московский архив коллегии иностранных дел.

Эти две недели был я в беспрерывном восторге: я пользовался всеми выгодами службы, не подозревая ни одной из

ее неприятностей. Мне принесли мундир. Я не знал, что делать; прежде нежели облекся я в сию одежду мужа, robe virile, мне хотелось расцеловать ее. Я пошел благодарить графиню Салтыкову, которую в первый раз увидел и вблизи; она обласкала меня и даже поцеловала с чувством содеянного благодеяния, а на другой день, уже как юношу, прислала пригласить обедать. Дома в шутку величали меня благородием, а я не шутя тем гордился. Не один только чин 14 класса возвышал так меня в глазах моих; всякое звание имеет только ту цену, которую дает ему общее мнение; а молоденькие децемвиры[1] архива, коллегии юнкерà, казались существами привилегированными. В московских обществах, на московских балах, архивные юноши долго, очень долго заступали место екатерининских гвардии сержантов и уступили его, наконец, только числу нынешних камер-юнкеров.

Никакая эпоха так живо не осталась в моей памяти, как первые месяцы по вступлении моем на службу. Никогда еще, ни прежде, ни после, не встречал я сближения таких противоположностей, соединения таких странностей, как в первом месте моего служения.

В одном из отдаленных кварталов Москвы, в глухом и кривом переулке, за Покровкой, старинное каменное здание возвышается на пригорке, коего отлогость, местами усеянная кустарником, служит ему двором. Темные подвалы нижнего его этажа, узкие окна, стены чрезмерной толщины и низкие своды верхнего жилья показывают, что оно было жилищем одного из древних бояр, которые, во время Петра великого, держались еще обычаев старины. Для хранения древних хартий, копий с договоров, ничего нельзя было приискать безопаснее и приличнее сего старинного каменного шкапа, с железными дверьми, ставнями и кровлею. Все строение было наполнено, завалено кипами частью разобранных, частью неразобранных старых дел: только три комнаты оставлены были для присутствующих и канцелярских.

В мрачном сентябре предстал я в мрачной храмине пред мрачного старца, всегда сердитого и озабоченного. Он позвал какого-то худощавого, безобразного человека, с отвис-

[1] Децемвир — один из десяти членов правительственной коллегии в древнем Риме.

лою, распухшею нижнею губою в нарывах, и указал ему на меня. Тот меня усадил в той же комнате против самого брюзги-начальника и зачем-то ушел. Прежде нежели он воротился, сделался я, как новичок, предметом любопытного, но непродолжительного внимания моих новых товарищей. Скоро притащил безобразный человек тетрадь чистой бумаги и огромный пук полуистлевших столбцов, наполненных мертвыми для меня буквами, в чистых обертках с нумерами и надписями о их содержании, и велел надписи сии переписывать в тетрадь. Работа нетрудная, но всякий день это делать и видеть то, что я увидел, мне показалось тяжело. Тоска уже мной овладела, как вдруг легкий, но внятный шопот начал пробегать по всей комнате. Я стал прислушиваться; отрывистый, шутливый, довольно умный разговор окружавшей меня молодежи оживил меня и изумил. С первого взгляда все лица мне показались печальны, и в таком месте я не ожидал ни встретить улыбки, ни услышать веселого слова. Тихие вокруг меня звуки голосов мне были столь же приятны, как бы шум живого, игривого ручейка среди могильного молчания. Но я скоро заметил, что разговаривающие не смеют ни поднять головы, ни возвысить голоса.

Наш начальник имел несчастие лишиться слуха от побоев раз'яренной черни, когда она, во время чумы, вломившись в комнаты родного дяди его, московского архиепископа Амвросия Зертыс-Каменского, убила мудрого своего пастыря. Из уважения к памяти сего мученика приложил он русское фамильное его имя к своему молдавскому прозванию. Дед его, Константин Бантыш, при Петре великом прибыл в Россию в свите князя Кантемира, а отец вступил в службу и женился на его матери, священнической дочери Каменской, сестре убитого архиерея.

Итак, он был глух. Люди, одержимые сим недугом, бывают обыкновенно подозрительны, в каждом движении губ видят они предательство. Вот почему Николай Николаевич, управлявший архивом, не любил, чтобы при нем разговаривали: прилежание к делу, которого было так мало, служило ему предлогом требовать всеобщего молчания. Сейчас мы видели, как исполнялись в этом случае его приказания.

В помощь к г. Бантышу-Каменскому, управлявшему архивом, дан был г. Малиновский [А. Ф.] в звании канцелярии

советника или младшего члена. Лет двадцать моложе его, сей последний был у нас представителем новейших времен. Он был, уже без примеси, русского и духовного происхождения[1].

Из сослуживцев моих одни часто будут встречаться мне в жизни, с другими, оставив архив, я мало имел сношений. Говорить о первых буду иметь много случаев, а изображение последних представит мало занимательного. По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидали обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства. Мне однако же весьма памятны сильные впечатления, которые оставили во мне некоторые из моих товарищей, и я не могу упустить, чтобы не описать их.

К старшему сыну моего главного начальника, уже надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку, я почувствовал омерзение при первых словах, которые обратил он ко мне. Не краснея, нельзя говорить об нем; более ничего я не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать сих страниц. Меньшой сын, Димитрий, едва выходил из детства; между нами он прослыл дурачком. С тех пор сделался и литератором, и компилятором, и губернатором; но многие еще и поныне разделяют ребячье наше мнение об нем[2].

Двое братьев Евреиновых, взрослые молодые люди, о коих я уже упомянул, жили в большом свете, ко всем знатным ездили на балы. Голова вскружилась у них от сего счастия; они бредили им и часто, с самодовольным состраданием, рассказывали мне о том, стараясь, но тщетно, возбудить во мне зависть.

---

[1] Его брат В. Ф. Малиновский был первым директором Царскосельского лицея, где учился Пушкин.

[2] Д. Н. Бантыш-Каменский имел немалые заслуги в русской исторической науке. Его история Малороссии долго была одним из лучших сочинений в этой области. Некоторые его работы переведены на главные европейские языки. Старший его брат, В. Н., был заточен в монастырь за мужеложство — порок, которым страдал и Вигель, не желавший «пачкать сих страниц» его именем.

Что не могли братья Евреиновы, то сделали братья Булгаковы. И было чему позавидовать! Два красавца, лет по двадцати, сыновья знаменитого и чиновного человека, неоднократно прославившегося в посольствах, Якова Ивановича Булгакова, пред всеми своими сослуживцами брали неоспоримое первенство как в архиве, так и в обществах. Они родились в Константинополе от чужестранной матери, которая, к несчастию их, не имела тогда мужа. И они носили на себе отпечаток Востока. Старший, Александр, имел лицо более нежное и веселое, выражавшее одну чувственность сладострастия, что на молодом лице весьма не противно; меньшой, Константин, был одарен красотою мужественною и тогда уже смотрел на женщин с видом скромного победителя, как бы приглашая их к безопасному падению. С самой колыбели сии братья были связаны теснейшею дружбой: одно прекрасное чувство, коим могли они хвалиться. Действуя заодно, к достижению желаемого употребляли двойные силы и каждым успехом вдвойне наслаждались. Но старший должен был чаще заимствовать помощь у младшего, который в высшей степени владел искусством, немногим тогда известным: он имел то, что французы называют a plomb и что по-русски не иначе можно перевесть как смешение наглости с пристойностию и приличием. И ум, и любезность, и знание, и добродушие, все им приписывалось и старыми, и молодыми, и мущинами, и женщинами; а они имели одну только наружную красоту. Сколько раз потом, в продолжении жизни моей, готов я был, глядя на них, воскликнуть, как Ипполит о Федре: «Боги, кои знаете их и награждаете, неужели за добродетели!» Но бог любви незаконной не награждает, а только всегда покровительствует родившихся под его владычеством и беззаконный их путь усевает успехами. По неопытности моей и я некогда веровал в их совершенства.

Другой юноша, о коем похвалы не гремели в московских гостиных, цвел тогда уединенно в семейном кругу и украшал собою молодое наше архивное сословие. Андрей Тургенев, со всею скромностию великих достоинств, стоял тогда на распутии всех дорог, ведущих к славе: какую ни избрал бы он, можно утвердительно сказать, что он далеко бы по ней ушел. Но из отличных людей провидение сохраняет только нужное число для его благотворных видов; остальные гиб-

нут рано, и старший Тургенев не долго оставался на свете. Ему завидовать я не смел; несмотря на свое самолюбие, я чувствовал, что успехов, какие сулить ему будущность, я обещать себе не мог. Меньшой брат его Александр был совсем не то, чем мы его после видели: тоненький, жиденький, румяный, ласковый мальчик, чрезвычайно застенчивый.

Этого нельзя было сказать о другом молодом мальчике, которого всякий с первого взгляда в нашей толпе мог бы заметить. Чрезвычайная живость его, необыкновенная смелость слова и взгляда неприятным образом меня поразили, и я избегал с ним разговоров; а между тем, когда он вел речь с другими, я заслушивался. В идеях, кои выражал он, все мне казалось так ново, так внезапно, и, всегда лакомый до ума, я невольным образом начал с ним сближаться. Непонятно мне было чувство, которое он во мне производил: все меня отталкивало от него, и все меня к нему привлекало. Не доказывает ли это, что между людьми, как и между небесными телами, есть также законы тяготения, гравитации? Маленький Блудов был тогда блуждающая комета, которая, как бы без цели быстро несясь в пространство миров, могла в нем встретить разрушение. Я не мог тогда предвидеть, что скоро ход ее сделается столь правильным, но уже как будто предчувствовал, что мне суждено долго обращаться вокруг нее и даже соделаться одним из ее спутников, когда, достигнув созвездия министерства, она будет сиять в нем столь тихим, чистым и благотворным светом.

Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами были также два молодца, или лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин. Время их наружность и все вокруг них изменило, но не изменило их склонностей и характера; теперь обе уже старушки, а последняя весьма добрая и почтенная. Истребляя между нашими молодыми людьми наружные

формы, столь поносные, особенно для русских, нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость.

Последствия прежнего французского воспитания сильно между нами обнаруживались: почти все мои товарищи не могли ступить без французского языка. Говоря на нем, хотя многие делали часто ошибки, но с русскою переимчивостию весьма удачно умели перенять голос и манеры французов, живших у их родителей. Никто, однако же, не успел столько в том, как молодой Ефимович; он был вылитый француз: маленький рост, тоненькие ножки, увертки его и самое безобразное его старообразие делали его настоящим маркизом. Для многих из нас был он предметом уважения и подражания. Впрочем, он был не без ума, хорошо занимался литературой и принадлежал к числу тех людей, которые берутся за все, обещают много и из которых, наконец, не выходит ничего.

Исключая двух Тургеневых и Блудова, едва ли кто знал из моих товарищей, что есть уже русская словесность. Живши в одном городе с Дмитриевым и Карамзиным, они слыхали об них, может быть, встречались с ними, знали, что они что-то пишут, но читать их? Этого не приходило им в голову. Честь и хвала малому числу избранных юношей-отроков, которые, пленяясь и заграничным просвещением, не заражались, однако же окружавшими их примерами. Гений России с ранних лет вдохнул в сердца их чувство ее величия, а уму их дал способность постигать красоты благозвучного языка нашего и искусство выражаться на нем. Увы, сих похвал я не заслуживал. В доме Голицыных положено основание моей галломании, которая так быстро усилилась в кругу архивных юношей. Они снабжали меня французскими книгами, по большей части романами, и я воображал, что занимаюсь полезным чтением, когда пожирал их по ночам; часто бывал я вне себя от ужасов г-жи Радклиф, кои мучительно приятным образом действовали на раздражительные нервы моих товарищей.

В продолжение зимы занимали нас переводами с французского. Не знаю, были ли они хороши, по крайней мере не мои; а впрочем, как мне кажется, г. Малиновский, руководитель наш в сем деле, не весьма был в состоянии о том судить.

Потом г. Бантыш-Каменский заставлял нас в один формат переписывать начисто древние грамоты и договоры, с намерением отдать собрание их потом в печать. Впоследствии я сделался с ним гораздо смелее, а он ко мне снисходительнее. Одна только беда: мой почерк ему не нравился; в угождение ему я начал прямить свои литеры по-старинному до того, что пишу теперь как церковник.

Я напрасно хвалюсь иногда твердостию: я всегда был довольно человекоугодлив; старшим, равным и даже подчиненным всегда готов был сказать или сделать что-нибудь приятное; когда же поступки их лично против меня, а еще более против совести или закона заставляют меня делать противное, они мне становятся ненавистны, ибо лишают меня величайшего удовольствия. В нежном возрасте кто не чувствовал влияния людей и обстоятельств, среди коих жил? Но ни на кого они столь сильно не действовали как на меня: мне кажется, я был восковой. Всякое впечатление сглаживалось, но не совсем изглаживалось новым; каждое положение, в коем я находился, каждое общество, чрез кое проходил, оставляли на мне следы, и так-то в описываемые мною последние два-три года образовались все странности моего характера. К счастию, посреди сего сохранилось во мне чувство справедливости и чести, данное мне природой и первым воспитанием и никогда меня не покидавшее.

Месяца через полтора по вступлении моем в службу, вновь был принят в нее и зять мой, отставной полковник Алексеев. Между гатчинскими офицерами был пруссак Эртель, которого сама природа создала начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. С конца 1798 года был он обер-полицеймейстером в Москве. Эртель был человек живой, веселый, деятельный и совсем не мстительный; он стал любезничать с начальником, угождать ему и, чтобы скрепить с ним союз, испросил у него позволения представить отставного, любимого его ад'ютанта к должности полицеймейстера, что он и сделал прямо от себя.

Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться, и потому должен я еще несколько об нем поговорить. Москва весьма его не любила, потому что не любила Павла и никогда не любила большого порядка. Все знали,

сверх того, что он часто делал тайные донесения о состоянии умов в старой столице; всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы. Но они не могли, однако же, не согласиться, что цель хорошей полиции — спокойствие их — была совершенно при нем достигнута. В нем была врожденная страсть настигать и хватать разбойников и плутов, столь же сильная — как в кошке ловить крыс и мышей. Никакой вор, никакое воровство не могли от него укрыться; можно везде было наконец держать двери наотперти; ни один большой с'езд, ни одно народное увеселение не ознаменовались при нем несчастным приключением; на пожарах пламень как будто гаснул от его приближения. Он был совсем не спесив, в обхождении нецеремонен и негруб, но только жесток с людьми, хотя бы дворянами, коих мошенничество было доказано.

Главная, непростительная вина его в глазах москвичей было строгое наблюдение за сохранением странных форм одеяния, предписанных императором. Москва разнообразна, пестра и причудлива, как сама природа: гнуть и теснить ее столь же трудно, как и бесполезно. В ней выдуманы слова приволье, раздолье, разгулье, выражающие наклонности ее жителей. Как в старину, так и ныне, никто почти из них не мечтал о политической свободе; зато всякий любил совершенную независимость как в общественной, так и в домашней жизни. Между ними и западными вольнодумцами та же разница, что между поэтом, составившим себе идеал совершенства, которого всю жизнь он проищет напрасно, и простым человеком, который скоро найдет любимую женщину, без великих затруднений женится на ней и преспокойно в любви и совете проведет с нею век. Только не касайся их вседневных привычек, их безвинных предрассудков, и москвичи предовольны. Но коль скоро самодержавие вздумает слишком распрямлять своевольную старушку, она закричит голосами тысячи вралей своих, тысячи своих болтуний и правительство, если без уважения, то не совсем

однако же без внимания может оставить бессмысленный сей шум. Даже в царствование Павла удары его самовластия, которые так метко, так разительно на всех упадали в Петербурге и в целой России, смягчались над царственной Москвой.

Зять мой, человек недостаточный, поневоле принужден был принять должность полицеймейстера и сделался весьма полезным сотрудником Эртеля, хотя не имел ничего с ним общего ни в правилах, ни в нраве.

У графа Салтыкова было в Москве три дома; в одном, на Дмитровке, жила дочь его, г-жа Мятлева с семейством; другой, загородный, служил ему для прогулок, а третий, маленький каменный у Тверских ворот, подле церкви Димитрия Селунского, стоял совсем пустой. При новой должности Алексеева не было положено казенной квартиры; желая избавить его от убытков наемной, графиня Салтыкова, которой принадлежал собственно последний из сих домов, предложила ему поместиться в нем, и мы переехали в него около половины ноября.

Имея офицерское звание, мне казалось, что я в праве почитать себя совершеннолетним.

Отлучаясь, должен был я, однако же, всякий раз спрашиваться и сказывать, куда иду. Три раза в продолжение зимы воспользовался я такими позволениями, чтобы видеть московский театр, не знаю зачем названный Петровским, ибо во всем городе был он тогда один. Он сгорел еще до большого пожара 1812 года, а в 1823 перестроен в увеличенном размере. Играли на нем одни только русские актеры. Из них чета Сандуновых более всех приманивала публику; муж [Сила Ник.] играл лакейские роли в комедиях, а жена [Елиз. Сем.] была примадонной в опере; ни тот, ни другая мне что-то не понравились. Думая искусно подражать природе, Сандунов был чрезвычайно подл на сцене; а жена, лет двадцати пяти, не более, почитаемая красавицей, казалась гораздо старее, ибо имела большие, правильные черты, черные глаза и волосы, римский нос и была чрезвычайно дородна. Играя почти всегда роли молодых девочек, она была довольно отвратительна; сверх того, имела привычку часто хохотать самым непристойным образом. Голос ее был силен, чист, но не имел для меня ни малейшей приятности.

В комедиях, драмах и трагедиях замечательны были Плавильщиков и Померанцев. Первый — литератор и актер, занимал главные роли и по-моему был очень дурен, хотя ему и рукоплескали. Последний превосходно играл стариков; он имел благородную осанку, нежный и трогательный голос и, если можно так сказать, всю прелесть маститости, настоящей или искусственной. Главная трагическая актриса была госпожа Сахарова. Пусть представят себе Дидоной рязанскую или симбирскую помещицу, уже пожилых лет, мало знакомую с столицей и великую охотницу декламировать стихи: это была Сахарова. Как в дочери госпожи Синявской, первой женщины, которая у нас в России согласилась выступить на сцену и некогда блистала в «Хореве», в «Синаве», и «Труворе», в ней особенно уважалась кулисная ее знатность.

Более из тщеславия, чем из охоты, многие богатые помещики составляли из крепостных людей своих оркестры и заводили целые труппы актеров, которые, как говорили тогда в насмешку, ломали перед ними камедь. Когда дела их расстраивались, они слуг своих заставляли в губернских городах играть за деньги; один между ними, г. Столыпин, нашел, что выгоднее отдать свою труппу внаймы на московский театр, который тогда не находился в казенном управлении. Содержатель его был некто Медокс [1] — жид, вероятно, крещеный. Умеренная плата сим лицедеям, жалкое одеяние, в коем являлись они перед зрителями, соответствовали их талантам. Все это было ниже посредственности. Жид, видно, был не очень расчетлив; и как было ему не разориться? Все три раза, что зимой я был в театре, видел я почти пустой партер. Когда я слышу строгие замечания критиков на нынешний московский театр, мне всегда досадно; я вспомню прежний и нахожу, что одного столетия мало, чтобы произвесть удивительную между ними разницу.

В эту зиму я увидел и московские балы; два раза был я в Благородном собрании. Здание его построено близ Кре-

[1] Медокс был происхождения английского. П. Б. Сын его нашумел своими хлестаковскими похождениями в 1812 г. В 30-х годах он затеял провокацию среди декабристов. Об этом см.: «Провокация среди декабристов, по неизданным материалам, составил С. Я. Штрайх. М. — 1925».

мля, в центре Москвы, которая сама почитается средоточием нашего отечества. Не одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить в нем жен и дочерей. В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нем посетителей и посетительниц, в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки и в конце его, на некотором возвышении, улыбающийся всеобщему веселью мраморный лик Екатерины, как во дни ее жизни и нашего блаженства! Сим чудесным зрелищем я был поражен, очарован. Когда первое удивление прошло, я начал пристальнее рассматривать бесчисленное общество, в коем находился; сколько прекрасных лиц, сколько важных фигур и сколько блестящих нарядов! Но еще более, сколько странных рож и одеяний!

Помещики соседственных губерний почитали обязанностию каждый год, в декабре, со всем семейством отправляться из деревни, на собственных лошадях, и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Сии поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупою, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами. Каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было, однако же, найти дюжину диких яблонь и сотню кустов малины и смородины.

Все Замоскворечье было застроено сими помещичьими домами. В короткое время их пребывания в Москве они не успевали делать новых знакомств и жили между собою в обществе приезжих, деревенских соседей: каждая губерния имела свой особый круг. Но по четвергам все они соединялись в большом кругу Благородного собрания; тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов! Есть про что целые девять месяцев рас-

сказывать в уезде, и все это с удивлением, без зависти: недосягаемою для них высотою знати они любовались, как путешественник блестящею вершиной Эльбруса.

Не одно маленькое тщеславие проводить вечера вместе с высшими представителями российского дворянства привлекало их в собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей: авось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человеку! Но если хороший человек незнаком никому из их знакомых, как быть? И на это есть средство. В старину (не знаю, может быть и теперь) существовало в Москве целое сословие свах; им сообщались лета невест, описи приданого и брачные условия; к ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям все то, что в собрании не могли высказать девице одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Для любопытных наблюдателей было много пищи в сих собраниях; они могли легко заметить озабоченных матерей, идущих об руку с дочерьми, и прочитать в глазах их беспокойную мысль, что, может быть, в сию минуту решается их участь; по веселому добродушию на лицах провинциалов легко можно было отличить их от постоянных жителей Москвы.

Девятнадцатое столетие началось для меня довольно счастливо. В январе 1801 года произвели меня в переводчики коллегии, то есть в 10-й класс, без заслуг, без покровительства, а только для того, чтоб очистить место желающим поступить в определенное число юнкеров. Из новонабранных двое имели довольно оригинальности, чтобы найти место в сих записках.

Молва уже говорила нам об одном князе Козловском, молодом мудреце, который имел намерение определиться к нам в товарищи, и мы с любопытством ожидали обещанное нам чудо. Вместо чуда увидели мы просто чудака. Правда, толщина не по летам, в голосе и походке натуральная важность, а на лице удивительное сходство с портретами Бурбонов старшей линии, заставили сначала самого г. Бантыш-Каменского принять его с некоторым уважением; разглядев же его пристальнее, узнали мы в нем совсем не педанта, но доброго малого, сообщительного, веселого и даже легкомыс-

ленного. Способностей в нем было много, учености никакой, даже познаний весьма мало; но он славно говорил по-французски и порядочно писал русские стихи. Откормленный, румяный, он всегда смеялся и смешил, имел, однако же, искусство не давать себя осмеивать, несмотря на свое обжорство и умышленный цинизм в наряде, коим прикрывал он бедность или скупость родителей.

Оставаясь в России, добросовестно, усердно посвящая себя занятиям по какой-либо части управления, князь Козловский мог бы, наконец, быть одним из полезных людей государства. Но он в первой молодости получил место за границей, находился при разных миссиях и несколько лет в Сардинии разделял ссылку сардинского короля, при коем был посланником. Впоследствии, когда он был в Штутгардте, неосновательность его поступков заставила правительство отозвать его; но, сделавшись совершенно чужд своему отечеству, он не захотел в него возвратиться [1]. Несчастный, но не первый пример, встречаемый между нашими земляками, для коих навыки заграничной жизни дороже родины, священнее всех обязанностей. На это смотрели у нас доселе с преступным равнодушием. Пользуясь во Франции приличным содержанием, которое оставило ему правительство, князь Козловский казался жертвой, прослыл чуть ли не гением, коему не умеют отдавать справедливость. У кого хороша память и кто много читает, тому куда как легко быть гением в наше время, когда говорится и пишется так много умного! Необходимость принудила недавно Козловского посетить Петербург, и ему дивились, как всему заграничному. Мне казалось, что я вижу перед собой густую массу, которая более тридцати лет каталась по Европе, получила почти шарообразный вид и, как гиероглифами, вся испещрена идеями, для нас уже не новыми, и множеством несогласных

[1] Князь Петр Бор. Козловский (ум. 1840 г.) был талантливый рассказчик, написал хороший (не напечатанный) роман, в котором доказывал вред крепостного права. Вяземский рассказывает, что дед Козловского был отправлен Екатериною к Вольтеру, как образец русского просвещения и русской вежливости, а внук в этом отношении походил на деда. Пушкин писал Чаадеву, — имея в виду свой «Современник»: «Козловский был бы для меня провидением, если б он захотел сделаться раз навсегда писателем».

между собою чужих мнений, которые по клейкости ее так удобно к ней приставали. Теперь масса сия в совершенном бездействии остановилась в Варшаве (все-таки как будто не в России) и сохраняется там благодеяниями презираемого ею отечества.

Другой новобранник был Макаров [Мих. Ник.], человек смирный, но неспокойный, ибо тогда уже был мучим желанием прославиться в литературе. Он, Данаида нашей словесности, более тридцати пяти лет льет чернила, наполняет журналы и ни на шаг не подвигается ни в искусстве, ни в знаменитости. Вообще между тогдашними архивными юношами было довольно талантов в зерне; отчего, не созрев, они гибли? Бог весть, обстоятельства ли и недостатки воспитания препятствовали их развитию? Обещали многие, а один только сдержал слово.

Скоро узнали мы весть, неприятную для нашего чинолюбия: далее мы ничего не видели. К концу февраля граф Растопчин был отставлен, а на его место первоприсутствующим в иностранной коллегии и начальствующим над почтовою частию был назначен граф Пален, который вместе с тем сохранял и должность петербургского военного губернатора. Внезапные немилости Павла давно уже перестали удивлять; но удаление вернейшего, из преданных ему, человека, который в продолжение всего царствования его ни на минуту не переставал пользоваться его доверенностию, опытным людям казалось худым предзнаменованием для самого царя; эта перемена, по мнению их, должна была повлечь за собою другие важнейшие перемены. И они не ошиблись, как это теперь всем известно [1].

Опять вступает Россия в новую блистательную эпоху, в новый мир, сначала столь очаровательный. С необыкновенным любопытством и необычайным страхом ожидала Москва видеть императора в половине мая, на больших маневрах, которые к тому времени приготовлялись в ее окрестностях, но уже никогда более он не должен был устрашать ее своим присутствием.

---

[1] Граф П. А. Пален — главный устроитель заговора, приведшего к убийству Павла I.

Необыкновенно раннее открытие весны предшествовало раннему Светлому воскресению: еще до половины марта снег начал исчезать, и наступила ясная, совершенно теплая погода. В пятницу на вербной неделе, 15 марта, был я в архиве; становилось поздно, многие уже разошлись по домам; из начальников оставался один только г. Бантыш-Каменский, разбирая какие-то рукописи. Вдруг вбегает меньшой Тургенев в радостном изумлении, краснея, только не от застенчивости, и прерывающимся голосом об'являет нам, что Павла нет уже на свете и что царствует Александр. «Что̀ ты говоришь!» — воскликнул Каменский и с ужасом перекрестился. Тот продолжает рассказывать нижеследующее.

Проезжая через Кремль, он увидел толпу народа вокруг Успенского собора; желая узнать причину такого стечения, он втиснулся во храм и нашел в нем графа Салтыкова с другими главными должностными лицами, которые присягают новому императору. Более всего он заметил двух генералов в анненских лентах, неумытых, невыбритых, забрызганных грязью. Ему сказали, что один из них князь Сергей Долгоруков, который привез манифест о кончине Павла и о воцарении Александра, а другой — бывший оберполицеймейстер Каверин, присланный сменить Эртеля и вступить в прежнюю должность. К тому прибавили, что видели их вместе на одной перекладной телеге скачущими от Тверской заставы до дому главнокомандующего и что всех встречающихся они как будто взорами поздравляли и приветствовали.

Никакого не осталось сомнения. Но как это случилось? Он даже не был болен! Все это надеялся узнать я дома и поспешил уйти. От Покровки до Тверских ворот путь не близок; я должен был сделать его пешком, ибо денег на извозчика у меня не было, и, вероятно, в тревоге, забыли прислать за мною лошадь. Я более бежал, чем шел; однако же, внимательно смотрел на всех попадавшихся мне в простых армяках, равно как и на людей порядочно одетых. Заметно было, что важная весть разнесена по всем частям города и уже не тайна для самого простого народа. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может: немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солн-

цем. Возвратившись домой, я никак не мог добиться толку: знакомые беспрестанно приезжали и уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого воскресения; ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, казался вестовщикам и вестовщицам особенно благополучным: везде принимали их с отверстыми об'ятиями.

Кто бы мог поверить? На восторги, коими наполнена была древняя столица, смотрел я с чувством неиз'яснимой грусти. Я не знал еще, что преступление положило конец минувшему царствованию и, следственно, что вся Россия, торжествующая сие событие, принимает за него на себя ответственность; но тайный голос как будто нашептывал мне, что будущее мне и моим мало сулит радости и что в нем бедствия и успехи, слава и унижение равно ожидают мое отечество. Я вспомнил, что из наград и милостей, кои бросал покойный без счету и без меры на известных и неизвестных ему, по заслугам или без заслуг, упали на меня два чина, а благодарность — ярмо, от которого я никогда не умел и не хотел освобождаться, и я, признаюсь, вздохнул о Павле. Сообщить моих мыслей, разумеется, было никак невозможно: во мне бы увидели сумасшедшего или общего врага.

На другой день, 16 числа, к вечеру, накануне вербного воскресения, в Охотном ряду, вокруг Кремля и Китая, где продавали вербы, недоставало только качелей, чтобы увидеть гулянье, которое бывает на святой неделе: народ веселился, а от карет, колясок и дрожек целой Москвы заперлись соседние улицы. Только два дня посвящены были из'явлению одной радости; на третий загремели проклятия убиенному, осквернившихся же злодеянием начали славить наравне с героями: и это было на страстной неделе, когда христиане молят всевышнего о прощении и сами прощают врагам! До какой степени несправедливости, насильствия изменили характер царелюбивого, христолюбивого народа!

Впрочем, еще при жизни императора Павла число недовольных им было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и зло-

словить его. Употребляемые секретной полицией не могли иметь довольно времени, чтобы доносить на всех виновных в нескромности, вероятно, они довольствовались мщением за личности; к тому же они сами трепетали и ненавидели правительство, коему столь постыдным образом служили.

Время, все истребляющее, все более и более покрывает забвением странности сего несчастного царствования; последние памятники его — укрепления Михайловского замка и шутовской наряд Брызгалова [Ив. Сем.] [1] — недавно исчезли. Стариков, которые были свидетелями происшествий и могли основательно судить о них, остается мало. Для нас, тогда несовершеннолетних, воспоминание о сем времени — то же, что о кратком, удушливом сне, о кошмаре, который мы забыли, коль скоро перестал он давить нас. Новые же поколения, внимая рассказам, видят более смешную, чем ужасную сторону сей эпохи, чрез которую прошло их отечество.

Итак, вдали от причин ненависти и любви, можно, кажется, беспристрастно судить теперь о человеке, который четыре года, не ведая, что творит, мучил богом вверенное ему царство. К несчастию, он имел самые ложные понятия о долге царей; он высоко ценил только свои права и не хотел знать, что обязанности, с ними соединенные, не менее священны. Ему казалось, что по воле высшего владыки мир размежеван на участки между земными владетелями и что Россия как поместье ему досталась в удел. Он видел в себе одного из больших вассалов самого бога, но не только народу и потомству, ниже емv самому не обязан никакою ответственностью, ибо, будучи от него помазан, он не только может действовать по его внушениям, одним словом, в этом отношении он был наш Людовик XIV. Слово сего последнего, которое ныне всех возмущает — l'état c'est moi [государство — это я] — принял он в точном смысле. Почитая себя государством, могут, конечно, цари под этим разуметь тесные узы, их связующие с ним; его унижение, его несча-

[1] Бывший кастелян Михайловского замка, чудак, более тридцати лет не снимавший костюм или придворную ливрею, которую носил при Павле: малиновый мундир, шире и длиннее всякого сюртука, с золотыми позументами, бахромою и кистями. *Авт.*

стия никого более их не могут терзать, но Павел первый всегда отделял себя от народа и земли, в коих просто видел собственность.

Подобно Людовику XI, имел он своего любимца-брадобрея [Кутайсова]; но если далеко стоит он от него в жестокостях, то еще гораздо далее в искусстве правительственном. Какая цель была у Павла первого? Какие препятствия встречал он внутри государства, где были могущественные враги, коих надлежало ему сокрушить для собственной безопасности? Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получил он в наследство от той, коей обязан был жизнию; не терновый, а самый блестящий венец оставила ему Екатерина. Что́ если бы он жил во времена Людовика XI и был в подобных ему обстоятельствах!

В государстве и отце семейства менее чем в ком простителен эгоизм; для нежных забот его так много предметов, что любовь к самому себе должна неприметно ослабеть. Павел везде и во всем видел одного себя, никак не думая о пользах своих подданных.

В наружной политике то же, что и во внутреннем управлении: никакой предусмотрительности, никаких видов, никакой осторожности; одни только царские его личности. Он зол на революцию и посылает Суворова в Италию, рассердился на Австрию и приказывает армии воротиться, прогневался на Англию и преждевременно грозит ей, а она, как уверяют, без угроз его губит[1]. Действуя без всяких правил, без всякого плана, по одним внезапным побуждениям, он не уважал даже его равными правами других венценосцев и правами человечества и гостеприимства; знаменитому изгнаннику, по праву рождения, королю французскому, которому дал он убежище в Митаве, без всякой политической причины велит безжалостно в одни сутки оставить свои владения; посетившего его гостя, короля шведского Густава IV, по одному капризу высылает из Петербурга. Он жил славою и силою Екатерины. Она их стяжала; а он, как расточительный наследник, скоро умел бы их утратить. Без ве-

---

[1] Английский посол в России Витворт принимал участие, через О. А. Жеребцову (сестру Зубовых), в заговоре против Павла первого.

ликих достоинств Людовика XIV он имел высокомерие и все сумасбродство Карла XII, без мужества его, постоянной, твердой воли и блестящих его подвигов. Уверяют, что в разговорах он показывал ум и острых слова три приводят тому в доказательство: вот все, что можно в его похвалу сказать. Самая щедрость его не может почитаться добродетелью, ибо он полагал, что ему все принадлежит, и что́ он сегодня дал, может завтра отнять.

В людях видел он бесчувственных автоматов, движимых единою его волею, и он как будто тешился тем, что беспрестанно может изгонять их и призывать, карать и миловать, возвышать и низвергать, мертвить и оживлять. Никому не было от него пощады, ниже самым верным, старым слугам своим, людям, которые еще до вступления его на престол долголетними опытами доказали ему свою преданность: из них под конец оставались при нем только два холопа, Кутайсов и Обольянинов [П. Х.], глупые невежды, которые готовы были все выносить.

И он выдавал себя за рыцаря! Мальтийский орден, романическая чистая страсть его к княгине Гагариной [А. П. Лопухина], все это одни проказы его, одна комедия. Увы, с какой стороны ни ста́нешь рассматривать жизнь и деяния сего несчастного императора, тщетно будешь искать единого похвального свойства. Равнодушный, неверный супруг, дурной сын, дурной отец и друг неблагодарный, не знаю, кем и как он мог быть любим. Многие извиняют его расстройством рассудка, и действительно, в нем равно было заметно повреждение ума и сердца, но один всегда был довольно ограничен, а в другом никогда не было чувствительности.

Плачевная кончина императора Павла не скоро могла примирить подданных с его памятью: они мстят ему забвением. Во мне же сострадание, признательность, а пуще всего всегдашняя наклонность не покоряться безусловно общему мнению заставляли меня некоторое время быть его защитником. В четыре года с половиною детского возраста привык я к треволнениям его царствования; всякий мог почитать себя накануне гибели или быстрого повышения, а эта живость, это лихорадочное состояние юношеству не совсем бывает противно. Но теперь как начну припоминать бесчисленные, несносные обиды, как общие, так и частные,

нанесенные России и русским, то трудно бывает мне воздержаться от глубокого негодования.

Сии поминки Павлу первому суть последние, которые я себе позволю. Гораздо приятнее мне будет говорить о восторгах, коими приветствовали зарю, весну нового царствования.

После четырех лет воскресает Екатерина от гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена. Увидим после, как сдержал он сие обещание.

Но нет: даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим об'ята была вся Россия в первые шесть месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю, как описать то, что происходило тогда; все чувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее.

Приписать сие должно отчасти хорошему выбору людей, коими всемогущий тогда граф Пален окружил молодого императора. Все они были употребляемы и уважаемы его бабкою. Беклешов, Мордвинов, Трощинский, благонамеренные, умные и опытные люди заняли тогда важнейшие места в государстве. Только три человека принесены в жертву общему негодованию: Обольянинов, Кутайсов и Эртель. Они уволены от службы без всяких преследований; первые два никогда в нее более не вступали, последний не один раз потом правительству пригождался.

Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных.

В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательнейшие: широкие и длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва покрывающие грудь; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее позо-

рачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новою обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странною. Со времен Петра великого зеленый цвет был национальным в русской армии, но до Павла употреблялся один только светлый; преемник сохранил введенный им темнозеленый цвет.

Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил. Да и лучше сказать, в траурном платье я помню одну только вдову генерал-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпен, одну из наших киевских знакомок, которая в первом замужестве была за московским купцом Дудышкиным и оттого чрезвычайно гордилась потом своим чином. Несмотря на необ'ятную толщину свою, она все лето прела под черною байкой для того, чтоб иметь удовольствие показывать шлейф чрезмерной длины.

В апреле все пришло в движение. Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы. Сотням нажалованных и потом выброшенных генералов невозможно было дать мест по чину: им велено числиться по армии с жалованьем, в ожидании назначения; во всех полках удвоился и утроился комплект штаб- и обер-офицеров.

Первые три месяца после кончины Павла граф Пален царствовал в России, кажется, более чем император Александр. Он был душою заговора против своего благодетеля и хотел быть главою государства; старый, преступный временщик был, однако же, обманут притворною скромностию молодого царя и в один миг с высоты могущества низринут в ссылку. Сей первый пример искусства и решимости нового государя, боготворимого и угрожаемого в одно время и коего положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселии; сие важное происшествие едва было замечено людьми, еще

хмельными от радости. Вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин сделался тогда нашим единственным начальником в иностранной коллегии.

Мы почти не видали, как прошло лето. Некоторую оного часть провел я за городом, в Марфине, деревне графа Салтыкова.

Приятности сего летнего местопребывания умножались еще любезностию двух хозяек, самой графини Салтыковой и старшей дочери ее, Прасковьи Ивановны Мятлевой. Не знаю, откуда могли они взять совершенство неподражаемого своего тона, всю важность русских боярынь вместе с непринужденною учтивостию, с точностию приличий, которыми отличались дюшесы прежних времен. Если б они были гораздо старее, то можно бы было подумать, что часть молодости своей провели они в палатах царя Алексея Михайловича, с сестрами и дочерьми его, а другую при дворе Людовика XIV. Ни развратно-грубая Россия от Петра до Екатерины, ни гнусно-развратная Франция от регентства до революции не могли показать им образцов, достойных их подражания. Из предания обеих земель составили они себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностию времен просвещеннейших.

Великую страсть имела г-жа Мятлева являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пиесах. Белосельские и Чернышовы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версали и Фернея [1], Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностию, ввели представления сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы имянинникам были тогда также новостию и принадлежностию одного высшего общества. Большие затеи приготовлялись тогда в Марфине к 23 и 24 июня, дням рождения и имянин фельдмаршала.

Вероятно, лицо мое выражало страсть к театру, ибо намерение завербовать меня в число актеров заставило

[1] Деревушка во Франции, где жил Вольтер.

пригласить меня в Марфино. Но как не только мне самому никогда не случалось играть, я всего не более семи или восьми раз бывал в театре, то легко можно себе представить, как при первой попытке исчезли надежды на удачное мое соучастие в предпринимаемом важном деле. Мне, однако же, не показали ни малейшего неудовольствия; это было бы уже слишком жестоко: напротив, первую робость, застенчивость мальчика, взброшенного в едва знакомый ему круг, дня через два приветствиями, вниманием умели превратить в смелое, свободное обхождение; и как мне все нравилось, то, кажется, я и сам полюбился. Я не помню, чтобы где-нибудь потом я так живо, так искренно, так безвинно всем наслаждался, как тогда в деревне гр. Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее, чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбив друг друга, в единомыслии все русские мечтали только о добре... В первый раз был я совершенно свободен, в самое благоприятное время года, в прекрасном поместьи, где жили непринужденно, и одне веселости сменялись другими. Может быть (кто не без греха, даже и дети), любезность ко мне семейства, которое уважалось в Петербурге и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбию; может быть, очарование маленького двора, к коему начинал я принадлежать, сильно на меня подействовало; но все вместе исполнило меня чувством такого благосостояния, что оно выражалось у меня в словах, во взглядах, во всех движениях. И потому-то как было всем не улыбаться моей юности и моему счастию!

Графиня Салтыкова с каждым днем становилась ко мне милостивее. Поощряемый возрастающим ее снисхождением, я решился раз сказать ей со всею откровенностию, что в Марфине я вижу убежище, которое равно спасает меня как от весьма нетягостной власти сестры моей, так и от тяжкого ига г. Бантыша-Каменского, и она обещалась у обоих испросить мне дозволение еще на некоторое время не расставаться с моим эдемом.

Общество наше было многочисленное. Всякий день приезжали гости из Москвы; постоянными же жителями Мар-

фина были все те, кои должны были участвовать в сюрпризах и представлениях: музыканты, певуны, дамы и девицы, взявшие роли. Между сими последними встретил я прежних своих знакомых, трех молоденьких княжен Хованских, дочерей бывшего киевского вице-губернатора, который при Павле был обер-прокурором Синода, а потом отставлен и сослан в Симбирск, откуда только что воротился. Сильно забилось во мне сердце при сей встрече, и они, кажется, не без удовольствия увидели товарища своего детства; но взаимные отношения наши совсем уже переменились. В меньших я нашел еще простодушие и невинность первого возраста, но в старшей, Наталии, ничего уже не оставалось детского. В шестнадцать лет смелые ее взоры уже искали высоких жертв и, к счастию, почти на мне не останавливались. Пленительный голос ее всех удивлял, и она готовилась восхищать им в опере Паэзиелло «La Servante-Maîtresse» [«Прислужница-хозяйка»].

Сверх того, еще две оперы: одна старинная французская — «Два охотника» — и русская — «Мельник» — да две прескучные комедии Мариво были представлены в три дня, что продолжались марфинские увеселения. Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадам Вальвиль, и княжны Хованской, которая пела и играла как записная артистка, все прочие мне показались довольно плохи; особенно же мущины, с своим нижегородски-французским выговором, совсем не за свое дело взялись. Всего примечательнее была пиеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: «Только для Марфина», сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пиесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом. Как нарочно пришлось спеть мне следующий куплет:

Будем жить, друзья, с женами,
Как живали в старину.

Худо быть нам их рабами,
Воля портит лишь жену.
Дома им не посидится,
Все бы, все бы по гостям.
Это право не годится,
Приберемте их к рукам.

Вахмистр.

Наш бурмистр несет пустое,
Не указ нам старина.
Воля дело золотое, и проч.

Другие представления даны были в небольшом деревянном театре, построенном в саду; но мы играли днем, на открытом воздухе. В двух верстах от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая из двух противоположно-идущих отлогостей, образовала природный театр; сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии: тут первый раз в жизни, чуть ли не в последний, являлся я перед публикой.

Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов: власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благоговейный страх могли произвесть только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необычайным человеком, я бросаю на время марфинские забавы, чтобы предаться наслаждению говорить об нем.

Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но бог России хранил его; под его щитом, с кротостию улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно, прекрасною, цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу и пленительные повести, кои своею новостию так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для

обыкновенного авторского самолюбия? Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание; скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Не тщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям, недаром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста; ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину-Шуйскому и грозно судить грозного царя. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нем жар просвещенной любви к отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному, — не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространенный [1]; от времени до времени он более умножается и усиливается.

Такие люди посылаются на землю, чтобы производить в умах великие и счастливые перевороты, и он был в Москве кумиром всех благородно-мыслящих юношей и всех женщин истинно-чувствительных. В тогдашнее еще чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков-вельмож, почти как с равным, в обхождении с тридцатилетним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его; конечно, изображения его сохраняются у всех просвещенных россиян.

Из тьмы марфинских посетителей выбираю я для описания одних только литераторов. Тут был еще один поэт, весьма известный в свое время более по странностям своим, чем по числу и изяществу произведений. Пушкин (не племянник, а дядя) Василий Львович почитался в некоторых московских обществах, а еще более почитал сам себя, образцом хорошего тона, любезности и щегольства. Екатерининский офицер гвардии, которая по малочисленности своей и отсут-

[1] Имеется в виду «История русского народа» Н. А. Полевого.

ствию дисциплины могла считаться более двором, чем войском, он совсем не имел мужественного вида. Он казался сначала не тем, чем был действительно, а тем, чем ему хотелось быть; за важною его поступью и довольно гордым взглядом скрывались легкомыслие и добродушие; в восьмнадцать лет на званых вечерах читал он длинные тирады из трагедий Расина и Вольтера, авторов мало известных в России, и таким образом знакомил ее с ними; двадцати лет на домашних театрах играл уже он Оросмана в «Заире» и писал французские куплеты. Как мало тогда надобно было для приобретения знаменитости! Блестящее существование его в свете умножалось еще женитьбой на красавице Капитолине Михайловне [1].

Сам он был весьма не красив. Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок à la Charles-Quint [Карл пятый], а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна.

Как сверстник и сослуживец Дмитриева [И. И., баснописец] по гвардии и как ровесник Карамзина, шел он несколько времени как будто равным с ними шагом в обществах и на Парнасе, и оба дозволяли ему называться их другом. Но вскоре первый прибрал его в руки, обратив в бессменные свои потешники. Карамзин же, глядя на него, не мог иногда не улыбнуться, но с видом тайного, необидного сожаления: не только на преступления и пороки, даже на странности и слабости людей смотрел он с грустию и, казалось, рад бы был все человечество поднять до себя. Дмитриев верно в шутку посоветовал ему приняться за русские стихи, а он и в правду сделался весьма неплохим поэтом. Он писал и басни, и коротенькие послания, и всякого рода мелочи, и из всего этого, под конец его жизни, составился небольшой том, не богатый идеями, но изобильный приятными зву-

[1] Она самым скандальным образом развелась с В. Л. Пушкиным, выманив у него письмо о том, что он изменяет ей с «дворовой девкой». Затем она вышла замуж за И. А. Мальцова, отца известного заводчика С. И. Мальцова.

ками и плавными стихами. Главным его недостатком было удивительное его легковерие, проистекавшее, впрочем, от весьма похвальных свойств, добросердечия и доверчивости к людям; никакие беспрестанно повторяемые мистификации не могли его от сей слабости излечить. Он был у нас то, что во Франции Poinsinet de Sivry, также автор, который несколько месяцев жарился перед камином, чтобы приучить себя к обещанной ему должности королевского экрана.

В это время завязывались у нас первые сношения с французскою республикой. Еще до кончины Павла отправлены были в Париж сначала граф Спренгпортен для размена пленных, а потом Колычев для переговоров. В мае прибыл в Петербург от первого консула Бонапарте молодой друг его Дюрок, дипломатическим агентом и картинкой модного журнала.

Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет были мы удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à la Дюрок. Мы скоро с ним познакомились. В глазах моих был он человек пожилой, хотя и модник; вдруг сближается он с мальчишкой, берет его за руку, потом под руку, гуляет с ним, рассказывает ему разного рода неблагопристойности про любовные свои успехи, одним словом, братается со мной. Мне это чрезвычайно полюбилось: тогда почитали чин чина и год года; вдруг я повысился десятью годами, увидел в нем товарища, почти ровесника, а потом начал смотреть на него как на шалунишку, и если бы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро стал бы унимать его и журить.

С первых чисел октября напала на меня странная и ужасная болезнь: я всегда был на ногах, мог даже выезжать,

но вдруг начал худеть, сон и аппетит меня совершенно покинули, неиз'яснимая тоска мною овладела; в одно время чувствовал я озноб и жар, я весь горел, а спина и ноги были как лед; память, которой иногда я сам дивился, внезапно притупела; я сохнул, я таял, и врачи об'явили, что в одну минуту могу угаснуть. Все это было следствие невоздержанности, еще не юношеской, а ребячьей. О французы, о шевалье де-Ролен, как мне не проклинать вас!

В сумерки 27 октября посадили или, лучше сказать, положили меня в четвероместную карету, и, при холодном дожде пополам со снегом, выехали мы печально из Москвы [в Киев и оттуда в Пензу, куда отец автора был назначен губернатором].

Нас было в карете четверо: мы с матерью и старшею сестрой Елисаветой да девица Турчанинова, которую, взамен услуги, оказанной ее матерью, отвозили мы в Киев к родителям. Это была та самая ученая и засаленная Анна Александровна, о которой уже имел я случай говорить, магнетизерка, целомудренная естествоиспытательница. За нами следовали две или три кибитки, загроможденные горничными и тюфяками: тогда еще в России странствовали по-авраамовски, с рабынями, рабами и навьюченными верблюдами.

Я сидел рядом с матерью, а сестра и Турчанинова насупротив теснились в углу, чтобы дать место ногам моим. Как мучительно для всех нас было начало этой дороги! Особенно же положение бедной сестры моей было ужасное. При от'езде вручили ей медики для меня лекарство, об'явив ей одной, что если до назначенного им времени оно не подействует, то смерть моя неизбежна. Нет, этой заботливости, которая, по расстройству нерв моих, меня иногда даже сердила, я ввек не забуду. Лицо ее отражало беспрестанно выражение моего: когда что-то похожее на улыбку показывалось на нем, она как будто на минуту отдыхала от страданий. Более двух суток продолжалось для нее сие жестокое волнение; мы приехали в Тулу, когда, по мнению ее, наступила решительная минута, и мать моя не могла понять причины неотступных ее молений, чтобы там остановиться. Перелом совершился, молодость свое взяла, и сестра ожила вместе со мною.

Чем далее подвигались мы на юг, тем воздух становился чище и теплее. Запас жизненных сил в тогдашние мои лета бывает столь изобилен, что возвращение их, без преувеличения, можно уподобить быстроте потока. Еще несколько дней, и уже я в состоянии был ощутить радость, вступая в Малороссию и предчувствуя Киев.

Всего охотнее собирались поляки не у соотечественника своего, а у англичанина, который тогда был военным или генерал-губернатором киевским. Вследствие какой-то несчастной истории господин Феньш или Феньша (Fenshaw) должен был навсегда оставить свое отечество; он приехал в Россию и вступил в военную службу. Ни в особе, ни в заслугах его не было ничего блистательного; он всегда служил в армии, полегоньку подвигался в чинах и кое-как перебивался, чтобы содержать жену и семейство. Когда его произвели в полковники, то дали ему Елецкий пехотный полк и Московский, вместе с генеральским чином. При Павле, оставаясь не более как шефом этого полка, он успел в короткое время получить по старшинству чин генерала от инфантерии, и когда предместник его, Повало-Швыйковский, восьмой в четырехлетнее царствование Павла киевский военный губернатор, чем-то перед императором провинился, то сей последний, заглянув в список, назначил на его место неизвестного ему Феньша. Он за что-то ожидал также себе отставки, когда пришло известие о кончине царя.

Про него говорили, что в военном деле он смыслит очень мало, в гражданском же ровно ничего, а попал в начальники двух или трех губерний! Такие примеры теперь уже не редки и никого более не удивляют. Самая наружность его не могла вселить к нему уважение: коротенький, толстенький человечек, не имеющий ни одной оригинальной черты англичан, с самыми бесцветными характером и физиономией, не умный и не глупый, не добрый и не злой, не приветливый и не грубый. Находили, однако же, что он имеет некоторую ученость, потому что хорошо умеет говорить по-английски и знает, что̀ такое парламент, о котором немногие у нас тогда слыхали. Жена его, Софья Карловна, была, по крайней мере, похожа на что-нибудь: она напоминала собою нянек и ключниц своей нации и по-французски английским наречием говорила очень забавно.

Мы проехали Курск и приехали в Воронеж. Там находился на квартирах Малороссийский кирасирский полк, в коем служил средний брат мой Николай, и у него мы остановились. Накануне, сбившись с дороги в сильную мятель, мы плутали половину ночи и, измученные, приехали часу в десятом утра. Матушка с сестрами, старшею и маленькою, целый день посвятили отдохновению; а меня тотчас брат повез смотреть город и представлять главным оного лицам. Все это было как налету, и я их всех перезабыл, кроме двух: шефа братнина полка, генерала князя Ромодановского, и главного воронежского откупщика, который садился с гостями за жирный и званый обед и нас убедительно пригласил остаться. Про него несколько слов.

Это был дворянин в купечестве, отставной гвардии полковник Федор Николаевич Петрово-Соловово, праправнук древних бояр, из столбовых первый у нас, который, сбросив предрассудки старины, прозрел будущность России. Муж дальновидный, по ходу дел и по направлению умов он предусмотрел, что скоро не чины, не заслуги, не добродетели будут в России доставлять уважение и вести к знатности, а богатство, единое богатство; он не погнушался предводительствовать целовальниками и собирать дань с порока и один попятился, дабы с потомством и семейством (коего еще не имел[1]) далеко скакнуть потом вперед.

После убийственно-сытного обеда на часок завернули мы домой, чтобы навестить матушку, а в пять часов были уже в театре.Изо всех русских городов в одном только Воронеже была тогда вольная труппа, составившаяся из охотников и отпущенных на волю крепостных актеров. Она не совсем плохо играла «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу. В восемь часов был я на бале у богатого фабриканта Горденина (который почти накануне выдал дочь за дипломата Муратова, впоследствии харьковского губернатора) и

---

[1] Он вскоре потом женился на красавице княжне Щербатовой. Сын его женат на княжне Гагариной, родной племяннице адмирала князя [А. С.] Меншикова. Дочь его [О. Ф.] за высокоумным Кошелевым [А. И., писатель и славянофил]. Прибавляет ли сие что-нибудь к знатности этого семейства? Нет, ничего; но прибавит, если сей последний разбогатеет, как он надеется, и если в России не переменится общее мнение. Авт.

проплясал до второго часа ночи, имея в виду со светом отправиться далее в путь. Подвиги неимоверные даже в тридцать лет, и весьма естественные в пятнадцать или шестнадцать, когда скука более всего утомляет, и забавы служат отдохновением.

В Пензенской губернии было тогда семейство безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я сказать: се не бе! И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства Столыпиных. Глава его Алексей Емельянович [1744—1810] был человек неглупый, с большим состоянием: он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве и давал балы, каких тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран губернским предводителем; если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных! В нем и в пяти гайдуках, им порожденных, была странная наклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.

Огромнейший из его детищ, Аркадий [1], служил при Павле в генерал-прокурорской канцелярии; там сошелся, сблизился он с человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу [Сперанский]. От него заимствовал он фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство: в двадцать два года был он уже надворный советник и назначен губернским прокурором в Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя и, чрез меру вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим Столыпиным. Глядя на его рост, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но согнутый

[1] Арк. Ал. Столыпин (1778—1825) — один из ближайших друзей Сперанского, обер-прокурор сената, затем сенатор. Был женат на дочери знаменитого Н. С. Мордвинова, Вере Ник. Сестра его — Е. А. Арсеньева — была бабкой М. Ю. Лермонтова, а сын его — друг Лермонтова — «Монго»-Столыпин.

хребет обличал его хилость, и в двадцать лет не с большим одолевающие его хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо было тяжестию идей, кои почерпнул он в разговорах с знаменитым другом своим и кои составляли все его знание. Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и хладнокровие, коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за величайшие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в общем веселии и не расстраивая общего согласия. Одно происшествие подало ему повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти неслыханны: насильственно был он причиною смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе отец мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин немедленно вошел с протестом, в коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление власти старается оправдывать виновного, увлеченного яко бы силою любви. Это было в начале страстной недели; все, что было порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно почитать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости, несколько времени спустя, ободрила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили к нему. Скоро все пороки, даже злодеяния стали группироваться вокруг колоссального трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора, за всякую безделицу, за невнимание, за рассеянность (чего бы прежде не смели и заметить) бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных людей, но необразованных и щекотливых.

Не скоро отец мой мог все это понять; служивши долго при Екатерине, когда власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и нахально восставать против нее. Он не скрывал своего негодования и жаловался старому другу своему Беклешову [генерал-прокурор, А. А.], а тот, с одной стороны, успокоивал его конфиденциальными, совершенно приязнен-

ными письмами, а с другой, грозил официально Столыпину, что выкинет его из службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно только по оставлении им должности: казался весел, покоен и каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная, что̀ подумать о генерал-прокуроре, а Столыпин ничего не страшился: он знал, что̀ происходит в Петербурге, и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух староверов. Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с честию его уволив, причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей.

В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое и можно было в нем предполагать необычайную силу духа; напротив, трудно было сыскать человека, более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех об'являл он, что не согласится ни за что́ в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил твердить о своей магистратуре; ею, по словам его, как священною мантией прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опасаться, кажется, было трудно), но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который, однако же, мог бы явиться.

Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего отпуска миновался, и далее мая месяца мне в Пензе нельзя было оставаться.

Но и после Столыпина война не прекращалась.

От'явленным, главным врагом нашим почитался некто ст. с. Петр Абросимович Горихвостов, семидесятилетний старик, утопавший в постыдном любострастии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими средствами, будучи экономии директором и потом

вице-губернатором в Вятской губернии, населенной, как известно, почти одними только казенными крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она накладна для казны, и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее летами и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно разделяли удовольствия, ими доставляемые. Старость его, которую называли маститою, была отменно уважаема: ибо за дешевый, хотя множеством блюд обремененный стол его садилось ежедневно человек по тридцати. Только что за обоняние, вкус и желудки были у гостей его! Кашами с горьким маслом, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, вареными часто в нелуженой посуде, потчивал их этот человек, в коем тщеславие спорило с ужасною скупостью. Одним обыкновенным хлебосольством не ограничивалось его великолепие; длинный ряд комнат довольно низкого одноэтажного деревянного дома его был убран с большими претензиями; но все там было неопрятно, нечисто как совесть хозяина. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где играли доморощенные его актеры и музыканты [1]. Официальная сила отца моего не могла нравиться народности пензенского гранда; к тому же самая противоположность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отец мой воздерживался однако от всего, что̀ могло произвесть короткость, и один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его приглашения. Чего же более для совершенного разрыва?

Тот, о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить. Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом я не знавал человека хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совершенно отвечало другому и

---

[1] Житье г. Горихвостова под именем Рукавицына очень удачно описано в «Искусителе», романе Загоскина [М. Н.] Там же очень верно изображены бывший при Екатерине губернатор Ступишин и родственник его Еф. Петр. Чемесов, под именем Двинского. Авт.

равно было гнусно и отвратительно. Распространяться об нем я много не буду, опасаясь, чтобы не стошнилось, а скажу только о необыкновенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами; когда он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием уступить ему их малые участки за низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они отступались от нее, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор об имении, то с предложениями о покупке его он обращался единственно к тем, кои лишались надежды выиграть дело, и таким образом за самую умеренную цену приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом; он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и повытчиков. Когда мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было тридцать два процесса. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения: дело невозможное для человека с честью, каков был отец мой; а вот еще и новый злодей!

Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей начало приписывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее, и так уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличенным пропорциям тела ее, сами родители прозвали Дунаем и у которой была удивительная страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя, имела она туловище коровы и птичий вкус: ламайские язычники могли бы почесть ее божеством.

На другой дочери его, Елизавете, женился несколько лет потом спустя один из глав коалиции, игрок Ошанин. Выгнанный сперва из столиц, потом из губернских городов, сей смелый, но видно не довольно искусный человек, неоднократно изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, довольно неосторожных мужей прошло чрез хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и жить в нем прилично. Некоторая роскошь есть одна из приманок, одно из необходимых условий для промышлен-

ников такого рода, и обращается им под конец в привычку и потребность; она дом его сделала привлекательным. Меры, при отце моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в сем доме, ожесточили г. Ошанина, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках.

Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вышесказанными людьми, всех подлых их приверженцев! Не без труда и с частыми позывами ко рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спущусь. Сии нечистые стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную кучу, из которой, однако же, гром не переставал греметь во время управления отца моего. Она составилась, разумеется, не в один день. Столыпин положил ее начало, но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия, ее умножили и усилили.

Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глухой, невнятный отголосок 1789 года. Только после двоекратного посещения нами Парижа в 1814 и 1815 годах, страшные звуки его начали становиться у нас понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забрались в такое захолустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и Москве я, по крайней мере, об них и не слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда они могли в него проникнуть; в Петербурге и в Москве видал я только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на бога, эпиграммы на богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи; впрочем, они толковали уже о Нонотте, о Фрероне и об аббате Гене [1] и топтали их в грязь, превознося похвалами «Кандида» и «Белого быка» [повести Вольтера]; авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны. Я не хочу быть пророком; но, судя о будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь (помилуй нас боже) до дна расколы-

---

[1] Писатели эпохи перед Великой французской революцией; противники Вольтера.

халась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе. Нельзя обвинять Столыпина, что первый бросил он в Пензе зловредные семена; но очень удачно сделал он первую вспашку на почве самой удобной для восприятия разрушительных идей. Во время Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее жителей; в 1812 году, изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля.

Да, так: почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истощилось; неугасимая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских увеселений или в заботах службы теряющие память о иных обязанностях, пусть подозревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей злобе! Я не ропщу на них: им не понять меня. Не всякому дано священное, небесное чувство беспредельной сыновней любви, не у всякого отец был праведник, не у всякого распинали его, как у меня.

На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие, деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него также находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели.

Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакей-

ского. Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее; все ощипаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; в другом подшиваются подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа. За сим следует анфилада, состоящая из трех комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка, гостиной в три и диванной в два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою укромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг.

Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в средине такого же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла; в диванной угольной, разумеется, диван. В сохранении мебелей видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая, или из полинялого сафьяна, оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось.

Когда бывал званый обед, то мущины теснились в зале, вокруг накрытого стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, занимали гостиную, девицы укрывались в гинесее [женская половина в древнегреческом доме], в диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. За столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих, несколько

жареных и несколько хлебенных являлись по очереди, а между ними неизбежные два белых и два красных соуса делили обед на двое. Странное обыкновение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого гостя по имени.

Вообще Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форрейтор под'езжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще с своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали пудриться, только в Пензе многие из них не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на масляной, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна генеральша Львова, урожденная Колокольцева, была тут проездом; другая, госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в саратовской деревне, и скромная добродетель ее часто походила на суровость.

Просрочив и опасаясь грубостей Бантыша-Каменского, я не спешил к нему явиться; но он принял меня, о диво! как бы ни в чем не бывало. Умный старик сметил, наконец, что взыскательность с мальчиками, кои на год или на два записываются в его архив для получения чина, совсем неуместна, когда все гласит о снисходительности.

Но вместе с уменьшением его строгости архив лишился многих приятностей. Никто уже (и я в том числе) так часто в него не ходил: скука была ужасная, не с кем почти было слова вымолвить. Куда девались все наши молодцы? Одни переселились в спокойный уже Петербург под покровительство к родным; другие получили места при миссиях; одни путешествовали за границей, другие доучивались в иностранных университетах; а иные, не покидая архива, выпросились на лето в деревню. Единственною для меня отрадой были встречи с двумя сослуживцами: прежним, Блудовым, и новым,

Губаревым. Я нашел, что первый чрезвычайно вырос, потерял немного прежней живости (чему причины я тогда не знал), зато, кажется, еще более поумнел; другой был добрый, остроумный весельчак, который потом деревенскую жизнь предпочел исканию почестей.

Многие из жителей Москвы и оставшихся моих товарищей все твердили о Петербурге, жилище светозарного ангела, земном рае, где люди свободны, блаженствуют и трудятся единственно только для добра. Очарование все еще длилось. Венчанный юноша уже хладел в пламенных об'ятиях России, уже неверные взоры его с любовью обращались к Западу; а ее восторги не истощились. Все завидовали тем счастливцам, кои, служа в столице, могли участвовать в великих гражданских подвигах, преднамереваемых царем. Увы, несчастный! Зачем увлекся я общею молвою! Зачем послушали меня родители! Зачем вице-канцлер исполнил их желание! Около половины августа причислен я к делам коллегии с тем чтобы, по прибытии в Петербург, поступить в канцелярию князя Куракина.

Я бы мог спокойно жить в беспечной Москве; изредка повышаемый в чинах, я бы до седых волос мог оставаться архивным юношей. В старике Каменском привычка обращалась в чувство; я бы стал копаться с ним в древних рукописях и мог бы сделаться полезным его сотрудником. А если бы недостаточное состояние понудило меня искать содержания более выгодного, то сколько мест в Москве, где служба — продолжительный, приятный сон! Кремлевская экспедиция, Почтамт, Опекунский совет и другие. Нет, всею будущностью, спокойствием всей жизни пожертвовал я честолюбию, которое велели мне иметь и которого даже во мне не было. Кто знает? Не столь разборчивый, я мог бы встретить скромную, тихую деву, без причуд и шумихи петербургского воспитания; я был бы ею счастлив, а она мною. В благорастворенном климате, ближе к природе, может быть, я полюбил бы сельскую жизнь, малый достаток жены соединив с собственным; врожденною моею бережливостью я мог бы их уничтожить; семейство, научаемое мною умеренности, наследовало бы моему скромному счастью, и ныне ясный день тихо догорал бы для меня. Но нет! На путь жестоких испытаний круто своротила меня судьба с той мирной стези, которую указывали

мне и природные наклонности и положение, в коем я находился.

И что же? Много ли я выиграл перед теми, кои никогда не знали петербургской службы? То я прыгал, то должен был на время останавливаться; а они спокойно шли ровным, тихим шагом и от меня не отставали. И что̀ за жизнь моя была, о боже! Почти вся она протекла среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно. Сколько нужд перенес я в сем городе! Как постоянно рвался я из него! И в преклонных летах еще осужден я влачить в нем тяжелые оковы службы.

В последний раз сопровождаем я был спасительным обо мне попечением моего семейства; мне не дозволили ехать одному. Старший брат мой Павел, за болезнию, опять оставил службу; его прислали из Пензы в Москву, чтоб отвезти меня и устроить на новом жительстве. Мы отправились 31 августа, а 4 сентября 1802 года прибыли в Петербург.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мы остановились в «Лондоне», в одном из двух только известных тогда трактиров и заезжих домов, из коих другой, Демутов, принадлежащий к малому числу древностей столетнего Петербурга, один еще не тронут с места и не перестроен.

Большой живости не было заметно. Город только через десять лет начал так быстро наполняться жителями; тогда еще населением он не был столь богат; обычай же проводить лето на дачах в два года между всеми классами уже распространился: с них не успели еще переехать, и Петербург казался пуст.

Но если по наружности не было заметно большого движения, то в правительственных местах и канцеляриях была тогда большая деятельность; ибо 8 сентября издан достопамятный указ об учреждении министерств.

Двор находился тогда в Гатчине, и потому-то мы не нашли ни генерал-прокурора Беклешова, к которому брат имел поручение от отца, ни вице-канцлера князя Куракина, к которому я ходил являться. По странному стечению обстоятельств, приезд мой был вторично как будто сигналом удаления для Беклешова; меня же другой раз встретили в Петербурге обманутые надежды.

С учреждением министерств, можно сказать, уничтожался весь прежний ход дел в государстве и установлялся совершенно новый.

О неудобствах, о вредных последствиях сего важного события, по крайней мере по моему мнению пагубного для России, должен я буду часто, почти беспрестанно говорить в сих записках. Здесь ограничусь об'яснением, как умею, в чем состояла разница между старым и новым порядком вещей.

Кажется, простой рассудок в самодержавных государствах указывает на необходимость коллегиального управления. Там, где верховная, неограниченная власть находится в одних руках и глас народа, через представителей его, не может до нее доходить, власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещательными сословиями, составленными из мужей более или менее опытных. Если суждения их, споры, даже несогласия несколько замедляют ход дел, зато перед государем они одни только обнажают истину, выказывают ему способных людей для каждого места и таким образом облегчают ему выборы. Так было в России до Петра великого. Приказы, думы, суды превратились при нем в коллегии; число их умножилось: переменились названия, но не изменился существовавший порядок. Пред обновленною им древностью благоговели все его преемники до Александра.

Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитанием, и по внушениям почти столь же юных советников, пренебрегла опытом веков..

В Англии, во Франции есть министры, облеченные обширною властью и за то подвергнутые строжайшей ответственности. Там же парламенты и представительные палаты, следящие за всеми их действиями. Чтобы поставить Россию на одинаковую степень с другими просвещенными государствами, надобно также иметь в ней министров, но перед кем будут они отвечать? Перед государем, который долго уважает в них свой выбор, которого делают они участником своих ошибок и который, не признавшись в оных, не может их удалить? Перед народом, который ничто? Перед потомством, о котором они не думают? Разве только перед своею совестью, когда невзначай есть она в котором-нибудь из них. Но разве нет Сената? Распространить его права, до некоторой степени подчинить ему властителей сих: доселе не имел он других прав как указами доносить министрам; они не имели к нему других обязанностей, кроме рапортов, коими давали ему свои предписания.

В тишине кабинета, поработав с безгласным или всемогущим директором, министр несет к государю свои или его предположения; когда он пользуется уверенностью, то без дальнейшего рассмотрения дело тут же и оканчивается; если

же нет, то отсылается в комитет министров, где, как уверяют, часто царствует рассеянность и где почти беспрестанно взаимное умовение рук. Может же когда-нибудь случиться, что рассеянный государь вверится небрежным министрам, которые вверяются ленивым директорам, которые вверяются неразумным и неопытным начальникам отделений, а они вверяются умным и деятельным, но не весьма благонамеренным и добросовестным столоначальникам. Тогда сии последние, без общей цели и связи, будут одни управлять делами государства.

Вот будущность, которая с 8 сентября 1802 года открывалась для России. Кто был душою заговора против нее? Кто был его главою? Кто подавал мысли и кто приводил их в исполнение? Чтобы об'яснить это, необходимо будет кратко и резко изобразить новые лица, которые выступают на сцену.

Всех старее если не летами, то чином был граф Кочубей, родной племянник умершего канцлера князя Безбородки. Чтобы составить гений одного человека, натура часто принуждена бывает отобрать умственные способности у всего рода его. Так поступила она с великим Суворовым и славным Безбородкой. Окинув взором всех ближних и дальних родственников, покойный канцлер в одном только из них заметил необыкновенный ум, то есть что-то на него самого похожее: сметливость, чудесную память и гордую таинственность; и племянника своего, Виктора Павловича, предназначил быть преемником счастия своего и знаменитости. Ничего не пощадив на его воспитание, в самых молодых летах отправил он его в лондонскую миссию, к искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову на выучку. Оттуда прямо, через несколько лет, нашел он средство, с чином камергера, перевести его самого посланником в Константинополь. До смерти своей сохранив при Павле неограниченный кредит, он сначала вызвал его оттуда членом иностранной коллегии, а потом, в короткое время, успел доставить ему графское достоинство и звание вице-канцлера. Один, без дяди, при Павле Кочубей долго не мог оставаться и, как многие другие, был сослан в деревню.

В царствование Александра надобно уже было ему жить собственным умом; ему было тогда не с большим тридцать

лет. Он пренебрег обыкновенными ничтожными занятиями дипломатов, по большей части сплетнями хорошего тона, и хотел посвятить себя внутреннему преобразованию государства. Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок крыловой басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость — были блестящие завесы, за кои искусно прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил.

Другой сообщник в важном предприятии был тайный, непримиримый враг России, слишком известный потом изменник Чарторыжский. Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название матки ойчизны; в об'ятиях этой матки, польской Юдифи, русский Олоферн наш, князь Репнин [Н. В.] не потерял, однако же, головы, и ойчизну ее, когда был послом в Варшаве, заставлял трепетать перед собою. Князь Адам был плодом всем известного сего чудовищного союза[1]. С малолетства напитанный чувствами жесточайшей ненависти к истинному своему отечеству, он посвящен был его же служению. Несколько времени находился он ад'ютантом при Александре Павловиче, когда тот был наследником престола, умея угодить ему, и составленную с ним связь сохранил почти всю жинзь его. При его воцарении вызван он был из Рима, где находился посланником нашим при сардинском короле, который, лишившись Пиемонта, не очень спешил отправиться в Сардинию. Чтобы сойтись с другими любимцами царя, надобно было ему притвориться англоманом, чтб ему небольшого стоило. Кроме зла, не мог он желать России, и участие его в замышляемом ее преобразовании, по крайней мере, показывает в нем много ума.

Третий соучастник был двадцатидевятилетний Павел Строганов, единственный сын графа Александра Сергеевича, известного покровителя художеств и муз. Совершенным

---

[1] А. А. Чарторыжский родился в 1770 г. (отец его род. в 1734 г.), когда Н. В. Репнин был в Варшаве русским послом.

мальчиком видел он в Париже ужасы революции и был в восхищении от сего народного волкана[1]. С трудом могли его извлечь оттуда и перевести в Лондон, где глазам его представилось другое зрелище. Там увидел он блестящий призрак свободы, коим искусный деспотизм лордов тешил народ, и еще более пленился; и молодой русский лорд долго еще потом бредил Англией. Приятное лицо и любезный ум жены его сблизили с ним императора Александра, а ее добродетель не могла его после разлучить с ним. Ума самого посредственного, он мог только именем и фортуною усилить свою партию.

Весьма еще не старый моряк был тогда уже контр-адмиралом. Он сим обязан был не собственным заслугам, а славе отца, одержавшего над шведами знаменитую морскую победу. Имя Чичагова, прославленное отцом, впоследствии оскверненно было сыном[2]. Он также в душе был англичанин, в Англии учился мореплаванию и женат был на англичанке. В последние дни царствования Павла смелые, даже дерзкие ответы его нетерпеливому деспоту, за которые засажен был он в крепость, приобрели ему общее уважение, которое сохранил он, пока другой известности не имел. Суровость моряка, в соединении с надменностию англичанина, сделала его потом ненавистным для русских; последний же его подвиг заставил их всех презирать его. Проклиная Россию, оставил он ее навсегда и с лихвою платит ей за ненависть и презрение, коими она его обременяет[3]. Он был в числе затейников, которые думали устроить счастие ее на прочном основании.

Всех старее летами и, конечно, всех выше умом был Николай Николаевич Новосильцев. Будучи сыном побочной

---

[1] Его воспитателем был якобинец Жильбер Ромм.

[2] Имеется в виду неудача Чичагова при Березине, где он не сумел поймать бежавшего из России Наполеона.

[3] П. В. Чичагов (1767—1849), живя за границей, всегда с любовью говорил о России, отстаивал необходимость свободы для нее и в статьях своих противопоставлял русское крестьянство дворянству, высказывая уверенность, что народ свергнет насилие и произвол. Чичагов терпеть не мог придворных льстецов, с пренебрежением относился к подобострастной тогдашней русской знати, за что она его, действительно, ненавидела. Отголоском этой нелюбви и является отзыв Вигеля о нем.

сестры старого графа Строганова, он-то в Париж ездил выручать молодого и сей услугой еще более скрепил родственные связи с дядей. Это было не одно путешествие, которое на его счет делал он за границу. Англия совершенно обворожила его; в ней только могла утолиться жажда его к познаниям, как и всякого другого рода его жажда. Там увидел он, что великий разврат не мешает быть великим человеком, и, кажется, Фокса[1] взял он себе за образец. Отчизну портера и эля, где не родятся, а льются мадера и портвейн, где опрятность и роскошь у самых грубых наслаждений отнимают все, чтó есть в них отвратительного, сию землю втайне сердца избрал он своим отечеством. Он числился в армии подполковником и оставил службу вслед за смертию Екатерины. При Александре, который прежде его знал, сделан он был тотчас камергером и статс-секретарем. Молодой царь видел в нем умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника, преданного и откровенного друга, паче всех других полюбил его и поместил у себя во дворце. Его друзья держались им более всего и через его посредство только могли действовать на государя.

И вот люди, которые, едва достигнув зрелости, хотели быть опекунами России и брались ее перевоспитывать. Нет сомнения, что они не могли бы иметь такого успеха, если б сам царь не имел склонности подражать всему английскому. Его воспитание было одною из великих ошибок Екатерины. Образование его ума поручила она женевцу Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же мало знал ее, как и в день своего приезда и который карманную республику свою поставил образцом правления будущему самодержцу величайшей империи в мире. Идеями, которые едва могут развиваться и созреть в голове двадцатилетнего юноши, начинили мозг ребенка, которого женили ранее шестнадцати лет. Не разжевавши их, можно сказать, не переваривши их, призвал он их себе на память в тот день, в который начал царствовать. Иногда у себя спрашиваешь: чтó было бы с красотою его души, если б любовь к отечеству сохранила ее, если б

[1] Чарльз Фокс, знаменитый английский политический деятель (1749—1806), бывший попеременно то консерватором, то либералом, не признававший в политике ни честного слова, ни совести.

ее не исказило безотчетное пристрастие к иноземному? И где бы тогда в летописях найти подобного ему царя?

Со времен Петра великого судьба велит России покорствовать которому-нибудь из государств или народов европейских и поклоняться ему как идолу. Чтоб угодить Петру, надобно было сделаться голландцем; Германия владычествовала над нами при Анне Иоанновне и Бироне; при Елисавете Петровне появился Лашетарди, и начались соблазны Франции; они умножились и усилились страстию Екатерины второй к французской литературе и дружбою ее с философами восьмнадцатого века. Петр III и Павел I хотели сделать нас пруссаками; в первые годы александрова царствования Англия была нашею патроншей. Уж не Польша ли становится нашим кумиром?

Из-за пентархии, мною описанной, как будто скрываясь, выглядывал Сперанский. Сие ненавистное имя в первый раз еще является в сих записках. Человек сей быстро возник из ничтожества. Сын сельского священника, возросший под сению алтарей, он воспитывался сперва во владимирской семинарии и учился потом в алексадроневской духовной академии. Дух гордыни рано им овладел; как падшие ангелы, тайно восставал он против самого бога и в первой молодости уже отвергал бытие его. А между тем неверующий сей делал удивительные успехи в богословских науках, и враг церкви приготовлялся быть ее служителем. В лета непорочности и чистосердечия приучал он таким образом лживые уста свои выражать то, чего он не думал. Может быть, оставаясь в духовном звании, келейная жизнь дала бы другое направление его мыслям, и демон, вынужденный хвалить господа, убедился бы, наконец, в истинах, кои обязан был вседневно возвещать. Но случайно он был перенесен на сцену мирской жизни.

Меньшой брат князя Куракина, Алексей Борисович, хотел единственного сына своего воспитанием приготовить к занятию со временем одного из высших мест в государстве и для того просил митрополита Гавриила выбрать ему наставника из студентов или магистров духовной академии. Он прислал ему двух, из коих предпочтен Сперанский[1].

---

[1] Оба братья Куракины любили показывать пышность. За двумя студентами послана была цугом великолепная четверо-

В сей новой сфере угождал он отцу, нравился матери, баловал сына и прельщениями очищал себе дорогу к будущим успехам. Он причислен к экспедиции казначейства, коею управлял князь Куракин; когда же сей последний при Павле сделан генерал-прокурором и пробыл им два года, то можно себе представить, как побежал он по ступеням почестей. При трех преемниках Куракина, князе Лопухине, Беклешове и Обольянинове, был он также деятельно употреблен и награждаем, но не имел главного влияния на дела̀.

Фортуну его сделал граф Пален, человек столь же мало, как и он, проникнутый светом христианской морали. Находясь в канцелярии генерал-прокурорской, он в то же время был правителем канцелярии какой-то комиссии о снабжении резиденции припасами, коей Пален был президентом, по̀ званию военного губернатора. Им был он представлен молодому императору, который тотчас же сделал его своим статс-секретарем. Заметив склонность Александра к нововведениям, он предложил, как первый опыт, разделение дел тогдашнего императорского совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление.

Никто из пяти преобразователей не умел ничего написать. Сперанский предложил им искусное перо свое и, принимая вид, как будто собирает их мнения, соглашает их, приводит в порядок, действительно один составил проект учреждения министерств. Тут увидел он всю пустоту претензий людей, почитавших себя у нас государственными, узнал все их ничтожество, опытность старцев и зрелых мужей презирал, уважал одну только ученость, в этом отношении на гражданском поприще равных себе не видел и с тех пор приучился ставить себя выше всех.

В высоких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали. Несмотря на безнравственность его правил (хотя и не поведения), в других обстоятельствах, в другое время он мог бы оказать чрезвычайные услуги государству и пользоваться чистою славой. Он был еще молод, спешил блеснуть и второпях не нашел

местная карета с гербами и ливрейными лакеями. Неопытный в делах света Сперанский, говорят, до того изумился, что бросился становиться на запятки и решился сесть в карету, последуя только примеру своего товарища, более смелого. Авт.

ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим французская директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию, со всем преувеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей. В нем признали творца, точно так же как предки наши, не знавшие Корнеля и Расина, дивились изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство будет уметь оценить создания Сперанского.

Хотя он (пусть простят мне сие простонародное выражение) и корчил иностранца, но в нем заметна была отличительная черта истинно-русского человека: он не знал мести, не умел ненавидеть. Но зато никто из его соотечественников, даже сам Потемкин, так глубоко не умел все презирать, с тою только разницей, что он умел делать сие неприметно. Я полагаю, что это происходило от совершенного равнодушия ко всему, кроме самого себя и своих творений. Он не любил дворянства, коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию; он не любил религии, коей правила стесняли его действия и противились его обширным замыслам; он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту; он не любил своего отечества, ибо почитал его не довольно просвещенным и его недостойным. Тайный недруг православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия, он, однако же, их не ненавидел, в будущем довольствуясь мысленно их падением, не истреблением. Никто никогда ни в чем не мог его уличить; но кто знал его характер и правила, тот из действий его мог вывести достоверное заключение, что все они направлены к сей отдаленной цели. Когда сей зловещий дух показался на нашем горизонте, никто его не понял; все любили, ласкали его, дивились ему, даже гордились им, для всех был он надежа-Сперанский. Неблагодарный! И он мог не любить своего отечества? Только впоследствии, когда воспарил он гораздо выше и заключился в самом тесном кругу, когда он окружил себя какою-то таинственною, непроницаемою атмосферой, тогда только открылось поле для догадок и невыгодных об нем толков.

Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, но, медленно по-

ворачиваясь в сторону, как будто избегали встречи с другими взорами[1]; голос его был тих и несколько протяжен, улыбка принужденно-ласковая. В одеянии, в образе жизни старался он прилаживаться к господствующему вкусу. К счастию его, был он женат на девице Стивенс, дочери бывшей английской гувернантки в доме графини Шуваловой; он ее лишился, но сохранил много из навыков ее земли. Например, тогда уже завтракал он в одиннадцать часов, и завтрак его состоял из крепкого чая, хлеба с маслом, тонких ломтей ветчины и вареных яиц. Он не знал по-английски; умел, однако же, говорить маленькой дочери своей, нынешней Толстой-Багреевой[2]: my dear, my pretty child, my sweet girl[3]. Летом думал он ездить верхом, едва держась на кляче с отрубленным хвостом. Вот единственно смешная его сторона, которую неохотно я представил: мне не хотелось бы ничего в нем видеть смешного, а одно удивляющее, ужасающее. Впрочем, может быть, и это было притворство, а не претензия.

Читатель увидит далее, что мне случилось быть с ним если не в близких, то в частых отношениях. Я разделял всеобщее к нему уважение; но и тогда близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира.

Слово министерство было мало употребляемо: их знали более под названием департаментов, ибо при каждом министре находилось их первоначально не более, как по одному. Только впоследствии, с некоторым уменьшением, превратились иные в канцелярии, а подведомственные министрам коллегии образовались в департаменты. Иные читатели полюбопытствуют, может быть, знать состав первого министерства в России.

Министром иностранных дел и государственным канцлером назначен был престарелый граф Александр Романович Воронцов. Последняя должность, которую занимал он при

---

[1] Одна умная современница Сперанского говорила нам, что глаза у него были точно у издыхающего теленка (veau expirant), что подтверждают некоторые его портреты. П. Б.

[2] Дочь Сперанского Ел. Мих. была замужем за А. А. Фроловым-Багреевым (а не Толстым-Багреевым).

[3] Мое дорогое, мое хорошее дитя, моя милая девочка.

Екатерине, было место президента комерц-коллегии, где до того прославился он бесстыдным грабительством, что она принуждена была его выгнать, а Павел первый никогда не хотел его употребить. К брату его, Семену Романовичу, почти двадцать лет сряду послу нашему в Лондоне, любимцы государя имели сыновнее уважение; он же сам был известен угодливостию молодым людям. Причины гонения на него были забыты, он казался жертвой, был умен, сговорчив, на все согласен и, несмотря на внутреннее и наружное его безобразие, на его неопрятность, на столь же запачканное платье, как и репутацию, занял он первое место в государстве. Товарищем его назначен князь Адам Чарторыжский.

Президенты военной и адмиралтейств-коллегий, фельдмаршалы граф Николай Иванович Салтыков и Иван Логинович Голенищев-Кутузов уволены от упраздняемых должностей, а вице-президенты сих коллегий, Вязмитинов и Мордвинов назначены министрами. Покорность к предержащей власти была девизом старика Сергея Кузьмича. Его доброта и честность были столь же известны, как ум его и деятельность: трудолюбием и долговременною беспорочною службой единственно попал он, наконец, в люди. К сожалению, нахождение его в малых чинах при лицах строгих и не весьма вежливых начальников оставило в нем какое-то раболепство, не согласное с достоинством, которое необходимо для человека, поставленного на высокую степень. Ни английского, ни какого другого иностранного в нем решительно ничего не было; в нем также никто не мог бы узнать и древнего русского боярина, а старинного, честного, верного и преданного русского холопа. Это был не Беклешов, и такой человек должен был пригодиться при составлении министерства. Товарища ему не дали, и оттого он долее мог усидеть на месте; ибо генерал-ад'ютант граф Ливен, управляющий военною канцелярией при государе, чаще его видел и не имел нужды быть министром.

Известный своими добрыми намерениями, обширными сведениями, живым воображением и притязанием на прямодушие, Николай Семенович Мордвинов более нежели когда кипел в это время проектами. Он почитался нашим Сократом, Цицероном, Катоном и Сенекой. Политический сей мечтатель, с превыспренними идеями, с ложными понятиями о

России и ее пользах, должен был естественным образом сойтись в мыслях с молодыми законодателями. К тому же и он был женат на англичанке Кобле, говорил и жил совершенно по-английски. Но не более трех месяцев пробыл он морским министром. Он вообразил себе, что у нас подлинно парламент; мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через два года после Павла показались даже мятежными, и он должен был оставить место товарищу своему Чичагову.

Державин, гений и дитя, поэт и пророк, как Давид, видя на троне воспетого им при рождении порфирородного отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Все, что происходило, в глазах его слишком отзывалось поэзией, чтоб ему не нравиться, и он с благодарностию принял звание министра юстиции и все, что уцелело от генерал-прокурорской должности. Год спустя после учреждения министерств, всесильный Новосильцов имел скромность не отвергнуть названия товарища министра юстиции.

Вышеописанные мною граф Кочубей и граф Строганов сделались: первый—министром внутренних дел, последний—его товарищем.

Столь благосклонный к отцу моему граф Румянцев был президентом комерц-коллегии, с званием министра, еще до учреждения министерств. В новом порядке другой перемены для него не последовало, кроме умножения власти и прав. С ним началось и прекратилось министерство коммерции.

Между министрами, наконец, встречаем лицо, сохранившее физиономию прежних времен. Необходимость заставила молодежь приобщить графа Васильева к своим предприятиям; а он, не в силах будучи остановить потока, решился, по крайней мере, пустив огромную ладью свою по его течению, стараться, сколько возможно, спасать ее от бурь. Финансовая наука была не столь трудна и многосложна, как ныне; однако же, кроме его, некому было часть сию поручить. Он с самых молодых лет и малых чинов всегда прилежно занимался ею и хотя в звании государственного казначея и подчинен был генерал-прокурору, но действовал почти независимо. В нем была вся скромность великих истинных достоинств; он был в отношении к Мордвинову, как мудрец к софисту. Простота его жизни была не притязание на оригинальность, не следствие расчетов, а

умеренности желаний и давнишних привычек. Будучи происхождения незнатного, едва ли дворянского, он не ослеплялся счастием, никогда не забывался среди успехов. Сам Сперанский рассказывал при мне, как даже он был тронут патриархальностию, которою все дышало в его доме. Вероятно, для контраста, дали ему Гурьева в товарищи; но о сем последнем пока ни слова.

Человек, который некогда красотою столько же славился, как и умом, и не одним последним умел нравиться Екатерине, который, не зная опалы, видел множество перемен при ее дворе и, без всяких для себя неприятностей, осторожно и спокойно прошел бурные года царствования Павла, при Александре принимает участие в новообразуемом министерстве. Граф Завадовский, украинская умная голова, когда-то любимый секретарь Румянцева-Задунайского, всегда умел пользоваться жизнию и обстоятельствами. Исключая Сперанского, он один только знал по-латыни, а ведь это ученость: кому же приличнее его поручить министерство просвещения? Правда, его было весьма мало, но сначала нужно было только известное имя, под которым Сперанский брался распространить его. Товарищем к сему министру назначен Михайло Никитич Муравьев [1], муж ученый, кроткий и добросердечный, умный и приятный писатель, один из наставников императора, к сожалению, не довольно пылкий и твердый, чтобы сделаться одним из доверенных его советников. Он везде и во всем видел добро и столь же страстно любил его, как и искренно в него веровал.

Утверждают, что в это время благонамеренный и неопытный царь, подстрекаемый письмами из Женевы от учителя своего Лагарпа (кои после имел я случай читать и даже переписывать), хотел без всякого приготовления, единым махом издать для России какую-то конституцию. Уверяют, будто приближенные его, несмотря на свое неведение и англоманию, столько еще смыслили, чтобы знать великую разницу между Англией и Россией, что они убедили его на время отложить свое намерение и взамен предложили учреждение министерств, как первый к тому шаг. Хороши бы мы тогда были! Родившись в России и никогда дотоле ее не по-

[1] Отец декабристов Александра и Никиты Муравьевых.

кидавши, напитанный русским воздухом самодержавия, Александр любил свободу как забаву ума. В этом отношении был он совершенно русский человек: в жилах его вместе с кровью текло властолюбие, умеряемое только леностью и беспечностью. Дай русскому народу немецкое прилежание и терпеливость, и он владыка целого мира. Сейчас мы видели, как, пренебрегая общим мнением, столь выгодным для Мордвинова, за несколько смелых его выражений, император внезапно удалил его. С другой стороны, невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать. Чтó бы произошло от столкновения властей? Бог знает. А может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков, и давным давно из хаоса образовались бы устройство и народность. Но все-таки лучше, чтоб наши правнуки собирали плоды понесенных ими опасностей.

Итак, министерства были первым из тех бесчисленных опытов, кои мы видим в течение почти сорока лет. Долго ли еще нам будет пытаться? Страшно подумать, что эти беспрестанные пробы могут довести нас, наконец, до какого-нибудь ужасного представления.

Я должен был посвятить изображению сего важного события, имевшего неисчислимое влияние на судьбу моего отечества, моего семейства и мою собственную, всю первую главу второй части сих записок. Теперь пора мне возвратиться к самому себе и представить читателю первые шаги малоумного мальчика, брошенного без всякой подпоры в опасный для каждого столичный мир.

Узнав о великих переменах, кои занимали весь город, в недоумении, чтó мне делать, я пошел отыскивать архивского своего знакомца, князя Козловского, служившего в канцелярии князя Куракина. Имея весьма скудное состояние, он на его иждивении жил в самом верхнем этаже занимаемого им дома. К удивлению моему, нашел я его в десятом часу поутру на постели, хотя здорового; он дружески протянул мне руку, но воскликнул: «Как ты здесь, зачем ты приехал?» Я сказал ему причину и приезда моего и посещения, сказал, что пришел к нему разведать о всем пообстоятельнее и требовать его добрых советов. Он заговорил

со мной непонятным для меня тогда языком петербургских гостиных. Я увидел, что он попал в большой свет, им только и бредит, и вне его все кажется ему ничтожным. Легкомысленный толстяк очень равнодушно говорил о перемене, последовавшей с его начальником, как будто она не должна была иметь никакого влияния на его участь; он оставался в том же кругу, не переставал ездить в те же общества. Из вздора, который он мне наговорил, мог я заключить только одно, что, зная мой нрав, мои привычки, судя по моим манерам, он предсказывал мне, что я никогда не буду блистать в петербургском свете, и что лучше было бы оставаться в Москве. Дело шло совсем не о том, и я вышел от него очень недоволен. По крайней мере, взялся он предупредить обо мне Куракина и сказал время, в которое он принимает. Все это было совершенно не нужно; но почему мне было это знать?

Бывший вице-канцлер принял меня, по обыкновению своему, чрезвычайно ласково, расспросил о родителях, о службе ни слова, и пригласил на другой день на вечер. Действительно, вот все, чтó он мог для меня сделать; а я по неведению моему полагал, что найду случай просить его о рекомендации, чего при всех сделать не осмелился. Вместо того очутился я в ярко освещенных гостиных, наполненных мужчинами и дамами самого высшего круга, мне вовсе незнакомыми. Князь сидел за бостоном и назвал меня тем, кои близко его находились. Козловский подошел ко мне с видом половину-дружеским, половину-покровительственным, поговорил немного и пожал руку, как будто поздравляя с первым успехом, который, может быть, он же и приготовил Мне от того было не легче, я прижался в угол. К счастию, сын никогда не женатого хозяина Сердобин имел человеколюбие подойти ко мне и немного заняться мною. Всего несноснее, всего досаднее показался мне один весьма красивый мальчик, самонадеянный, заносчивый, многоречивый, который громогласно, без всякого милосердия, рассуждал о французской литературе и театре: это был нынешний министр Уваров[1]. Те, кои от самолюбия застенчивы, поймут,

[1] С. С. Уваров был очень образованный для своего времени и очень умный человек. Подробнее о нем в четвертой и в начале пятой части этого издания.

как мучителен для меня был этот вечер. Через несколько дней князь Куракин уехал в Москву.

Итак, мне ничего не оставалось, как потащиться в коллегию и представиться обер-секретарю ее, Илье Карловичу Вестману, человеку очень приятному, совсем не похожему на Бантыша и Малиновского. Он мне сказал, что по возможности будут занимать меня, и пригласил, а не приказал явиться в коллегию в такой день, в который она осчастливлена будет посещением канцлера графа Воронцова, товарища его и других ее членов.

Сии последние, исключая столь важных случаев, не знали, как отворяются в нее двери.

Сколь ни молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нем только две дороги — общество и служба — выводят молодых людей из безвестности, в коей погрязают из них девять десятых. Самые успехи в русской литературе, коею так мало тогда занимались, если они не были чрезвычайные, не могли спасти от забвения.

Высокое общество не совсем похоже было на нынешнее. Оно было не столько еще снимок с прежнего парижского, сколько копия с венского. Там венгерские магнаты, на собственном содержании имеющие войска, там немецкие князья, из коих многие пользуются правами, присвоенными владетельным государям, имперские графы, фамилии коих обладают несколькими майоратами, польские, богемские и итальянские роды, соединяющие древность происхождений с огромными богатствами. Из них составилась плотная масса, совершенно отделенная от других сословий, заимствующая часть блеска своего от императора и его двора, но самостоятельная, совершенно от них независимая. Кому известна Россия, тот знает, на каком зыблемом основании поставлена наша так называемая аристократия. Казалось, подражание тут дело невозможное; однако же оно отчасти удалось: мы где чтó подметим, то хотя на время, а уже верно искусно переймем.

Богатые фортуны не были еще разделены между потомками, не были еще враздробь промотаны. Они принадлежали по большей части людям, коим титул и высокий чин давали хотя иногда новую, но настоящую знатность. Камер-

герство четвертого класса и камер-юнкерство пятого сыновьям их, одним в двадцать пять, другим в восемнадцать лет, открывали рано дорогу к почестям. Унизительная, убийственная обязанность переписывать в канцеляриях бумаги для них не существовала. Предшественники Екатерины, как и она сама, как и сын ее, возводя кого-нибудь на высокую степень, давали ему средства не только поддержать блеск даруемого ему титула, но даже разливать его на своих потомков. Все было в гармонии, пока неосмотрительная щедрость Павла первого не повысила чинами людей, коих всех не в состоянии был он обогатить. В таком положении не совсем было трудно усастой княгине Голицыной, с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей, сделаться законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств[1]. К тому же в ней самой оставалось еще довольно много русского, чтобы переход к новым идеям не был столь ощутителен.

К чести сего общества, коего и поныне сохранилось еще несколько образчиков, должно сказать, что оно отличалось чрезвычайною учтивостью, то есть ласковою, нимало не церемонною, строго соблюдаемою взаимною внимательностью. Холодная же учтивость, без малейшего вида пренебрежения, служила ему защитой от вторжений в его собрания таких людей, коих почитало оно того недостойными. Оно вынуждено было при Павле поставить главным своим догматом, что чины суть ничто: предпочтение, сделанное тогдашнему генералитету, скоро обратило бы его в кабак. Беда только в том, что французский язык был также первым его условием и сделал его доступным людям, коих не следовало бы в нем видеть: всякого рода иностранцам, аферистам, даже актерам.

Тогдашний двор сему обществу служил также прекрасным образцом. Им правила вдовствующая императрица Мария Федоровна, пример всех семейных и общественных до-

---

[1] Мать московского ген.-губернатора, знаменитая княгиня Нат. Петр. Голицына (с нее Пушкин писал Пиковую даму), имела усы и бороду. Властная, очень гордая, она заставляла все так называемое высшее общество считаться с нею. Цари полагали необходимым оказывать ей внимание. Она умерла в 1837 г. — 97 лет от роду.

бродетелей, «жена сильная», о коей гласит святое писание, в преклонных летах еще блиставшая величественною красотой, пышность истинно-царскую умевшая сочетать с бережливостию истинно-народолюбивою. В тихом величии скромно стояла близ нее Елисавета Алексеевна, и немому бессильному божеству тем не менее усердные воссылались моления. Наконец, сам император знанием приличий превосходил всех современных государей. Правда, желая, может быть, чтобы видели, как он храним народною любовию, один прогуливался он пешком по набережным и таким образом ежедневно царствие свое показывал на улице. Но он действительно был ненагляден; ему всегда радовались как солнцу, которое однако же никому не в диковинку; какая-то сила, право волшебная, спасала его от неуважения, которое мы, особенно русские, невольно получаем к предметам, беспрестанно и везде встречаемым. Даже во время первой молодости в публичных местах видели его очень редко, в частных домах — почти никогда; посещение его одному из первых его вельмож почиталось историческим происшествием, ставилось выше всех оказанных им милостей. О вечерних собраниях у императрицы, весьма немногочисленных, в публике знали очень мало; известно было только, что с одной стороны являлась там самая милостивая снисходительность, с другой — искреннейшее благоговение; фамилиарства — ни с которой.

В гостиных лучшего общества также царствовала величайшая пристойность: ни слишком повысить голоса, ни без пощады злословить там не было позволено. Такие вечера не могли быть чрезвычайно веселы, и на них иному не раз приходилось украдкою зевнуть; но в них искали не столько удовольствия, сколько чести быть принятым. Самим женщинам некоторая принужденность в манерах давала более правильности в поступках, а они в обществе всегда служат примером для мужчин. Гораздо позже, когда Кочубеи и Гурьевы какими-то финансовыми оборотами более чем щедротами монарха стяжали себе великое состояние и сделались первыми вельможами, тон общества стал приметно грубеть; понятия о чести начали изменяться и уступать место всемогуществу золота. Но все это было очень далеко от того, до чего мы ныне дожили.

Особые милости двора, кому бы они ни были оказаны, конечно, и тогда служили лучшей рекомендацией в лучшее общество. Иногда прихоть старой дамы, ее покровительство, иногда докучливость и наглость искателя в него и тогда открывали вход; но эти случаи были редки, и оно почти все составлено было из людей, в нем родившихся, выросших и, так сказать, в день крестин своих получивших от него приглашение. Новое лицо, неизвестное имя человека самого образованного всегда сначала вооружали против него. Люди средних лет, незнакомые с уставами сего общества, менее других могли надеяться в него вступить; но они, впрочем, о том мало и заботились. Молодость была счастливее: там, где нравственность не последнее дело, робость юноши принимается за добрый знак, и все стараются поощрить его.

Принадлежать к сему обществу было верхом желаний моего тщеславия. В средствах к тому, казалось, не было недостатка. Отец мой готов был прислать мне письма, которые открыли бы мне двери двух или трех знатных домов, с хозяевами коих был он хорошо знаком. Было другое средство, еще вернейшее: князь Федор Голицын, с которым провел я год в деревне отца его, одаренный изящным тактом, был одним из корифеев общества; без всякой дружбы он меня очень любил; ему казалось, что некоторою образованностию обязан я ему, и он мне предложил везде меня представить. Но тут-то и было первое затруднение: просить об определении в службу, о месте, о каком-нибудь тяжебном деле мне никогда не казалось унизительным; а мысль испрашивать, как милости, дозволения к кому-нибудь ездить меня всегда пугала. Я всегда дожидался приглашений и почти всегда дожидался их тщетно: нерасчетливее, глупее моего самолюбия, признаюсь, я ни в ком еще не встречал.

К тому же, слова Козловского и вечер у князя Куракина сильно на меня подействовали, лишили меня всей бодрости. Главное же, неодолимое препятствие было в пустоте моего кармана: надобно было вдвое, втрое более того, что́ давали мне родители, чтобы сколько-нибудь с пристойностию показываться в большом свете. А между тем, к несчастию, будучи с малых лет в сообществе с ровесниками, которых фортуна гораздо лучше меня наделила, я имел их вкусы и

наклонности и думал, что имею равные с ними права. Безрассудный, я должен был знать, что я сын почтенного, но весьма небогатого отца и что, подобно ему, одними трудами только мне возможно прокладывать себе дорогу. Если б я мог забыть о том, то его мудрые советы каждую почту письменно мне о том напоминали. Но какого толку спрашивать у молодого человека, едва вышедшего из отрочества?

Брат мой свел знакомство с одним весьма известным в свое время откупщиком Василием Алексеевичем Злобиным, или, лучше сказать, тот сам нашел его. Он держал винный откуп во всей Пензенской губернии, и следственно приглашения его были не совсем бескорыстны. Счастие, ум и смелость сего простого мещанина Саратовской губернии, города Вольска, способствовали ему сделаться в своем роде знаменитым: он сам рассчитывал, что имеет барыша по тысяче рублей в день, сумма в тогдашнее время необ'ятная[1]. Старик Злобин был тип наших православных мужичков, то есть человек и добрый и хитрый; он сохранил и поступь, и речи, и поговорки своего первобытного состояния, одним словом все, даже одежду и бороду. Этим самым отличился он от братии своей, откупщиков и, как говорится ныне, создал себе позицию в свете. Никогда не хотел он чинов, когда все за ними гонялись, и довольствовался званием именитого гражданина. Золотые медали на шее давались тогда купцам еще гораздо реже, чем кресты чиновникам; их-то он и желал, и один только (полно, не первый ли?) получил таковую с алмазами. В богатом русском кафтане своем он не оставлял по большим праздникам всегда являться во дворце, и не было в Петербурге ни одного человека, который бы не знал его. С боярами, с случайными людьми употреблял он необыкновенную уловку: с видом простодушным, откровенным, в смелых будто выражениях умел он всегда льстить их самолюбию, часто угащивал их у себя и заставлял думать, что он с ними на приятельской самой короткой ноге. Чтобы поддержать сие

[1] Известный богач своего времени Вас. Ал. Злобин (1750—1816) происходил из крепостных, в юности был подпаском в своей родной деревне Малыковке. Эту деревню он после обстраивал из своих богатств и добился переименования ее в город Вольск. Сыновья его занимали видные должности в Петербурге.

мнение, брался он за всех хлопотать и многочисленным клиентам своим когда выпрашивал, когда вымаливал, когда вымучивал милости, по большей части, не весьма важные. Великое достоинство бородатого мецената состояло в том, что с молящими его о помощи обходился он дружески ласково, совсем не покровительственно, что̀ в купце было бы несносно: вообще и тогда богатству кланялись, но только с условием, чтоб и оно откланивалось. Таким образом, задабривая всех, ставил он везде себе подпоры и распространил о себе славу, которая, возвращаясь к своему началу, возвышала его в глазах тех самых, коим ею был он обязан.

В нем было видно и чувство: полжизни проведя в Петербурге, он себя и других хотел уверить, что остается в нем только для приведения дел своих к окончанию; и, действительно, ни дома, ни дачи не хотел в нем купить. Построенные им заочно каменные палаты в Вольске, разведенные без него сады беспрестанно украшал он, посылая ежегодно разные драгоценности из столицы, где жил он как на ночлеге. При имени родины его, в которой надеялся провести остаток жизни, навертывались у него иногда слезы.

Однако же ночлег его был нанятый трехэтажный дом, который хотел он также сколько-нибудь поукрасить: кто-то накупил ему картин, мебелей и бронзовых вещей и всем этим без вкуса и порядка завешал стены, загородил комнаты. Но лучшим украшением сего дома была молоденькая его невестка, жена единственного его сына. Она была меньшая сестра умершей жены Сперанского и несколько времени жила у него вместе с матерью, англичанкою Стивенс, при оставшейся ему малолетней дочери. Там увидел ее молодой Злобин, не совсем похожий на отца своего, с большою образованностью, только не светскою, с плохим здоровьем, лицом печальным и нравом угрюмым. Он пленился девочкою живою, избалованною, почти бешеною, и Сперанский, для коего такое родство было тогда находкой и который, как уверяли, имел особливые причины спешить замужеством свояченицы, скоро этим делом поладил. Оно уже тем ему было полезно, что избавляло его от издержек на содержание маленького семейства его, тещи и дочери, которые совсем переселились к Злобину. Старик не воспротивился сему браку: суеты петербургской жизни изгладили в нем следы

староверства, в коем он родился, как, кажется, ослабили в нем самое православие; к тому же, и свойство с Сперанским, восходящим солнцем, должно было радовать такого рода человека. Но едва прошло шесть месяцев, как молодые супруги, по совершенному несогласию в нравах, увидели невозможность дальнейшего сожития. Желая временною разлукой их помирить, ближние их выдумали госпожу Стивенс с дочерью и внукой, под предлогом какой-то болѣзни, отправить к Балдонским водам (за границу тогда было не так легко). Они медлили возвращением; ибо сын Злобина, не в состоянии уже будучи скрывать злобы своей к Сперанскому, решительно об'явил, что оставит отчий дом, чтò действительно и сделал он, лишь только узнал, что они в позднее осеннее время предприняли обратный путь. Он бросил службу и ускакал в Вольск управлять делами отца. Более года еще сохраняли надежду сблизить супругов, и присутствие женского пола в доме Злобина делало его более пристойным, умножало его приятности.

В это время брат мой стал туда ездить. От него узнав обо мне, женщины просили его привезти меня с собою. Прошло несколько дней, и я расположился там как дòма. Гувернантка, очень долго жившая в знатном доме, имела аристократический тон, для меня весьма привлекательный; дочь ее, о воспитании коей она не имела времени много заботиться, была другим образом привлекательна своею молодостью, не столь красивым, сколь приятным лицом и живостью, которую изобразить трудно. Около них собирался маленький круг, состоящий из Сперанского и самых коротких его приятелей. Народ деловой, обер-секретари и секретари сенатские, откупщики, которые толковали только о барышах, и даже молодые офицеры, которые приходили попить и поесть, а поговорить умели только о параде и мундирных формах, не могли быть очень приятны сим дамам и держались от них поодаль.

Явное предпочтение, оказанное мне перед сими людьми, сначала только польстило моему самолюбию. Брат мой, будучи сам еще молод, но гораздо более меня опытен, первый заметил, что тут не одно простое предпочтение, а нечто более нежное и пылкое. Находя, что пришла уже для меня пора любви, и надеясь, что воспитание ее предохранит меня

от разврата, он видел в этом самый счастливый к тому случай. Что̀ сказать мне более? В столь отдаленном времени, мне кажется, говорю я не о себе, а совсем о другом человеке, и потому не краснея могу признаться, что он был любим и что сам был более чем неравнодушен. Все это так мало скрывалось от посторонних глаз, что я, право, не знаю, как это сходило нам с рук. Над нашим добрым согласием, маленькими ссорами, потом примирениями все еще смеялись и смотрели на то как на ребячество.

Сперанский также ничего не видел тут серьезного, не думал ревновать и, напротив, был со мною чрезмерно любезен. Он был завален делом и тогда уже довольно недоступен; последнее извиняется первым. Для человека, как говорится, в ходу приглашениям не бывает конца, а удаление от светских забав придает какую-то важность занятиям государственного человека. Самое положение Сперанского заставляло его уединиться. Он имел все право почитать себя выше родовых дворян без заслуг; до равенства с знатными еще он не дошел, а известность его, быстрые успехи, высокое просвещение вывели его из ряду других гражданских чиновников, обыкновенными трудами по службе приобретающих себе чины и состояние. Сначала имел я право приходить к нему во всякое время, но не употреблял его во зло. Он даже любил иногда слегка пошутить, потом переходил к предметам довольно важным, мне (должен признаться) тогда мало понятным. Несмотря на всю его снисходительность, я чувствовал при нем какой-то страх: все в нем меня дивило, ничто не увлекало. Кажется, из молодых людей, случаем ему насылаемых, хотел он делать своих сеидов[1]. Чистота правил вместе с моим невежеством сделали попытку его со мною неудачною. Заметив сие, он не вдруг переменился, а мало-по-малу отдалил меня от себя, стал менее говорить, реже принимать, а я стал реже являться к нему.

Так было месяца три или четыре, в продолжение коих не раз случалось мне видеть его среди малого числа избранных им друзей или приверженцев. Их было до пяти или

[1] Сеиды — потомки Магомета от дочери его Фатьмы, привилегированная каста, стремившаяся присвоить себе монополию на управление государственными делами.

шести; они одни беспрепятственно могли посещать его, и некоторые довольно замечательны, чтобы об них здесь упомянуть.

С одним из них, А. А. Столыпиным, читатель мой уже знаком. Возвратясь из Пензы, ему не совсем приятно было встретить меня у Сперанского; появление его, однако же, не имело никакого влияния на обращение со мною сего последнего. Другой, слишком известный Магницкий [М. Л.], всегда ругался дерзко над общим мнением, дорожа единственно благосклонностью предержащих властей. Это один из чудеснейших феноменов нравственного мира. Как младенцы, которые выходят в свет без рук или без ног, так и он родился совсем без стыда и без совести. Он крещен во имя архангела Михаила; но, кажется, вырастая, он еще гораздо более, чем соимянный ему Сперанский, предпочел покровительство побежденного архистратигом противника. От сего бесплотного получил воплощенный враг рода человеческого сладкоречие, дар убеждения, искусство принимать все виды[1]. Если верить аду, то нельзя сомневаться, что он послан был из него, дабы довершить совращение могущего умом Сперанского, и вероятно сего другого демона, не совсем лишенного человеческих чувств, что-то похожее на раскаяние заставило под конец жизни от него отдалиться. В действиях же, в речах Магницкого, все носило на себе печать отвержения: как он не веровал добру, как он тешился слабостями, глупостями людей, как он радовался их порокам, как он восхищался их преступлениями! Как часто он должен был проклинать судьбу свою, избравшую Россию ему отечеством, Россию, не знавшую ни революций, ни гонений на веру, где так мало средств соблазнять и терзать целые народонаселения, столь бесплодную землю для террориста или инквизитора!

Он был воспитан в Московском университетском пансионе, писал изрядно русские стихи и старее двадцати лет

---

[1] В молодые годы либерал, Магницкий после наполеоновских войны стал мрачным изувером и мракобесом. В этом отношении он прославился разгромом Казанского университета. Делая в начале своего царствования невинные уступки общественному мнению, Николай в первые же дни по занятии престола уволил Магницкого от службы.

оставил Россию. Пробыв года два или три за границей при миссиях венской, а потом парижской, возвратясь, он стал коверкать русский язык и никогда уже не мог отвыкнуть от дурного выговора, к которому себя насильно приучил. Когда я начал знать его, он был франт, нахальный безбожник и выдавал себя за дуэлиста; но был вежлив, блистателен, отменно приятен и изо всего этого общества мне более всех полюбился. Много еще можно говорить об нем, но я берегу его для продолжения сих записок, когда мне придется рассказывать последние деяния сего апостола зла. Лубяновский был чинный, осторожный, любостяжательный Магницкий не имел ни его хамелеонизма, ни его смелого полета, никогда так высоко, как он, не подымался, никогда так низко не упадал. Он всех реже бывал у Сперанского, но был не менее в тесных с ним связях; об нем также еще речь впереди. Маленький, чванный, тщедушный сиделец из нюрнбергской лавки, Цейер, был также действительным, хотя довольно безгласным, членом сего общества; это, как говорят французы, был бедный чорт, добрый чорт. Он славился знанием французского языка, потому он сделался нужен Сперанскому, который взял его почти мальчиком жить к себе в дом; он оставался потом почти целый век при нем в роде ад'ютанта, секретаря или собеседника, и на хвосте орла паук сей взлетел, наконец, до превосходительного звания. Других еще (Жерве, Словцова) я не видел: их верно тогда не было в Петербурге, и я только слышал об них, как об отсутствующих членах.

В кабинете Сперанского, в его гостиной, в его обществе в это самое время зародилось совсем новое сословие, дотоле неизвестное, которое, беспрестанно умножаясь, можно сказать, как сеткой покрывает ныне всю Россию, — сословие бюрократов. Все высшие места президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов, обер-прокуроров береглись для дворян, в военной или гражданской службе или при дворе показывающих способности и знания: не закон или правило какое, а обычай, какой-то предрассудок редко подпускал к ним людей других состояний, для коих места советников в губерниях, обер-секретарей или и членов коллегий были метою, достижением коей удовлетворялось честолюбие их после долговременной службы. Однако же между ни-

ми те, которые одарены были умом государственным, имели все средства его выказывать и скоро были отличаемы от других, которые были только нужными, просто-деловыми людьми. Для первых всюду была открыта дорога, на их возвышение смотрело дворянство без зависти, охотно подчинялось им, и они сами, дорожа приобретенными правами, делались новыми и оттого еще более усердными членами благородного сословия. В последних ограниченность их горизонта удерживала стремление к почестям; но необходимое для безостановочного течения дел, полезное их трудолюбие должно же было чем-нибудь вознаграждаться? Из дневного пропитания своего что̀ могли отделять они для успокоения своей старости? Беззаконные, обычаем если не освящаемые, то извиняемые средства оставались единственным их утешением. Зато от мирских крупиц как смиренно собирали они свое малое благосостояние! Повторяя, что всякое даяние благо, они действительно довольствовались немногим. Там, где не было адвокатов, судьи и секретари должны были некоторым образом заступать их место, и тайное чувство справедливости не допускало помещиков роптать против такого рода поборов, обыкновенно весьма умеренных. Они никак не думали спесивиться, с просителями были ласковы, вежливы, дары их принимали с благодарностью; не делая из них никакого употребления, они сохраняли их до окончания процесса и в случае его потери возвращали их проигравшему. К ним приступали смело, и они действовали довольно откровенно[1]. Их образ жизни, предметы их разговоров, странность нарядов их жен и дочерей, всегда запоздалых в моде, отделяли их даже в провинции от других обществ, приближая их, однако же, более к купеческому. Их все-таки клеймили названием под'ячих, прежде ненавистным, тогда унизительным. Это было не совсем несправедливо, ибо в них можно было видеть потомков или преемников тех бессовестных, бесчеловечных, ненасытных вампиров, коих Капнист так верно изобразил в комедии своей «Ябеда», конечно, более по воспоминаниям, чем по примерам, которые

[1] Все это знаю я ни по преданиям, ни по опыту, ибо никогда никому ничего не давал и ни от кого ничего не получал. Не нужно было большого любопытства, чтобы вникнуть в сии тайны, всем открытые. Авт.

имел перед глазами. Век Екатерины преобразил их в пиявок, высасывающих лишнюю кровь, и тем составилось второе поколение сего сословия.

Нельзя винить Сперанского в умысле, умножив их силу, дать им более средств воровать; его намерения, конечно, были чище, возвышеннее. Как все честолюбивые люди, любил он власть более, чем деньги, и состояние, совсем не огромное, которое оставил он дочери, имело (нет в том сомнения) источником расчетливость его и испрашиваемые большие пособия у царей. В клеврете его, Столыпине, говорила еще дворянская кровь и торжествовали старинные дворянские правила: в мздоимстве не только уличаем, ни даже подозреваем он никогда не был. Они оба, может быть, как и я, смотрели на сии беспорядки, как на следствие несчастной необходимости и извиняли их уже верно гораздо более, чем я. Желая облагородить гражданскую службу, Сперанский думал сделать сие посредством просвещения. По нужде в добром согласии с закоренелыми в лихоимстве умными людьми, Голиковым, Позняковым и другими, он в то же время хотел в иных правилах воспитывать новое поколение чиновников, которое мысленно составлял он из людей неизвестного происхождения. Но на них действовать мог он не сам, а чрез приятелей своих, подчиненных и сотрудников, Магницкого, Лубяновского, потом Кавелина и других приверженцев, кои вместе с европейским образованием проповедывали и европейскую безнравственность.

Канцелярии министерств должны были сделаться нормами и рассадниками для присутственных мест в губерниях. И действительно, молодые люди, преимущественно воспитанники духовных академий или студенты единственного московского университета, принесли в них сначала все мечты юности о благе, об общей пользе. Жестокие строгости военной службы при Павле заставили недорослей из дворян искать спасения в штатской, а запрещение вступать в нее еще более их к тому возбудило; но по прежним предрассудкам все почти кинулись в иностранную коллегию; тут вдруг, при учреждении министерств, явилась мода в них из нее переходить. Казалось, все способствовало возвышению в мнении света презираемого дотоле звания канцелярских чиновников, особенно же приличное содержание, которое дано

было бедным, малочиновным людям и которое давало им средства чисто одеваться и в свободное время дозволительные, не разорительные, не грубые удовольствия.

Таким образом для нашего сословия начался третий период. Несколько лет все шло как нельзя лучше, и те, которые веруют в усовершенствование рода человеческого, должны были на то смотреть с удовольствием. Столь прекрасные начала стали мало-по-малу изменяться; духом нечестия, коим исполнены были преобразователи, заразилось зреющее в делах юношество; сохранявшие прежние предрассудки, по большей части из дворян, были тщательно устраняемы от должностей и принуждены были удаляться. Когда в 1807 году курс на звонкую монету стал вдруг упадать, и служащие начали получать только четвертую долю против прежнего, тогда бедность сделалась вновь предлогом и извинением их жадности. Либерализм и неверие развратили их умы и сердца, и цитаты из священного писания, коими прежние под'ячие любили приправлять свои разговоры, заменились в устах их изречениями философов восьмнадцатого века и революционных ораторов. С распространением просвещения, с умножением роскоши, усовершенствовалось и искусство неправедным образом добывать деньги; далее нынешнего оно, кажется, итти не может.

С самого основания своего Петербург, главное звено, пристегнувшее Россию к Европе, представлял вавилонское столпотворение, являл в себе ужасное смешение языков, обычаев и нарядов. Но могущество народа, коего послушным усилиям был он обязан своим вынужденным, почти противоестественным существованием, более всего в нем выказывалось: русский дух не переставал в нем преобладать. В наружной архитектуре домов своих, как и во внутреннем их украшении, богатые и знатные люди старались подражать отелям Сен-Жерменского предместья; но все это было гораздо в большем размере, как сама Россия. Заморские вина подавались за столом, но в небольшом еще количестве и для отборных лишь гостей, а наливки, мед и квас обременяли еще сии столы. Французские блюда почитались как бы необходимым церемониалом званых обедов, а русские кушанья, пироги, студни, ботвиньи оставались привычною,

любимою пищей. По примеру Москвы, в известные храмовые праздники лучшее общество не гнушалось еще, в длинных рядах экипажей, являться на так называемых гуляньях; оживляемое каким-то сочувствием, оно с чрезвычайным удовольствием смотрело на народные увеселения. В образе жизни самих царедворцев и вельмож, а тем паче чиновников и купечества, даже в Петербурге, все еще отзывалось русскою стариной. При Петре великом Европа начала учить нас, при Анне Ивановне она нас мучила; но царствование Александра есть эпоха совершенного нашего ей покорения. Двадцатипятилетние постоянные его старания, если не по всей России, то по крайней мере в Петербурге, загнали чувство народности в последний, самый низший класс.

Молодых эмигрантов, служивших у нас тогда в гвардии, с которыми я тут познакомился, можно было почитать цветом Франции. Сии школьники несчастия были скромны, вежливы, приличны, хорошо учились и во всех суждениях, исключая о революции своей, были или основательны, или остроумны. В них было нечто девственно-религиозно-мужественное; видно было, что они хотели осуществить собою тот идеал совершенства древних рыцарей, который представляли романы, но который история так жестоко заставляет исчезать.

Старые грешники, с поношенными ленточками и поломанными крестиками св. Людовика, были смешны, следственно забавны; молодые люди были достойны уважения, любезны и привлекательны. Одни меня тешили, и я их за то любил; другие казались мне неподражаемым примером, и я их сердечно уважал. Все это рождало во мне пристрастие, которое прежде имел я ко всему французскому. В это же время начал я упитываться злостью против Бонапарта, офицеришки, который не дерзал еще тогда воссесть на престоле великого Людовика четыренадесятого, но уже шел к нему большими шагами.

Теперь несколько слов о тогдашних нарядах мужских и женских. Мода, которой престол в Париже и которая, по-видимому, так своенравно властвует над людьми, сама в свою очередь слепо повинуется господствующему мнению в отчизне своей, Франции, и служит, так сказать, ему выражением. При Людовике XIV, когда он Францию поставил

с собой на ходули, необ'ятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружева, висящими концами прикреплялись к галстукам; женщины тонули в обширных вертюгаденах, с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами; везде было преувеличение, все топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Людовике XV, когда забавы и амуры сменили славу, платья начали коротеть и суживаться, парики понижаться и наконец исчезать; их заменили чопорные тупеи, головы осенились голубиными крылышками, ailes de pigeon. При несчастном Людовике XVI, когда философизм и американская война заставили мечтать о свободе, Франция от свободной соседки своей Англии перенесла к себе фраки, панталоны и круглые шляпы; между женщинами появились шпенцеры. Вспыхнула революция, престол и церковь пошатнулись и рухнули, все прежние власти ниспровергнуты, сама мода некоторое время потеряла свое могущество, ничего не умела изобретать, кроме красных колпаков и бесштанства, и террористы должны были в одежде придерживаться старины, причесываться и пудриться. Но новые Бруты и Тимолеоны[1] захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность: пудра брошена с презрением, головы завились а-ла-Титюс и а-ла-Каракала [римские императоры], и если бы республика не скоро начала дохнуть в руках Бонапарте, то показались бы тоги, сандалии и латиклавы. Чтó касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая оделась Корнелией, которая Аспазией. Итак, французы одеваются, как думают; но зачем же другим нациям, особливо же нашей отдаленной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, их ливрею? Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно

---

[1] Брут — один из главных участников убийства Цезаря. Тимолеон — греческий государственный деятель V века до нашей эры, последовательный ненавистник тирании, восстановил в Сиракузах демократическое правление, известен своим бескорыстием и справедливостью.

было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этруские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было бы так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы[1], они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну, что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны.

После расхищения гардемёбля, по увезении эмигрантами всех легковесных драгоценностей, кажется, не оставалось во Франции ни одного камушка. Фортуны раздробились, сравнялись; новые, кои война и торговля потом так быстро создали, не успели еще составиться, и женщины, вместо алмазов, принуждены были украшаться камнями и мозаиками, их мужьями и родственниками награбленными в Италии. Нам и тут надобно было подражать. Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и купчихам. За неимоверную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее.

О мужском платье говорить много нечего. С тех пор как я себя помню, умы портных и франтов вертятся около вечных, несносных, кургузых и непристойных фраков: то подымется, то опустится лиф или воротник, рукава сделаются то уже, то шире, то длиннее, то короче. Никак не могут дойти, чтобы чем-нибудь более живописным заменить сей неблагообразный костюм.

В области моды и вкуса, как угодно, находится и домашнее убранство или меблировка. И по этой части законы предписывал нам Париж. Штофные обои в позолоченных рамах были изорваны, истреблены раз'яренною его чернию, да и мирным его мещанам были противны, ибо напоминали им

[1] Многие сделались тогда жертвами несогласия климата с одеждой. Между прочим прелестная княгиня Тюфякина погибла в цвете лет и красоты. Авт.

отели ненавистной для них аристократии. Когда они поразжились, повысились в должностях, то захотели жилища свои украсить богатою простотой и для того, вместо позолоты, стали во всем употреблять красное дерево с бронзой, то есть с накладною латунью, чтó было довольно гадко; ткани же шелковые и бумажные заменили сафьянами разных цветов и криколиной, вытканною из лошадиной гривы. Прежде простенки покрывались огромными трюмо с позолотой кругом, с мраморными консолями снизу, а сверху с хорошенькими картинками, представляющими обыкновенно идиллии, писанными рукою Буше или в его роде. Они также свои зеркала стали обделывать в красное дерево с медными бляхами и вместо картинок вставлять над ними овальные стекла, с подложенным куском синей бумаги. Шелковые занавеси также были изгнаны модою, а делались из белого коленкора или другой холщевой материи с накладкóю прорезного казимира, по большой части красного, с такого же цвета бахромою и кистями. Это мода вошла к нам в конце 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годов. Павел ни к кому не ездил и если б увидел, то, конечно, воспретил бы ее, как якобинизм.

Консульское правление решительно восстановило во Франции общество и его пристойные увеселения: тогда родился и вкус, более тонкий, менее мещанский, и выказался в убранстве комнат. Все делалось а л'антик [под древность] (открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало). Парижане мало заботились о Лионе и его мануфактурах, но правителю Франции надобно было поощрить их: и шелковые ткани опять явились, но уже попрежнему не натягивались на стенах, а щеголевато драпировались вокруг них и вокруг колонн, в иных местах их заменяющих. Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашеное и лакированное дерево давно уже забыто, гадкая латунь тоже брошена; а красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигурами прекрасной отработки, лирами, головками: медузиными, львиными и даже

бараньими. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те вещи, кои у древних были для обыкновенного, домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением; например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились, и лампы в древнем вкусе, с своими длинными носиками, никогда не зажигались.

Теперь от внутреннего убранства перейдем к наружному, то есть к архитектуре. В ней также воскрес вкус римской и греческой древности. Когда у персидского посла в 1815 году спросили, нравится ли ему Петербург? он отвечал, что сей только что вновь строящийся город будет некогда чудесен. Это скорее можно было сказать в начале царствования императора Александра, а еще скорее в нынешние годы. Тогда в одно время начинались конно-гвардейский манеж и все, по разным частям города рассеянные великолепные гвардейские казармы, и огромная биржевая зала, одетая в колонны, с пристанью и набережными вокруг нее, и быстро подымался Казанский собор с своею рощей из колонн и уже приметно передражнивал церковь св. Петра в Риме; обывательские же трех- и четырехэтажные каменные домы на всех улицах росли не по дням, а по часам. В то же время чистили и делали судоходною речку Пряжку, бока Мойки выкладывали камнем и перегибали через нее чугунные мосты; по Невскому проспекту и на Васильевском острову протягивали булевары и, наконец, от самой подошвы перестраивали заново старое кирпичное, с земляным валом, адмиралтейство. Так как государь единственным, любимым своим летним местопребыванием избрал небольшой Каменноостровский дворец, то вдруг прервалось угрюмое молчание окрест лежащих островов. Везде на них застучали топор и молот, и засвистела пила; болота их осушились и поросли дачами. Можно себе представить, какая строительная деятельность была тогда во всем Петербурге.

Четыре архитектора были тогда известны: двое русских, Захаров и Воронихин, итальянец Гваренги и француз Томон.

Первый из них, по части зодчества, в художественной нашей истории стоит пониже поэта в архитектуре, Баженова, и наравне с Старовым и Кокориновым. Надобно было его искусство, чтобы растянутому фасаду адмиралтейства дать тот красивый вид, ту правильность и гармонию, которыми поныне любуемся. Другой же, Воронихин, был холоп графа Строганова, президента Академии и мецената художеств; а как в старину баре, даже и знатные, отдавали мальчиков в ученье, не справляясь с их склонностями, то, вероятно, и Воронихин[1], природой назначенный к сапожному ремеслу, учением попал в зодчие. И он по рекомендации своего господина построил Казанский собор, этот копиист в архитектуре, который ничего не мог сделать, как самым скверным почерком переписать нам Микель-Анджело. Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу. Этот человек соединял все, и знание и вкус, и его творениями более всего красится Петербург; к сожалению, в это время, кажется, его ни на что̀ не употребляли. Мусью Томон или Томас де Томон, как он подписывался и печатался, был человек не без таланта, как то доказывается построенною им Биржею. Он также был известен как бешеный роялист и пламенный католик; земляки его, среднего состояния, составлявшие религиозно-легтимистскую[2] партию, которая бескорыстно стояла за трон и церковь, говорят, все у него собирались.

Был еще один француз архитектор, конечно, гораздо выше других товарищей своих в искусстве, которые с тех пор к нам из Франции пожаловали. Это Камерон, построивший царскосельскую колоннаду, который тогда был жив, здоров и находился в Петербурге. Непонятно, как, имея в своем распоряжении Гваренги и Камерона, можно было что-

---

[1] Андр. Никиф. Воронихин (1759—1814) из крепостных графа А. С. Строганова (отца П. А.), который заметил его дарование и отправил учиться в Петербург, а затем в Париж и дал ему в 1786 г. отпускную. Построил Казанский собор (1801—1811), много интересных зданий в Петербурге и окрестностях; придерживался стиля итальянского Возрождения и псевдо-классицизма.

[2] Признающие только так называемую законную, наследственную монархию.

нибудь великое поручить Воронихину? Тут бы национальность в сторону: с такими людьми народная слава скорее теряет, чем выигрывает.

Безо всякого дела, как настоящий фланёр, часто посещал я публичные работы, которые мне как будто были приказаны. Как это занимало меня, дивило, восхищало! И возможно ли перемениться так в чувствах? Ныне без сердечной горести, без глубокого уныния не могу я видеть, как громоздятся у нас дворцы и храмы. Всякий раз, что̀ взгляну я на них, невольно вспомню, что крытый соломою Рим покорил вселенную, а когда вздымались в нем Колизей, Нероновы бани и Адрианов мавзолей, то начали появляться варвары и отхватывать отдаленные его провинции; вспомню, что среди развалин сего самого Рима возникла папская власть, которая распространилась по всему христианству, а когда соорудился Ватикан и храм апостола Петра стал возноситься на удивление всего просвещенного христианского мира, бо̀льшая его половина оторвана от него Лютером и Кальвином; вспомню, что построение Аламбры незадолго предшествовало покорению Гренады, и с того времени как поднялся Эскуриал, начался постепенный упадок Гишпании[1]; вспомню также, что святая София, Ипподром и Влахернский дворец [в Константинополе] созидались почти в виду неприятельских станов. Наконец, спрошу у себя, на чью славу простояли века египетские пирамиды, когда переменно они делались добычею Камбиза, Александра великого, Юлия Кесаря, Омара, Наполеона, и ныне, под именем Мегемета-Али, неизвестно кто владычествует над ними: турки, французы или англичане? Нет, роскошь, расточительность не есть величие царское, и огромные здания изящной архитектуры — часто одни только великолепные занавесы, закрывающие народную нищету.

В длинном ряду воспоминаний, кои так тревожат, утомляют душу, встречаются изредка такие, на коих она отдыхает, сладостно успокоивается; в числе их находится у меня

[1] Альгамбра — цитадель в Гренаде, замечательный памятник мавританской архитектуры. Эскуриал — знаменитый дворец-монастырь в Испании, недалеко от Мадрида; испанцы называли его чудом света.

и [инженер-генерал] Петр Корнилович Сухтелен, которого едва ли я чувствую себя достойным изобразить. Он был росту небольшого, несколько сутуловат, имел лицо чистое, на котором еще в старости играл румянец, и голос, коему небольшой недостаток в произношении (вместо *ш* говорил он всегда *с*) придавал еще более приятности. С кипящим любовью к доброму сердцем, при неутомимой деятельности, наружность его сохраняла спокойствие, почти неподвижное, озаряемое легкой улыбкой. Этот человек ужасал своим знанием, но так был скромен, что не только пугать, но даже удивлять им никого не думал. Страсть к учености была в нем тихий, неугасаемый жар, его жизнь, его отрада, коею готов он был делиться со всеми, кто более или менее поклонялся светильнику наук. Тот, кто, казалось, не обидел бы мухи, в поле был неустрашимый воин, и всеведущий сей в обществе невежд был ласков, приветлив, не давая подозревать о своем знании. Все математические науки, все отрасли литературы, философия, богословие равно ему были знакомы; в художествах был он верный и искусный судья. Но как успевал он копить сокровище своего знания, когда половина дня поглощаема у него была занятиями по службе — это сущая загадка.

Раз в неделю должен был я у него обедать и, наконец, удостоился быть в его кабинете-библиотеке, который заслуживает быть описанным. Можно представить себе мое изумление, когда вошел я в бывшую тронную залу императора Павла [в Михайловском дворце]. Она была в два света; на великолепно расписанном плафоне изображен был Юпитер-громовержец и весь его Олимп; под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств российских; место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним резным фигурам, и огромное зеркало в 12 или 13 аршин вышины было в числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы, даже не покрыты краскою; вдоль оных до половины их вышины тесно поставлены были выкрашенные простого дерева шкапы без стекол и занавесок. А между тем их полки поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил: кажется, одни эльзевиры [первопечатные редкостные книги] были без счету. На середине залы стояли, один за другим, престрашные

столы с ящиками до полу, которые в недрах своих хранили другие сокровища: редкие рукописи, собрания эстампов и медалей, а сверху были обременены нерасставленными еще фолиантами. Память о покойном государе была так еще свежа, что я невольно вздрогнул, и была минута, в которую мне показалось, что разгневанная тень его пронеслась по мирному кабинету мудреца. Какая противоположность! Там, где еще недавно с трепетом проходили царедворцы, там ежедневно по целым часам блаженствовал муж добра и науки.

Он был настоящий библиоман. Это такого рода роскошь, на удовлетворение коей более всего потребны время и расчетливость. Генерал Сухтелен, не бедный и не богатый, всю жизнь свою употреблял половину доходов на покупку книг и по смерти своей наследникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо ни один частный человек не в состоянии был купить ее.

В обществе его, обыкновенно составленном из знаменитых путешественников, художников и ученых, мог я тогда быть только слушателем.

Изо всех юношей-ровесников чаще всех видел я тогда [Д. Н.] Блудова, товарища моего по службе в московском архиве. Ни в образе воспитания, ни в характере, ни в привычках, ни в склонностях, ни в чем у нас ничего не было общего; мы отправились с столь различных точек, что, казалось, никогда сойтись не можем. Единственный сын нежной, умной, попечительной и хворой матери, коей был он и единственною отрадой и упованием, он никогда еще не разлучался с нею, вырос, так сказать, в теплице ее заботливости, в тесном кругу людей ею избранных. Я в Киеве получил, можно сказать, площадное воспитание; гостиная моих родителей была волшебный фонарь, где беспрестанно одни проезжие фигуры сменяли другие, был потом в публичном заведении, жил по чужим домам и из'ездил уже почти половину России. Но в некоторых отношениях наше положение в Петербурге было сходно: наше одиночество, самолюбие, которое не допускало нас искательством приобретать полезные знакомства, все это нас сблизило.

Еще и доныне благодарю я провидение, пославшее мне наставника, едва вышедшего из отроческих лет. С самого

рождения видел я в отце пример всех добродетелей; но они стояли так высоко передо мною, что я не смел надеяться до них когда-либо возвыситься; в отчаянии, в пренебрежении к самому себе, я почитал себя добычей, обреченною пороку. Если бы был я тогда в частых сношениях с угрюмым педагогом, который бы ежедневно проповедывал мне о моих обязанностях, то еще бы более утвердился в сем мнении. Но мне предстала нравственность в самом милом виде: тот, которого год или два назад знал я умненьким шалуном, ничего не утратив из веселонравия своего, живости, остроумия, словом и делом строго повиновался всем уставам чести и добродетели.

Мне предстоит подвиг трудный: изобразить этого человека. Если, увлекаясь пристрастием, умолчу я о слабостях его, то что̀ будет с истиною, с данным мною обещанием? И как нет ничего совершенного в мире, то какое правдоподобие будет иметь мой рассказ? А говорить о его недостатках куды не хочется! Впрочем, мне бояться нечего: они так потоплены блистательными, редкими, в наше время необычайными качествами, что покажутся разве как родимое пятнышко на красивом лице.

Природа создала его порочным. Она сделала более, она открыла в нем два главных источника всех пороков: гордость и леность; но в то же время вложила в него искру того небесного огня, от которого, рано или поздно, сии источники должны были иссякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность быстро воспламеняться от малейшего прикосновения всего изящного в нравственном мире. Непорочная любовь с ее чистейшими, нежнейшими восторгами и дружба, весьма немногим прежде, ныне же почти никому непонятная, и вера с ее тихими неземными наслаждениями, и честь со всею строгостью ее законов, и патриотизм со всею возвышенностью чувств, им возбуждаемых, обхватили и проникли сию почти отроческую душу. Все в ней сделалось поэзия, и страсть к ее произведениям была главнейшею в первой молодости Блудова. Может быть, она отвлекла его от других занятий, в мнении света более полезных; но она очаровала его юность, расцветила воображение и спасла его сердце от жестокого эгоизма, к которому, греха таить нечего, оно имело наклонность. Время

не могло истребить счастливых впечатлений, сею первою эпохою жизни оставленных; их не могло совершенно подавить бремя государственных дел, и не остыли они от холода лет и высшего общества, в котором живет он. И вот почему в России, увы! он почти единственный государственный человек, который о благе ее мечтает более, чем о почестях.

Не надобно забыть, что восемнадцатый век едва только кончился в то время, о котором пишу. В то время неверие почиталось непременным условием просвещения, и целомудрие юноши казалось верным признаком его слабоумия. Итак, Блудову предстояла борьба не только с самим собою, но и с мнением большинства людей. Он не хвастался своими чувствами, но и не скрывал их; все это в молодом мальчике не показывает ли и силу характера и силу убеждения? Правда, на мерзости людские смотрел он не совсем по-христиански, не с братским соболезнованием, не только с гордостью и презрением, но и с постоянною досадой, и эпиграммы, коими язык и перо его были вооружены как иглами, с обоих так и сыпались. И ненависть глупцов уже почтила его в первые годы пребывания его в Петербурге; особенно не взлюбили его молодые люди, много и скверно болтавшие по-французски: они уже дали ему название и мешана, и костика [язвительный, едкий].

Всего более нрав его выказывался в беседах с молодыми друзьями. Приучив себя к какому-то первенству между ними, он часто как будто требовал исполнения воли своей и потом, как бы опомнясь, переходил к неожиданной уступчивости. Глядя со стороны, нельзя было решительно сказать, тиран ли он друзей своих, или их жертва? Это об'ясню я двумя словами: он властвовал над ними умом и покорялся им сердцем.

Этого человека искал я, вместе и страшился. Трусости сей я не краснею и ныне готов ею похвалиться: я боялся его как совести своей. В одном чувствовал я превосходство свое перед ним: мне жаль было видеть, как, при уме его, мог он с таким участием, иногда с восхищением, говорить о русской словесности; мне казалось, что между высокопарноскучным церковным и стихотворным языком нашим и гадким языком простонародья неизмеримое пространство, на средине коего, как едва приметная точка, стоял Карамзин.

Какой тут быть прозе, каким стихам, думал я, и стбит ли о том говорить? Зато в мыслях о Франции и энтузиазме к ней были мы совершенно согласны; в этом он был мой оракул, а Лагарп[1] его законодатель. И тут являлось его правоверие: роялизм был его политическою, а классики литературною верой.

Кажется, более всего соединяла нас в это время страсть к французской сцене, которая во мне доходила до безумия. Мне случалось не допивать, не доедать; случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы последний медный рубль нести в театр: там была вся услада, все утешение моей жизни; там я был уверен встретить Блудова, и мы оба во всем смысле могли называться пилястрами партера, как говорят французы.

И вот тут-то примусь я описывать со всею подробностью (читай меня, иль не читай) любопытнейшее занятие праздной моей молодости. Я говорил уже о петербургском театре при Павле первом, когда я только что прозрел его. Вскоре после кончины сего императора удалилась или была выслана красавица-певица Шевалье с балетмейстером мужем своим, и опера без нее осиротела. Прошел траурный год, в продолжение коего придворные актеры не могли являться на сцене, и о театре, до которого император Александр никогда не был большой охотник, как будто позабыли. Но когда весною 1802 года он опять был открыт, среди всеобщего стремления к веселостям, тогда все почувствовали необходимость его в столичном городе. Для самого государя, тогда еще совершенно молодого, публичные увеселения имели еще некоторую заманчивость. Каменный или Большой театр, воздвигнутый в Коломне при Екатерине, велено архитектору Томону перестроить заново и с большею против прежнего роскошью; а покамест, дабы не прерывать представлений, отыскан деревянный или малый театр, никому неизвестный, построенный великолепным князем Потемкиным на дворе принадлежавшего ему Аничковского дворца. Сам директор императорских театров, расточительный обер-камергер На-

[1] Жан-Франциск Лагарп (1740—1803), известный французский критик и историк литературы. До революции — сторонник ее, после 1893 года — ярый противник.

рышкин, отправился в примиренный с нами Париж и навербовал там два или три комплекта артистов всякого рода. Все наехало, все поспело в последние месяцы сего 1802 года, первые пребывания моего в Петербурге. Перестроенный Большой театр открыт 30 ноября; меня чуть не задавили при входе, и я все-таки в него не попал. Несколько дней спустя, было воскресение французской оперы, то есть первый дебют знаменитой у нас Филис.

Незабвенная Филис! Какими я блаженными минутами ей обязан! Девять лет сряду восхищала она меня. Но не подумайте, читатель, чтоб я в нее хотя сколько-нибудь был влюблен; это было невозможно, во-первых, потому, что я никогда вблизи ее не видывал, и потому, во-вторых, что на самой сцене, несмотря на оптический обман, она мне казалась более дурна, чем хороша собою. Она была уроженка из Бордо и 24 лет, когда к нам приехала. Всем известно, что под жарким южным небом все сладчайшее, плоды и женщины, зреет гораздо ранее, чем у нас, и, несмотря на молодые свои годы, моя Филис казалась едва ли не перезрелою. У нее же был длинный нос и смуглое лицо, чего я терпеть не могу. Но все, что только может заменить свежесть и красоту, все в ней находилось; все было пленительно, очаровательно: и взгляд ее, и поступь, и игра, и голос, когда она им говорила, и уменье владеть им, когда она пела, и уменье наряжаться со вкусом. Никто не влюблялся в нее как женщину, все обожали как певицу и актрису. В Париже прелести ее ценились выше, чем у нас; они произвели страсть и гонения брата Бонапарте, Иеронима. Видно, что власть семейства первого консула была очень велика, ибо свободе Андриё (мужа или любовника Филис) угрожала опасность, и они, сделав условия с Нарышкиным, тайно бежали в Россию.

Этот Андрие был только что молодец собою: его приняли как тенора, но мудрено было сказать, какой у него голос. Я бы назвал его безымянным голосом. Он воображал, что поет, когда кричит под музыку, и играет, когда яростно размахивает руками. За благом последовали кучи золы, которые принуждены мы были выносить! Скоро привалило все семейство Филис, отец, мать, два брата и сестра. Сия последняя одна могла почитаться сносною; ее звали madame

Bertin; она была моложе, лучше старшей сестры, имела огромный голос, но петь была не мастерица.

Это еще не все: за госпожою Бертен последовал тайный или скорее явный друг ее сердца, молодой, обедневший от революции французский дворянчик. Уверяли, что он какой-то граф де-Монлор; что за дело до этого; мы узнали и видели его на сцене под принятым им именем Сен-Леона; играл он очень плохо, но голос и лицо имел хорошенькие.

От прежней при Павле выписанной труппы оставалось четыре лица: тенор Буржуа, вторая певица Монготье, шутиха Леруа и бас Шатофор. У Буржуа было действительно какое-то мещанское неуклюжество; голос чистый, верный, но метода прескверная, старинная французская. Г-жа Монготье довольно изрядно пела, но употребляла во зло дозволение, которое имели тогда певицы — быть безобразными, не уметь ни ходить, ни говорить, ни одеваться. Старуха Леруа дерзала иногда браться за серьезные роли, но даже и в них умела быть неблагопристойною, голос же ее был изломаннее и старее ее лет и ролей. Шатофор ниже посредственности. На этой четверке выезжала только дирекция протекшим летом, чтобы давать кой-какие оперетки: иногда, когда число действующих лиц того требовало, заимствовалась она из комической труппы крикунами и визгуньями. По приезде Филис еще долго она одна только скрашивала собою все оперы.

В продолжение 1803 года не проходило почти недели, чтобы не было на французском театре дебюта и одной или двух новых пьес. В аристократическом обществе, между нашими боярами, были французы и француженки разных времен и возрастов. По их требованию, в угождение им, начали отыскивать все современные им музыкальные произведения и стали восходить до Монсиньи и Рамò; к счастью, современников Лулли никого уже не было. Глюк и Пиччини мирно встретились у нас на одной сцене, пропетые одними и теми же артистами, и одни и те же зрители, не давая одному перед другим преимущества, обоим с одинаковым равнодушием рукоплескали. Только для немногих «Ифигения», «Орфей» и «Эдип в Колоне» воскрешали былое; когда хором запели: «Achille sera votre époux» [Ахилл будет вашим супругом], говорят, старик граф Строганов затрепетал от

восторга; когда Андриё, играя Блонделя в «Рихарде Львином Сердце», несносным голосом своим затянул «O Richard, o mon roi» [О Ричард, о мой король], одна престарелая княгиня, пораженная воспоминаниями, в ложе своей зарыдала. Для нашего же поколения Грётри казался уже ветх, и неистощимый Далейрак был часто несносен. Но что̀ я говорю о нашем поколении! Поминками о Филис не похож ли я на тех, о коих сейчас говорил? С тою, однако же, разницей, что музыка, от коей в молодости был я вне себя, является мне ныне изредка и против воли моей, как старая, давно забытая любовница, вся в сединах и морщинах.

Этот 1803 год познакомил меня со всеми тогдашними композиторами: я узнал Николо и Бертона и Крейцера. Видно, был во мне врожденный вкус, ибо рев и стон больших французских опер с их речитативами казался мне нестерпим; но этот вкус еще не образовался, и одна только легонькая французская музыка новых комических опер пришлась мне по духу. Например, Мегюль менее других, а Херубини и вовсе мне не нравился. Моим кумиром был в то время Боиелдие, а привезенный им тогда самим в Петербург «Калиф багдадский», которого едва можно почтить названием водевиля, казался мне чудом из чудес.

Французская комическая труппа была гораздо выше оперной; как в сей последней, подобно Филис, никто в ней отдельно не блистал; зато она составлена была из артистов почти равного, вообще превосходного достоинства. В ней нашел я прежнюю Вальвиль, игравшую главные роли, больных кокеток. В искусстве своем, сколько припомню, должна была она уступить только девице Марс, целые полвека бывшей гордостью и наслаждением парижан; но высокий ее талант никак не мог примирить меня с ее наружностью; одни снисходительные люди называли ее дурною; она была отвратительна. Первые мужские роли выполнял Лараш, уже не молодой, но стройный и благообразный; все эти недостатки исчезали пред жаром, с которым он играл, перед благородством, с каким он говорил и читал стихи. Для первых молодых ролей мужских и женских была не весьма молодая чета Сенклеров, но оба они, муж и жена, прекрасно знали свое дело. В серьезных амплуа несколько времени еще показывали почтенные развалины Офрена,

пока приезд жирного Делиньи не дал возможности их более не тревожить. Толщина сего последнего, внезапно заменившего сухощавого Офрена, невыгодно к нему всех расположила; он же, разгорячившись, иногда от нее задыхался. Скоро однако же оценили истинный его талант и узнали в нем, даже на сцене, без личного с ним знакомства, почтенного человека, сильно чувствующего всю красоту часто проповедуемой морали. В том, что французы называют rôles à manteau [роли пожилых и степенных лиц], был изумителен, бесподобен старик Дюкроаси: что за веселость в игре! что за вспышки во гневе! и потом что за добродушие! И как почтенно он был забавен! Чтобы говорить, как французы, он как бы нарочно был выстроен для своих ролей, и никто более его так искренне не был любим публикой. Лакейские роли должны обыкновенно принадлежать высоким комикам; у нас тогда были во владении Фрожера, известного фарсёра нарышкинского дома; тогда немногие знали и чувствовали, что он на своем месте, и как он был удивительно смешон, то при всяком появлении его раздавался всеобщий громкий хохот; его очень любили; в Париже едва ли бы он годился в гримасье. Субреток выполняла гадкая дочь его, к счастью, недолго: скоро приехала чудо-актриса Туссень. Вот тут было искусство неподражаемое; в этом ничего подобного ей с тех пор я не видывал; среди отличных собратий своих в комедии она была почти то же, что Филис в опере. Как оконечности сходятся, так и она вышла замуж за одного из двух братьев Мезьеров, двух многолетних подтычек нашего театра, которых любители бостона, модной тогда игры, называли grande et petite misère [большая и маленькая ничтожность].

Я не стану говорить о других весьма хороших и даже превосходных комических и трагических актерах, явившихся к нам в последующие сему годы: о Дюране, о Веделе, Менвиелле, Комане и Гранвилле. Мне интересна, мне более памятна одна только эта эпоха моей сценомании, и всею этою статьею о театре, признаюсь, потешаю себя, а не читателя.

Французские спектакли вне Парижа почитаются его жителями, и не без причины, провинциальными. Актеры в их труппах поневоле должны быть, как метр Жак в «Скупом» Мольера, попеременно кучера и повара; один и тот же че-

ловек играет в комедии, в трагедии, и, пожалуй, в водевиле. При Екатерине трагедия шла особняком, но когда после кончины ее прославленная при ней мадам Гюс последовала в ссылку за сожителем своим, тогда еще не мужем, дипломатом графом Марковым, и Флоридор, ученик Лекеня, уехал из России, и остался один только Офрен, то начали при Павле играть трагедию актеры из выписанной им комической труппы, та же Вальвиль и те же Ларош и Сенклер и, как кажется, не весьма удачно. В начале 1803 года один красивый молодец под именем госпожи Ксавье выступил на сцену в роли Федры; в нем было много женского, например, ни одна актриса не умела так ловко и с таким необыкновенным вкусом одеваться. Шутки в сторону, сия красавица, хотя и гигантка, важно выступала, говорила часто и речисто, ломала Семирамиду, ломалась в Гермионе, но не имела ни малейшего понятия о драматическом искусстве, а если можно, еще менее стихотворном; вытягивала стихи, сжимала их, иногда пропускала и выставляла целые полустишья. А несколько лет владела скипетром, пока не явилась царица истинно законная и не столкнула сию самозванку; тогда, как мастерица наряжаться, она познала истинное свое призвание и на накопленные деньги открыла модную лавку, в которой, кажется, еще и поныне торгует.

В выборе пьес были очень строги. Как главнейшие зрители, так и первейшие актеры были напитаны чистым классицизмом. Когда переиграли всего Корнеля и Расина, Вольтера и Кребильона, тогда только Лешьер и Дюбеллоа начали изредка прокрадываться на сцену. С комедией то же: когда истощился несколько Мольер, Ренар, Детуш и Мариво, тогда, желая угодить любви петербургской публики к новизнам, принялись за Колень, Дарлевиля, Пикара и Дювало: года два-три спустя и второстепенные актеры начали показываться. Но долго, очень долго не знали у нас на французском театре так называемых мещанских или слезных драм.

Водевили, эта помесь комедии с оперой, были в этом году появлением совершенно новым. С ними познакомили нас прихоти Филис, которая выбирала те, где ей представлялись выгодные роли. Всего увидели мы их пять или шесть, в коих примечательны были только «Фаншона» и «Любовники Прочеи».

С французским театром почти неразрывно связаны балеты; они чисто французские произведения. Их составлял тогда и потом блистал в них примечательный Дидло с женою своею. Уверяли, что нашим молодым русским танцовщикам и танцовщицам пòтом и кровью доставалось плясовое искусство: Дидло, всегда вооруженный престрашным арапником, посредством его (как некогда Пото со мною) давал им уроки. Другой танцовщик назывался Дютак, и про него кто-то сказал, что он Нетак. Тогда было не то, чтò ныне: давали одни почти серьезные балеты, плясовые трагедии: «Медея и Язон», «Апеллес и Кампаспа», «Пирам и Тизбе», которые казались еще скучнее нынешних.

Двору и обществу, как ребятам, всего хотелось: все еще им мало было забав. Прежняя итальянская труппа была распущена; им захотелось новой, а как император не был охотник до музыки, как уже сказал я, то без всякого казенного участия дозволил ее только выписать и, вместо всякой другой помощи, велел отдать ей даром, по открытии Большого театра, малый, Аничковский. Антрепренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но не удалось приобрести выгод от своего предприятия; он едва не сделался банкротом, и тогда уже убедили государя бедную труппу взять под свое покровительство и назвать придворною. А если эта труппа не умела сделать Петербурга музыкальнее, то видно никогда ему таким не быть.

Было таких два тенора, Пасквале и Ранкони, каких, мне кажется, дотоле слыхом не слыхано было. Несмотря на искусное свое пение, примадонна Каневасси была им не в меру; через несколько времени надобно опять было призвать старую Маджиорлетти, с ее сильным, молодым и очаровательным голосом, и тогда дело пошло иначе. Давно ли мы здесь видели старого буффа Замбони и любовались им? Можно себе представить, как он тогда в молодости пел и играл. Что за красоточка была у него жена, вторая донна! Она была так хороша собою, что о ее малом, чистом, звонком, приятном, искусном голоске почти не говорили; он как будто был дан ей в придачу к красоте.

Преимущественно играли они тогда музыку Чимароза, Паэзиэлло, Назолини, Фиораванти. Как изучение итальянских опер требует бòлее времени, чем водевилей, то частым

повторением своим они скоро надоели, и в 1806 году совсем прекратилось их здесь существование.

Не знаю, как другим молодым людям, но мне случалось быть в немецком и в русском театре, как и в балаганах о святой, т. е. очень редко. Я винился знакомым, что видел три немецкие оперы, именно: «Волшебную флейту» Моцарта, венскую народную «Донаувейбхен» и весьма забавный фарс «Die Schwestern aus Prag», и надо мной готовы были смеяться. Наша врожденная драматическая литература стояла в глазах наших все-таки выше немецкой; она была по крайней мере бледная копия французской, которая обществом почиталась тогда первейшей в мире. Играли, однако же, немецкие комедии и трагедии перед немецкою публикой, которая в Петербурге всегда бывает многочисленна и которая тогда бредила шиллеровыми «Разбойниками» и «Дон-Карлосом». В это время (да полно, не так ли и ныне) на немецком языке все серьезное казалось мне нестерпимым, все пристойно-веселое скучным, все нежное отвратительным; нравились мне одни только фарсы. Вот отчего остались у меня в памяти только два искусные забавника, Штейнберг и Линденштейн, да еще молоденькая певица, демоазель Брюкль, совсем не забавная, но примечательная по огромному голосу своему, не скажу, приятному, и по немецкой постоянности, с какою слушали ее в одних ролях более тридцати лет и с какою она занимала их.

Русский театр, в первые два-три года Александрова царствования, оставался еще российским театром, созданным Сумароковым, и почти не подвигался вперед. Незадолго до приезда моего, представление одной новой пьесы «Лиза» или «Торжество благодарности», весьма ничтожной и давно забытой, было важным происшествием и возбудило не только внимание, но и удивление публики, и автор г. Ильин удостоился чести совершенно новой, дотоле у нас неслыханной: его вызвали на сцену. Ободренный сим примером, другой, столь же неизвестный автор г. Федоров следующею весною вывел свою драму, другую Лизу, взятую из «Бедной Лизы» Карамзина, но имел успех уже посредственный. Недолго жалкие сии люди одни владели русскою сценой, пока не явились сперва Крылов, а вскоре потом и Шаховской и продлили цепь русских комиков, прерванную смертью Княж-

нина и Фон-Визина и молчанием Капниста. Крылов, с которым я тогда редко и довольно сухо встречался, перестал уже жить по добрым людям и испытывал силы свои в разных литературных родах. Каждый бы ему дался, и тому служат доказательством две написанные им в это время комедии: «Урок дочкам» и «Модная лавка». Но чтобы на этом поприще достигнуть возможного совершенства, недоставало ему одного — прилежания. Басни избрал он не потому, чтобы почитал их единственною стезею, могущею вести его к известности и славе, а потому, что находил ее удобнейшею, легчайшею и прибыльнейшею[1]. О Шаховском, с которым я после так коротко был знаком, о его слабостях и достоинствах нахожу, что здесь еще не место говорить.

Чтó сказать о лицедеях наших того времени? Начнем с трагических, с Яковлева и Каратыгиной. Первому искусство ничего не дало, природа все: мужественное лицо, высокий, стройный стан, орган звучный и громкий, но всеми дарами ее не умел он воспользоваться. Я не виню его. Говорят, что у Дмитревского не было образцов; напрасно: он видел их за границей и по ним образовал природный дар свой, весьма необыкновенный. Когда он воротился и показался на сцене, в Петербурге не было ни одного иностранного театра, и он имел судьями и зрителями двор, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлев играл перед многочисленною толпой, в которой самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе к простонародью, даже к черни. Как актеру не искать рукоплесканий? И как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант? А как в этом роде посредственности быть не может, то Яковлев был мало сказать что плох, он был скверен. От неистовых криков и частого употребления водки голос его осип, и он свирепствовал истинно карикатурно.

Подруга его на сцене и, как утверждали, в домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохого актера, игравшего молодых людей в комедии, была довольно красива, но

---

[1] На вопрос одного умершего ныне поэта, который спрашивал его: отчего он басни предпочел другим стихотворениям, он отвечал: «Этот род понятен каждому; его читают и слуги и дети... ну, и скоро рвут». Авт.

играла нехорошо, все всхлипывала, и не глаза, а горло казалось у нее вечно исполненным слез.

Кто знает? Ныне, может быть, ими бы восхищались; так мнения и вкусы переменились. Трагедий было мало; все прежние, майковские, николевские и даже некоторые сумароковские брошены, а об Озерове еще не было слышно. Играли покамест плохо переведенные, чудовищные немецкие драмы, и ими обуревался и им хлопал площадный партер.

В мире был когда-то народ, у которого чувство изящного проникло во все состояния; он давно уже исчез. Был другой народ, завоевавший богатства целого света и в числе их, как сокровище, захвативший у первого чистоту и строгость вкуса его; от него осталось его громкое имя. После столетий, этот правильный вкус явился у третьего народа, некогда второму подвластного. Ознаменованные печатью сего вкуса литературные произведения его распространили его влияние и язык по всей Европе, и прежде нежели мечом посягнул он на свободу народов, уже ему покорила их лира. Когда этот народ стал терзать себя и соседей и все опрокидывать, еще высоко стояла среди него сия венчанная лира, и он не переставал ей поклоняться; теперь она не разбита, но валяется в прахе. Нет, классицизм и желание владеть миром не могли быть врожденным чувством у потомства легкомысленных галлов и черствых франков; первый был одно подражание и долго господствовавшая мода; другое родилось и умерло в голове единого человека, итальянца, потомка римлян [Наполеона]. Когда Европа уняла Францию, то несколько времени она гневалась, волновалась, но неприметным образом принимала уставы своих соседей, англичан и немцев; все готфско-тевтоническое, как нечто родное и так непринужденно, в ней возобладало и выдавило, так сказать, мечты о древнем величии Рима. Тем лучше! Я чуть было не сказал: для нашей будущности, но вспомнил и наше идолопоклонство не одной уже Франции, но в совокупности с ней целой Европе.

Какое отступление! И все это по случаю игры Яковлева, правда, непонятого и опередившего свой век. Теперь немного слов еще о тогдашнем нашем театре. Комедия шла немного лучше трагедии. Рахманова, в ролях сердитых, сварливых старух, какими были тогда в русских провинциях все

старухи (от бездействия и скуки терзавшие все им подвластное) и Пономарев, олицетворенное под'ячество, были оригинально забавны. Между не выпущенными еще воспитанниками и воспитанницами тогда уже существовавшей театральной школы начинали в комедии являться талантики.

Певцы и певицы были достойны играемых тогда русских опер. Но между ними было нечто чрезвычайно примечательное, нечто совершенное, это буфф в русском роде, Воробьев. Он смешил когда он пел, когда он говорил, когда он стоял, смотрел, даже когда он только показывался на сцене. Жена его, толстенькая, слабоглазая и неуклюжая, занимала первые роли, обыкновенно царевен и княжон. Когда число действующих лиц того требовало, то голоски брали напрокат из театральной школы.

От русского театра весьма естественным образом переходишь к тогдашней русской литературе. Сжатая при Павле, омелевшая до шаликовской приторности при Александре, она стала возвышаться и течь с быстротою. Еще должен повторить, что я совсем ею не занимался, и если что̀ узнал о самом современном ходе ее, то по изустным преданиям Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратце описать тогдашнее ее состояние. Она, как всем известно, родилась в Петербурге; все прежние сочинители, от Ломоносова до Державина и от Тредьяковского до Хвостова, в нем образовались, жили, служили и писали. Позднее Москва сделалась ее центром, и она тем обязана постоянному пребыванию двух знаменитых писателей в стихах и прозе, Дмитриева и Карамзина. С тех пор все лучшее в нашей словесности родится и произрастает там, плоды же собирает Петербург. С воцарением Александра, после тягостного сна, все благородное воспрянуло, и Карамзин, столь привлекательный в своих безделках, прилежно и сильно принялся за дело. Он сделался первым издателем первого у нас журнала, достойного сего названия. Его «Вестник Европы» начал нас знакомить как с ее произведениями, так и с нашею древностью. Какое мужество, какое терпение и какое бескорыстие были потребны Карамзину! Какая бедность в материалах! Какой недостаток в сотрудниках! Какое малое число подписчиков, и какая низкая цена за издание! Едва прикрывались издержки, а труд шел почти даром. Он принужден был почти один постоянно за-

ниматься, сочинять, переводить. Но великий писатель достигнул своей цели; он водрузил знамя, под которое стали собираться молодые таланты и развиваться под его сенью. Между тем и самый слог Карамзина, дотоле красивый, стройный, милый, как прелесть молодости, среди упорных, вседневных трудов приметным образом стал укрепляться и подниматься, и во всей мужественной красоте явился в героеженщине, Марфе Посаднице. «Вестник Европы» становился слишком приманчив, чтобы быстро не умножилось число его читателей и подписчиков; тогда только, когда Карамзин мог ожидать себе от него прибыли, предоставил он его людям, его учением образованным.

В это же время (и все в той же Москве) сделались известны два молодые стихотворца, Мерзляков [А. Ф.] и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому императору при получении известия о кончине Павла, и она найдена лучшею из десяти или пятнадцати других, написанных по случаю сего происшествия. Далее слава его не пошла; известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете, много и правильно писал; но читали его без удовольствия. Впоследствии я тоже попытался и нашел в нем мало вкуса, много педантства.

Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я раз сказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нем наслышан от друга его, Блудова, и хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени, не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке.

Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и просвещенного семейства Буниных[1]. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное, а любить ребенка и баловать его всегда почти одно и то же; но иным детям баловство идет впрок; так, кажется, было и с нашим поэтом. Когда он был уже на своей воле, и в службе и в летах,

---

[1] В. А. Жуковский был внебрачный сын помещика А. И. Бунина от пленной турчанки.

долго оставался он незлобивое, веселое, беспечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимою его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и границы; ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах; а потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно уметь так трогательно, всею душей грустить и потом ото всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментами ли, или с машиною какою, приводимою в движение только посторонним дуновением? Чужеязычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником: дайте ему что́ хотите, он все украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, совершенство, в «Узника» и «Мотылька», и, мне кажется, если б он был живописец, то из «Погребения кота» умел бы он сделать chef d'oevre [изящное творение].

Таким людям, как он с Блудовым, стоило только сойтись один раз, чтобы навсегда сомкнуться. Что̀ касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только мог я прислониться и сколько-нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и не много дорожил моею приязнью; тем приятнее мне отдавать ему справедливость. Истине всегда я жертвовал самолюбием, и это свойство, не весьма обыкновенное, есть, может быть, одно, которым позволено мне гордиться.

Но дело не обо мне, а о литературе. В Петербурге жил один человек, пожилой, чиновный, честный и почтенный, но, как писатель, состарившийся в безызвестности. Он имел славу быть первым у нас славянофилом; в молодости пленился церковным нашим языком, его изречениями, его оборотами и целый век хлопотал о том, чтобы ввести его и в

письмена и в разговоры. Это был известный вице-адмирал Александр Семенович Шишков, еще менее моряк, чем автор. Любимый свой славянский язык искал он не только в землях, ныне или прежде обитаемых славянами, но и везде откапывал корни словес его. Предприятие важное, дело похвальное, страсть благородная! Только жаль, что к полезному удовлетворению ее у него не было средств, не было достаточного ума и сведений. Трудясь в бесплодных изысканиях, он сделался угрюм и бранчив. Проведя всю жизнь в Петербурге и мастерски играя в карты, ему не трудно было сделать связи с знатными людьми, с знатными домами; а как наши баре не учились русской грамоте, то и поверили ему на слово, что он великий человек, коему определено исправить, переделать, очистить, усовершенствовать прекрасный русский язык, как говорили они, но о коем они не имели ни малейшего понятия. На прежние успехи Карамзина смотрел он с презрением; но когда сей последний приметно начал становиться основателем школы, то он жестоко вознегодовал. В таком расположении духа издал он памфлет под названием: «О старом и новом русском слоге», где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп из собравшегося неприятельского стана, но он остался без ответа.

Странное, однако же, дело! Тогдашние петербургские литераторы, Львовы, Гераковы и другие, народ все нужный, должностной, поклонники Шишкова, не следовали его учению и славянизм у себя не вводили, в угождение ему довольствуясь дурно писать. Да и сам почтенный Александр Семенович поучал более словами, чем примером.

Спустя несколько времени, другой выстрел последовал со сцены[1]. Князь Шаховский, служивший в театральной дирекции (которого берегу я для будущего), написал комедию: «Новый Стерн», в которой дурачит сентиментальность каких-то небывалых писателей, шепнув всем на ухо, что он метит на Карамзина. В языке Шаховского также никогда славянского ничего не было; но Шишков охотно прощал ему, как сильному и полезному союзнику. На этот второй вызов

---

[1] Это маленький анахронизм; но я описываю не год, а эпоху. Авт.

также не было ответа; разве почитать ответом веселую эпиграмму молоденького тогда Блудова. Вот она:

Хотите ль, господа, между певцами
Узнать Карамзина вы записных врагов?
Вот комик Шаховской с плачевными стихами,
И вот бледнеющий над святцами Шишков.
Они умом равны, обоих зависть мучит;
Но одного сушит она, другого пучит[1].

Однако же эта иголка на некоторое время как будто прекратила действие тяжелых орудий. После этого долго не было явной войны. Она было возгорелась в 1810 году, но скоро остановлена происшествиями другой войны, более кровопролитной. После вторичного занятия Парижа наша литературная война возобновилась с новою яростью; последние ее жестокие сражения происходили в 1816. Если я останусь жив, и будет у меня время, то я неминуемо должен быть ее историком.

Никто в этом не заметил необыкновенной странности. Новенький Петербург, полунемецкий город, канал, чрез который втекала к нам иностранная словесность и разливалась по всей России, воевал с старою Москвой за пренебрежение к древнему нашему языку, за порчу его, искажение, за заимствование слов из языков западных.

Не прежде как в июне или в июле, по приказанию Сперанского, явился я в первое отделение экспедиции государственного благоустройства, к начальнику его Димитрию Семеновичу Серебрякову.

Из десятка, к коему я принадлежал, только двое или трое заслуживают (и то не очень) найти здесь место. Первым, важнейшим между нами, почитался Александр Михайлович Безобразов, хороший, старинный, столбовой дворянин, как часто упоминал он о том, в родственных связях с лучшими дворянскими фамилиями. Природа захотела уподобить его фамильному его имени; а фортуна, ей наперекор, взяла к себе на колени и доселе не перестает ласкать его и тешить. Все те успехи, кои могут дать красота, любезность, высокая

[1] Шишков, как лунь белый, был всегда очень худощав; Шаховской же и в молодости был неблагопристойно жирен. Авт.

нравственность, обширные сведения и ум светский, и ум деловой, все сии успехи он без них получил. Как же удалось ему? Как удается глупцу, который крепко на себя надеется, ни в чем не сомневается, который смел, бесстыден, настойчив и всяким благоприятным случаем умеет пользоваться. Он был совсем необразованный человек, а в молодости камер-юнкер при дворе Александра, не то чтó ныне, и никто не находил это странным; он был уродливо-дурен собою, а в него влюбилась богатая красавица, вопреки воле матери, ушла с ним и обвенчалась; он едва умел грамоте, а написал и напечатал книжку; он ничего не смыслил в делах, а попеременно в трех губерниях губернатор, ставился другим в пример, давно уже сенатор и метит в государственный совет.

О другом моем сослуживце, Ранцове, потому только здесь упоминаю, что он был мне и земляк, пензенский помещик, и более других искал моего знакомства. Умерший отец его, Иван Романович, был побочный сын графа Романа Ларионовича Воронцова; мать и семейство его постоянно жили в Петербурге и меня часто к себе приглашали. Он был очень пристоен и скромен в обществе; но только почтением к матери был удерживаем от нетрезвой развратной жизни. После смерти ее бросил службу, уехал в пензенскую деревню и там в распутстве кончил век.

Один только третий наш товарищ Вельяминов-Зернов отличался прилежанием и основательными познаниями, но был несносно скучен и неопрятен. Он после занимался законоведением, писал что-то о законах, мог быть очень полезен, но всегда имел неудачи по службе.

Служение мое в департаменте внутренних дел имело еще одну невыгодную, можно сказать, мучительную сторону. Губернаторы находились в прямой зависимости от министра и его департамента; следственно, отец мой был в самых частых с ними сношениях; следственно, состоя там на службе, обязан я был находиться его поверенным, его постоянным ходатаем, если не заступником. Тогда люди ранее зрели, ранее старились; в тогдашние мои лета, ныне мне только что вступить в университет или приготовляться к вступлению в него: тогда от меня требовали опытности и деятельности. А чтó мог я делать? Ничьею доверенностью не мог я пользоваться. Сперанский перестал пускать меня

к себе, а до Кочубея было высоко как до царя. Между тем Столыпин, получивший место начальника отделения в департаменте юстиции и распространявший здесь свои связи, подбивал отсюда беспрестанно пензенских негодяев к продолжению наступательной войны.

Чтó тогда происходило в Пензе, тому трудно поверить. Мне бы теперь самому казалось, что память меня обманывает, если бы не имел в руках письменных доказательств, копий с жалоб, посылаемых к министру. Пригласит ли кто моего отца обедать, он осмелится занемочь и пришлет извиниться, за эту грубость жалуются Кочубею; какой-нибудь мерзавец до того ли себя дурно ведет, что даже в Пензе закрываются ему все дома, он называет это гонением моего отца и приносит жалобу; побранятся ли два помещика, идут на суд к отцу моему, грозно требуя от него справедливости, и когда он им докажет, что это сущий вздор, они мирятся, а не менее того жалуются высшему начальству, что в их городе нет суда. Разумеется, здесь этому смеются, хотя Столыпин, чрез коего подаются просьбы, и умеет всякое подобное дело выставить в дурном виде. Но снисходительное министерство, не терпя никаких жестокостей, обращается к губернатору с требованием пояснений, а к губернскому предводителю — с поручением склонить просителей к оставлению дела, повидимому, не заключающему в себе большой важности.

Еженедельная моя переписка с родителями имела предметом почти исключительно все эти неприятности. По словам брата, почитали меня весьма близким к Сперанскому, дивились моей ветренности, моей беспечности и не могли понять, как возможно так мало заниматься отцовскими делами. Я не знал, чтó отвечать, иногда даже лгал, чтобы сколько-нибудь успокоить бедного моего родителя.

Вечная эта тревога, волнение, расстроили здоровье отца моего до того, что в конце августа впал он в тяжкую болезнь, получил желчную, нервическую горячку, от которой через несколько недель единый бог, а уж, конечно, не тогдашние пензенские врачи его избавили. По выздоровлении его умолял я всячески, чтобы приехать в столицу; он сам имел намерение это сделать в начале зимы, чтобы вытти, наконец, из несносного положения, из разговоров с Кочу-

беем и другими министрами усмотреть, может ли он далее продолжать службу или должен ее бросить.

Десять лет не бывал отец мой в Петербурге; сколько перемен нашел он в нем! Но из старых знакомых никто к нему не переменился. Самые почетнейшие из них, князь Александр Борисович Куракин, Сухтелен, Беклешов, киевский знакомый генерал Розенберг, все неоднократно его посещали. Официальные же отношения не столь были лестны. Государь при представлении не удостоил его ни единым словом. Министры почли излишним прислать ему визитные карточки, и Сперанский, только что директор департамента, сделав сие, почитал оное со стороны своей необычайною вежливостию. Не знаю, не было ли принято за правило через меру возвышать министров и унижать звание губернатора? Если было, то мы видим плоды сей мудрой системы.

Пребывание моих родителей в Петербурге не могло быть продолжительно: сопряженные с тем издержки для их состояния были слишком обременительны.

Желание матери моей было не так скоро со мною расставаться; да и мне самому хотелось на время отдохнуть не от трудов, а от нужд, мною претерпенных в столице. Итак, решено было ехать и мне, но наперед испросить совсем ненужное дозволение министра. По сему случаю был я отцом лично ему представлен. Я увидел его в первый раз и не оробел от его важности; он с улыбкой сквозь зубы сказал мне что-то, кажется, приятное и ободрительное. Сперанский об'явил отцу, что пачпорта мне не нужно, что это в числе отброшенных формальностей; как было ему не поверить? Но уже тут видно было не забвение, а дурной умысел держать меня без службы. До сих пор не могу понять глупого стыда своего, который заставил меня это важное для меня обстоятельствоо утаить от родителей. Но как бы то ни было, 22 мая мы оставили Петербург.

Дни два или три спустя после нашего приезда (однако же не по сему случаю) город вдруг наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая начинается с Иванова дня, с 24 июня, и продолжается неделю, до 1 июля. Тут увидел я первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции тем не менее важное событие.

Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части ее, среди довольно обширной площади стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день праздника сих святых вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тесно, то и перенесли лавки немного отдаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено едва виднеющимися лачужками.

Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками; между ними была также лубками крытая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было только поутру, и то довольно рано: остальное время дня ряды делались местом всеобщего свидания. Не терпящие пешеходства, по большей части весьма тучные барыни, с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни поларшина для показа товаров. Вокруг суетились франты, и с их ужимками вот как обыкновенно начинался разговор: «Что покупаете-с?» — «Да ничего, батюшка, ни к чему приступу нет». А купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю», и так далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы, и часто маски в то же время: сдвинуть их с места было совершенно невозможно; не помогли бы ни убеждения, ни самые учтивые просьбы, а начальству беда бы была в это вступаться. А между тем, это одна только в году эпоха, в которую можно было запасаться всем привозным. И потому-то матери семейств, жены чиновников, бедные помещицы, в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки, до прибытия дурацкой аристократии.

Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия ее совершались после ярмарки. Это был лов сердец и приданых: как на азиатских базарах, на прилавках взрослые девки так же выставлялись, как товар.

Помещикам и их семействам, с'ехавшимся почти изо всей губернии, можно было бы, кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где: вокруг Пензы, в одной и в двух верстах от нее, есть прелестные

рощицы; нет, они предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похоже на что-нибудь, бывало в Петров день: это назывался воксал или бал в регулярном саду г. Горихвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был не велик; но галдарея, как еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако, также досчатая. Она была обита выбеленною холстиной и украшена пребольшущею жестяною люстрой; в окнах же стояли деревянные треугольники, к коим прибавились железные шандалы. Тут довершались победы красоты: статуи, кои как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, приходили в сильное движение, при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки.

Кстати об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе три театра и три труппы актеров. Такое чудо нужно об'яснить. У нас все так шло с времен Петра великого: кроется крыша, когда нет еще фундамента; были уже университеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей, ни учеников; везде были театры, когда не было ни пиес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Право жаль, что, забыв пословицу: поспешишь да людей насмешишь, мы надорвались, гоняясь за Европой. Итак, в Пензе три театра, оттого что полубарские затеи, забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были еще во всей силе обычая.

Труппа г. Горихвостова посвящена была игранию опер и исключительно итальянской музыке; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтеного г. Горихвостова. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхал и крайне о том жалею: это в карикатурном роде должно было быть совершенство.

Григорий Васильевич Гладков[1], самый безобразный, самый безнравственный, жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями, имел пристрастие к театру. Подле дома своего, на городской площади, построил он не-

---

[1] Брат его Иван Васильевич был при Александре обер-полицеймейстером в обеих столицах. Авт. Он был другом знаменитого изувера-архимандрита Фотия и помощником его в борьбе «противу сонмища зловерных».

большой, однако же, каменный театр, и в нем все было, как водится, и партер, и ложи, и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что̀ сказать об них? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которые, разумеется, получал господин) играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к самому высшему состоянию.

Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания, или так, для препровождения времени, затеял также у себя камедь; и что̀ удивительнее, сделал сие удачнее других. Но о труппе его потолкуем после; а теперь поговорим о том, что̀ занимательнее, о его домашней жизни.

Почти до шестидесяти лет прожил он холостой, в деревне, редко из нее выезжая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая, на помаде, на духах и на блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фамилиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна, сорокалетняя дева; не знаю, была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда она попала, рада-рада уж была, чтоб выйти... за Василия Ивановича: добрые соседи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре, без французского языка не могла дохнуть, а на нем между соседями ей не было с кем слова молвить. Целый век с старым медведем, хотя смирным, ручным, но прожить в его берлоге! Это ужасно. Дело решено: она купила в Пензе обширный, ветхий, деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными затеями. Благодарю за то судьбу мою: во всякий приезд мой в Пензу они были моей отрадой.

Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно: надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нем дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было видеть их обхождение; слова ты они не знали между собой. Если б он был женат на великой княжне, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать; она платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать старого летами мужа.

Трудно было назвать ее уродливою, а красивою еще труднее: как для красоты женской, так и для безобразия есть некоторые условия; она им всем была чуждою. Похожего на ее лицо я нигде не встречал и уверен, что никто не встретит. Все то, что́ у других бывает продолговато, у нее было совершенно круглое, и глаза, и нос, и рот. С брюшком, несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась беременною. Цвет лица у нее был светло-медный, тело плотное, но не регулярное, как у Василия Львовича Пушкина, если в сих записках его кто припомнит. С ним имела она много сходства и в характере: была так же добродушна, чрезвычайно легковерна и так же хотела всех любить и всеми быть любимою. Но, чего в нем не было, она была чрезмерно вспыльчива; гнев ее бывал мгновенен, но ужасен, и казалось, что в угоду ее добрейшего сердца хранится для запаса злость без всякого употребления; но когда нужда потребует, она является, и тогда беда! Самые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя Катерины Васильевны. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного Смольного воспитания; она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки или, лучше сказать, недостатки ее были многочисленны и безвредны для общества: она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под именем ридикюля всегда носила с собою огромный мешок, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей потчивала. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к тому же картавила.

Одно не могу я похвалить в ней: ее бесчеловечный эгоизм. Со строгою супружескою верностью, с бесчувствием, с равнодушием хотела она пленять; не разделяя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидывались влюбленными: тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием смотрела она на свои мнимые жертвы! В числе их был и я; а Василий Иванович и не думал ко мне ревновать: он знал, что полубогиня не может иметь слабостей, и даже соболезновал робкой моей любви. В его отсутствие она делалась иногда гораздо смелее, но, разумеется, до известных границ, которые мы с ее супругом умели ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня некоторое время занимать; я думаю, от скуки.

У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе как веселою, прекуриозною. Кожиным удалось где-то нанять вольного актера Грузинова, который препорядочно знал свое дело; да и между девками их нашлась одна, Дуняша, у которой, невзначай, был природный талант. Катерина Васильевна, помня, как в Смольном сама госпожа Лафон учила ее играть Гофолию, преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были бесполезны; ее актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения. Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отец действительно ей покровительствовал и для ее представлений выпросил у предводителей пребольшую залу дворянского собрания, исключая выборов почти всегда пустую.

Завелось, чтобы туда ездили (разумеется, за деньги) люди лучшего тона, какие бы ни были их политические мнения. К Гладкову же в партер ходила одна чернь, а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, к которой, однако же, он сам отнюдь не принадлежал.

Этот раз прожил я в Пензе с небольшим пять месяцев, но делал из нее частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки, Саратовской губернии, Балашовского уезда, в село Зубриловку, о котором было помянуто в первой части сих записок. В проезд наш чрез Москву обедал у нас молодой, великий господин, князь Федор

Сергеевич Голицын, также читателю знакомый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля, дню именин отца его. За год до того, будучи рижским военным губернатором, князь Сергей Федорович, по какому-то небольшому неудовольствию, вышел в отставку, и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето — в свою Зубриловку. В Казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удовольствием туда отправился.

Зубриловка есть одно из немногих мест в России, подобных палацам и замкам, коими усеяна Польша. Там славянское племя долго и тщетно гнули под феодальные формы: ни Радзивиллы, ни Сапеги, ни Чарторыйские, несмотря на несметные богатства, на многочисленные дружины, их окружавшие, никогда не могли сделаться совершенно независимыми владетелями, как высокие бароны в Германии, Франции и Италии. Их неограниченная, их необузданная власть все оставалась насилие, не закон. В России удельные князья являли когда-то и что-то тому подобное; с истреблением уделизма, с утверждением единодержавия, наместники государевы, начальники городов и областей, с ограниченною властью, получали поместья, вместо жалованья и, вероятно, палаты для жительства. Хоромы владеющих поместьями, как и богатых вотчинников, в старинное неприхотливое время могли отличаться от изб простолюдинов только бóльшим размером и бóльшею опрятностью. Мало-по-малу блеск двора стал привлекать богатых владельцев в Москву, а искание мест и почестей удерживало их в ней; с улучшением вкуса, с умножением потребностей начали строиться шире и прочнее, и тогда деревянная Москва сделалась Москвою белокаменною. Как видно из истории, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались в свои деревни; но и другие, послужив богу и царю, удалялись на отдохновение в свои родовые или жалованные имения. Долго существовал сей обычай, и в отдаленных от столицы местах нередко можно было найти маститую старость вельможи, окруженную всеобщим благоговением и отражающую блеск, заимствованный ею от светлого лица государева (я говорю ее языком), при коем она некогда находилась. В такого рода жизни, кажется, нет ничего феодального.

Несколько позже, привычка к солнцу не дозволяла далеко отдаляться от лучей его. Тогда, кажется, родилось название подмосковных и умножилась ценность их. Тогда, не переставая быть царедворцем, не покидая любезных ему золотых цепей, мог боярин на лето освобождаться от их тягости, так однако же, чтобы, при первом позыве царя или честолюбия своего, мог он скорее возложить их на себя. Во временных убежищах начали, наподобие царских, заводиться в малом виде дворцы и сады, а в отдаленных богатых вотчинах ветхие здания господские стали клониться к падению и заменяться где волостною избой, где домиком для приказчика или управителя.

Но время текло, нравы менялись, и строился Петербург. Сначала однако же в новую столицу перенесены обычаи старой, и среди окрестностей первой явилось великолепие по большей части уже новых боярских фамилий, в Гостилицах, в Славянке, в Коирове, в Мурзинке, в Мурине, в Парголове. Это было не надолго, это казалось слишком далеко от двора, и все названные места опустели. Тогда богатые, прекрасные дачи по Петербургской дороге, на царском пути, все разряженные, с обеих сторон вытянулись почтительным фрунтом. Кто бы мог прежде ожидать? И они брошены, и они распроданы под фабрики. Ныне, в самом Царском Селе, в Павловском, в Петергофе или на островах, поближе к Каменному или Елагину дворцам, русская знать в хорошеньких, разубранных уютных дачках гнездится, жмется, как дворня в людских.

И эти люди называют себя аристократами!

В старину, то есть, как говорится в России, лет сорок тому назад, все отставные вельможи полагали, что им нигде приличнее жить нельзя как в отставной столице. Некоторые из них не оставляли ее во все лето, имея в самом городе сады, в десять или в двенадцать раз более иных каменноостровских дач; другие ездили в свои подмосковные, кои продолжали беречь и украшать; немногие, как князь Сергей Федорович, отправлялись в дальние деревни.

Итак, Зубриловка его, равно и лежащее в тридцати верстах от нее, село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всем околотке, но и во всех соседних губерниях.

Только вокруг господского дома видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помогала ей природа. Имение сие было не родовое; князь Голицын купил его и потом три года сряду стоял в нем на бессменных квартирах с двадцатичетырехэскадронным Смоленским драгунским полком, коего он был начальником. Утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских; это извиняется дурным обычаем: полк давался тогда как аренда, и в самом Петербурге начальники гвардии сим дешевым способом возводили себе дома.

По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной партии один из почтеннейших жителей Пензы, действительный статский советник Егор Михайлович Жедринский. В Петербурге провел он всю молодость свою, которую умел продлить за сорок лет. Он служил в гвардии, был только что сержантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник этого полка, генерал-аншеф и андреевский кавалер Федор Иванович Вадковский, должен был, как говорят, поспешить замужеством старшей из своих дочерей; надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышение, но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдовел, из гвардии-капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пензу председателем гражданской палаты, то от всех ее жителей постоянно отличался неизвестною им пристойностию в разговорах и вежливостью в обращении, особенно с дамами. Хотя он был весьма уже немолод и некрасив собою, но с любезностию, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам. Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, непосредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не из книг. Потому-то без малейшего угрызения совести соблазнил он одну сиротку, немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние ее сделалось несомненно, и стыд ее стал всем известен в маленьком городе, тогда она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти убежище только у самого похитителя ее чести: вступиться за нее было некому,

она была круглая сирота. К счастию ее, человек без сердца, воплощенный грех, прилепился к младенцу, ею рожденному: без того он бы ее прогнал. Верно уже не ради Христа, коего божества он не признавал, верно не из сострадания, которого никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть его ключницей и нянькой его ребенка; всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже своей жертвы и матери своего сына.

В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для добродетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик подростал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему название Дринского. По связям, которые сохранил он еще в Петербурге, незаконного сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупотреблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, стоявший в Пензе. С кончиной Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кончилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына.

Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его и участие, которое самые равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале царствования Александра заставили седого ловеласа с нею обвенчаться и более для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя.

Не скоро бедная женщина решилась показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство, все искала последнего места в обществе и долго еще сидела в нем, потупя взоры, как преступница.

Старику Жедринскому было более семидесяти лет, когда жена его была полна, свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил неглупо, подшучивал довольно остро и по большей части насчет добродетели, церкви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное отвращение от сего повапленного гроба; я все видел печать ада в сардонической улыбке до ушей, обнажавшей беззубый рот его, и мне казалось, что, говоря о нем, совсем не в смысле брани можно было употребить название старого чорта. Наказанием его была

страсть к игре; от нее он был весь опутан долгами, и это делало его еще искательнее, ко всем ласковее.

Совершенно в его духе, в его правилах был воспитан любимый сын его, Владимир Егорович; но в нем было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще в ребячестве сам родитель наставлял его во всех карточных играх; и в двенадцать лет сидел уже он с большими за бостоном; впоследствии ученик превзошел наставника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего; в обоих, кажется, недоставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей части обогащаются.

Один бедный выслужившийся дворянин, собою очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин, в звании городничего, начальствовал в Пензе, когда, при Павле, была она уездным городом, и до некоторой степени напоминал собою прежних ее воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и тщеславен, довольствовался он тою порцией величия, которая в сей аристократической республике, как единственному официальному лицу, ему на долю доставалась, и с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в прежней должности остаться не хотел и сделан советником казенной палаты; тогда стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большого хлебосольства. Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но вместе с тем и осторожный: никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подобострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство, лошади, псарня, вот все его извинительные слабости. Ученостию ни он, ни жена его не могли похвастаться: домашнего маляра своего называл он в шутку Сократом, уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васильевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый, который ее лечил, носил сие имя.

Теперь поговорю об одном приезжем из Петербурга барине, у которого в деревне довольно скучно (для меня, по

крайней мере) должны мы были пробыть почти сутки. Еще в Киеве, останавливаясь с кавалерийским полком, коим он начальствовал, Михайло Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом отставлен и сослан; при Александре опять был принят на службу, но сначала только числился в ней и жил, где хотел. После покойной жены его, урожденной Талызиной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губернии, — бесконечная лесная дача, при коей устроил он обширный винокуренный завод; в это имение, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по временам хозяйничать.

Отец его был нашим посланником в Константинополе; там нашел он себе жену, в этой странной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских наций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав; от нее произошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности ее родственников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые даже губят его; есть, напротив, другие, которые способствуют его возвышению, обогащению. Одни только последние имел г. Обрезков. От Востока, где он родился, принял он вместе с жизнию неутолимую алчность к ее наслаждениям; а Европа восемнадцатого века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от каких средств к достижению желаемого. Он получил прекрасное светское образование, имел много основательности, особенно расчетливости в уме; но ни единого похвального, благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе своей. Не знаю, чему более можно было дивиться, безумию ли его спеси, или бесстыдству его подлости? От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел переходить: сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо ковра расстилаться под ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему бесполезны, и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном

большого света, постоянно в нем удерживался. Там, разумеется, был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхождение; только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, которую вчера лизал.

Страсть его (никогда истинная любовь) к женскому полу и желание ему нравиться тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за сорок лет; однако же он еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрезвычайно ловко танцовал; искусственная белизна его лица спорила с искусственною чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки; но раннее употребление косметических средств повредило его коже: она уже тогда казалась выкрашенною подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма его наряда, и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-нибудь скульптор: так было все пропорционально, так все хорошо пригнано, где дополнено, где убавлено; везде шнурование, там винт, там пружина; и в этой броне, в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддельного. Чтоб открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный мой взгляд; по тесноте деревенского дома его я спал с ним почти в одной комнате; он вставал очень рано, а я, притворясь спящим, в открытую дверь полуоткрытым глазом мог прозреть весь этот снаряд и даже самую подошву лица его, к утру уже полинявшую и пожелтевшую.

Ту же самую осень посетил он нас в Пензе, остановился у нас в доме, прожил две недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною комнатах; но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в полном блеске и устройстве. Он вставал всегда рано; иногда, когда я лежал еще в постели, заходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать. Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему семейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей матери.

Полгода спустя, сделан он генерал-кригскомиссаром. В сем звании оставался он не более двух лет; хищничество

его сделалось так очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который однако же оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее ответствености, место директора департамента внешней торговли, и очень долго занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в нем тянуться и пялиться; под конец с размалеванной рожей казался он даже страшен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эполет, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои и принял человеческий вид.

Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю благосклонность; все сношения мои с ним должны были прекратиться службой отца моего. При первой встрече после того показал он мне столь удивительное, столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним презрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастие несколько улыбнулось, встретясь со мною, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку; я обрадовался случаю, вспомня, что у него хирагра, схватил ее и так сильно сжал, что он должен был закричать, после чего отошел я с извинением и поклоном.

Нет, гнусен был человек, и скверна об нем память! Я говорю б ы л, ибо в живых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие, эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели ныне жестоко наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных трудов, там, где других ожидает уважение людей в высоком чине и глубокой старости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельщениями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию, на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без большого искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир исчез перед ним: знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен даже присутствием

той бесстыдной женщины, которой он всем пожертвовал: она раз'езжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не живет и умереть не может! Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужаснее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое небо устрашить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете, для очищения от грехов, не послало ли оно ему сей несчастный брак? Я не понимаю, как столь ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь. Ведь вышел целый эпизод, который, может быть, я весьма некстати здесь вклеил.

Прежде нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три; следственно, только дети второго брака его были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое: Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чудак.

Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою мартыновской спеси; но сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем.

В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями, Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств; без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество, как состояние истинно-христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его добросердечие

небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней обрел он счастие, а она только благоразумием и осторожностию могла наконец до него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством.

Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный Загоскин[1] был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий как медвеженок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно-русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла, подшучивать в глаза над слабостями людей и, таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был сказать: да, кажется, за что́ бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит

---

[1] М. Н. Загоскин — автор «Юрия Милославского» — был впоследствии в переписке с Вигелем. См. письма Вигеля к Загоскину во втором томе настоящего издания.

человека, я уверен в том, еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об Магдалине: многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил бога, отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попечениям. Ну, умели же найти ему наставника!

Во время наших сборов явился в Пензе умный, богатый и брадатый Василий Алексеевич Злобин, на обратном пути в Петербург из Вольска и Саратова. Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали: лучшего приема нельзя было бы сделать вельможе; все чиновники ходили к нему являться, и у губернатора обедал он всякий день, занимая, как приезжий гость, первое место. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклонении злату. Однако же не мне осуждать почести, оказанные Злобину: он в это время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение. Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете; я захворал, и он предложил мне половину оной, с обещанием дорогой оберегать меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, примкнули к его поезду, и мы 4 ноября отправились в путь.

Старики прежде неохотно входили в суждения с молодежью, и я Злобина знал только поверхностно; но тут, запершись в карете, в беспрестанных с ним разговорах, узнал я, сколько, без всякого учения, в простом русском человеке может быть природного ума: в каждом слове сколько толку, какой великий смысл! Иногда он меня ими ужасал. Порабощение у нас никогда до того не простиралось, чтобы, как у невольников древнего мира и нового Света, оно у крепостных наших отнимало даже время на размышление, а опасение проговориться заставляло их быть осторожными в речах и кроткими в выражениях. Из того произошли миллионы поговорок и пословиц, составляющих народную мудрость, которая, из рода в род переходя, как умственное наследство, все более обогащается новыми мыслями. В этом, мне кажется, ни один народ в мире не может сравниться с нашим.

Перед самым нашим от'ездом выпал снег, стали морозы и сделалось первопутье; оттого мы не ехали, а летели, и

хотя по откупным делам Злобин должен был останавливаться в Саранске и Арзамасе и промешкал в обоих более полутора суток, все-таки приехали мы в Москву 8 числа, в самый Михайлов день. Тут мы расстались: он на другой день поехал далее, а я остался погостить у сестры.

Что сказать мне о тогдашней Москве? Трудно изобразить вихорь. С самого вступления на престол императора Александра, каждая зима походила в ней на шумную неделю масленицы. Я помню, как малолетним случилось мне быть в комнате, где из больших бутылей переливали наливки в жестяной чан, а из него разливали по бутылкам, и как, не проглотив ни капли, я опьянел от одного приятного ягодно-спиртового запаху. То же было со мной и в Москве: не имея ни много знакомых, ни намерения долго в ней оставаться, я подобно другим не веселился, а от одних рассказов об обедах и приготовлений на балы кружилась у меня голова. В ночи с 28 на 29 ноября поскакал я в Петербург.

Дорогой случилось со мной нечто довольно забавное. В Твери остановился я в известном трактире итальянца Гальяни (который давно уже помер, но которого имя до сих пор сохранила заведенная им гостиница). Я проголодался, промерз и спросил поесть; тут были офицеры какого-то кавалерийского полка, которые кого-то угощали, кого-то провожали и меня очень ласково пригласили с собой обедать. Я даром наелся и, уступая потчиванию, еще более напился, потом поблагодарил их и пошел ложиться в кибитку. Я проснулся перед рассветом, и, когда спросил, скоро ли приедем на станцию, мне сказали, что мы проехали Валдай и что я проспал более двух сот верст. Чем свет, 1 декабря, прибыл я в неизбежный мне Петербург, пробыв не с большим двое суток в дороге. Я не знаю, как это случилось: я не ехал на курьерских, не имел права торопить, слуга мой ничего лишнего не платил; но, видно, счастие приходило ко мне во сне и приводило с собой лихие тройки и лихих ямщиков.

Вот уже третий раз, что я приезжаю в Петербург, подумал я; неужели и ныне не более посчастливится мне в нем, как было доселе? Теперь я приехал один, никто не привозил меня, и даже я сам привез младого птенца, совсем не питомца муз, но который впоследствии должен был сделаться одним

из их отличнейших служителей. Теперь надлежало мне самому промышлять о себе. Как неимущие провинциалы, начали мы с Ямской и оттуда, сделав несколько поисков во внутренность города и открыв довольно удобную квартирку неподалеку от Невского проспекта, через три дня с Загоскиным в нее переехали.

Едва счел я нужным явиться к Сперанскому и, не об'являя ему о моем намерении, мимо его прямо графу Кочубею подал прошение, в коем об'яснил всю странность положения моего. Определение меня в министерство не заставило себя долго дожидаться; через два дня подписана бумага, но не совсем согласно с моим желанием и требованием: ибо найдено невозможным зачислить мне в службу все то время, в которое ничего официального обо мне не было. Я и тем остался доволен; попав раз на место, мог я из него приискивать другую, более приятную или выгодную службу. Пока я фиктивно служил, то ходил еще иногда в экспедицию, а со дня определения в нее, начал забывать, как отворяются ее двери.

В феврале месяце 1805 года все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров; потому что знатный барин, действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, граф Юрий Александрович Головкин назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было составиться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств. Чего же лучше? — сказал я себе и, много не подумав, начал проситься о причислении меня к свите сего посольства.

Пользуясь ласковым приглашением Александра Львовича Нарышкина, сделанным в Саранске, и ободренный ласковым его приемом в Петербурге, раза два или три в зиму был я у него на балах, удостоился даже нескольких слов от его Марьи Алексеевны и на вечерах сих почти успел победить гордую свою застенчивость. Граф Головкин был женат на родной сестре его, Катерине Львовне, и почти всякий день бывал у него. Какого мне пути еще искать было? Но я вспомнил, что, перед этим лет за пять, тот же самый Нарышкин все обещал определить меня пажем и ничего не

сделал. Как быть? Другого средства не было, и я приступил к нему с своею просьбой. На этот раз стоило мне только намекнуть добрейшему Александру Львовичу о моем желании, и на другой же день письмо графа Головкина к графу Кочубею испрашивало его согласия на временное увольнение меня из его ведомства. Я даже не успел еще быть представлен послу, и мне пришлось являться к нему и благодарить его в одно время.

Под именем дворянина посольства определен я был в число его канцелярских служителей; каждому из них назначено по шести сот рублей серебром годового жалованья и, сверх прогонов, по тысяче рублей на под'ем. В мои расчеты входила также и родительская помощь; ибо я уверен был, что отец, одобрив мое намерение, в сем случае не пожалеет для меня денег, в чем и не ошибся.

Кажется, все потомство бывшего при Петре великом первого графа Головкина, Гаврилы Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однако же, от русского подданства и, не знаю по какому праву, продолжая владеть имениями в России и пользуясь с них доходами. Сей пагубный пример, который так распространился, и ныне заставляет только роптать, но всеобщего негодования еще произвести не может. Когда Россия к Европе станет в таковом же отношении, как Ирландия к Англии, и столицы Запада будут поглощать все плоды потовых, кровавых, трудовых наших поселян, тогда только против сих добровольных, вечных, преступных отчуждений от отчизны будут приняты сильные меры. Как бы то ни было, отец посла Головкина никогда не бывал в России, женился на какой-то швейцарской аристократке и детей крестил в реформатскую веру.

Когда сын его явился ко двору Екатерины, в нем, кроме имени, ничего русского не было. Она приняла его в гвардию, определила ко двору, женила на дочери любимого своего Нарышкина и милостивыми словами привлекла его к престолу своему, привязала и к государству. Все знатные молодые люди тогдашнего времени старались быть тем, чем их сделали судьба и воспитание: быть иностранцами с русским именем; следственно ничто не могло побудить его преобразоваться в русского. И он остался настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их лю-

безность, их самонадеянность и легкомыслие. Одно только напоминало швейцарское его происхождение по матери: удивительная его расчетливость, которую в роскошной, мотоватой нашей России позволяли себе называть скупостию.

С поверхностными познаниями, кои он имел, мог он в обществе, где никогда не углубляются в обсуживаемые предметы и скользят по ним, казаться сведущим во всех науках. Только в делах это было все ничтожество русских знатных господ новейших времен. Зато что за выход, что за важность, что за представительность[1]!

И это все было бы очень хорошо, если б по крайней мере дали ему сколько-нибудь дельного и просвещенного секретаря посольства; но и тут умели сделать выбор еще хуже самого Головкина. Один нахал, по имени Лев Сергеевич Байков, служивший в конной гвардии, подбился к графу Маркову и в 1801 году в звании канцелярского служителя поехал с ним в Париж; после разрыва с Бонапарте, он последний из наших оттуда выехал. В трехгодичное свое там пребывание он исполнился не революционного духа, который при первом консуле начал исчезать, но нестерпимого, неблагопристойного тона новой Франции. Магницкий, его товарищ, в сравнении с ним казался скромным; одним словом, с ног до головы в нем было что-то такое непотребное, что порядочной женщине, кажется, не краснея нельзя было с ним говорить. В буйной молодости цесаревич Константин Павлович охотно окружал себя подобными людьми; их наглые пороки казались ему молодечеством, и Байков был в числе его любимцев. Эта связь, смелость его и рассказы о Париже дали ему большой ход в обществе. Его пожаловали камер-юнкером, хотя ему было гораздо за тридцать лет; но это для того, чтобы доставить ему пятый класс и право на место первого секретаря посольства в Китай. К занятию сего места считали его более кого-либо способным: он умел к кому захочет подольститься, ничего не стыдился, не знал совести, лгал без милосердия. Как же ему было не провести или, попросту сказать, не надуть китайцев?

---

[1] Гг. Юр. Ал. Головкин (1762—1846), род. в Лозанне (мать — бар. фон-Мосгейм), крещен в протестантизм. Служил в Преображенском полку (1782 г.). О нем еще дальше.

Второй секретарь был уже настоящий, природный француз, граф Ламберт [1], который, однако же, гораздо менее им казался, чем оба предыдущие лица. Как иностранец в русской службе, старался он с ними ладить, хотя, впрочем нельзя было его упрекнуть в гибкости характера; он был довольно вежлив, но холоден, осторожен, скуп на слова и до того спесив, что никому почти не кланялся, а только легким, едва заметным наклонением головы давал знать, что отвечает на поклон. Перед этим, кажется, был он употреблен при миссиях наших в Копенгагене и Мадрите; но дипломатических способностей, видно, в нем или не было, или их не умели оценить: ибо, несмотря на предпочтение, даваемое у нас иностранцам для занятия посланнического места, он впоследствии никогда его получить не мог.

Третий секретарь посольства назывался Андрей Михайлович Доброславский, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не мог. Он был в числе тех людей смирных, трудолюбивых, покорных, бездарных, можно сказать, удобных, коих начальство так любит и мало уважает, которые втихомолку продолжают службу и неприметно ее оставляют. Этот был уже совсем не француз, ибо ничего не знал кроме русского языка, и хотя на нем говорил чисто, а все-таки с примесью украинского наречия. Находясь в коммерц-коллегии, из которой он никогда не выходил, знал он хорошо только одну таможенную часть; там сделался он известен президенту коллегии графу Головкину, который (я было и позабыл сказать), по званию сенатора, получил поручение обозреть и ревизовать все губернии, чрез кои он должен был проскакать. И на сей предмет взял он с собою сего великого искусника.

Вот все почти, что составляло дипломатическую или деловую, письменную часть посольства; затем следовала ученая часть и, наконец, мы, которые молодостию, развязностию, красивым нарядом, даже самым числом должны были служить к возвышению блеска посольства и важности посла.

---

[1] Его брат был одним из известных, храбрейших генералов нашей армии. Солдаты его очень любили, находя в нем совершенно русского человека. Они были эмигранты. Авт.

И в этом отношении, без хвастовства скажу, все было очень удовлетворительно. Из аристократических гостиных молодые люди так и ринулись в невиданное, неслыханное посольство.

Между кавалерами первыми стояли по списку два действительных камергера, Висильчиков [Алексей Вас.] и князь Голицын [Дм. Ник.].

Затем следуют четыре камер-юнкера: Нарышкин, Бенкендорф, Гурьев и Нелидов. Я уже сказал, что с Кириллом Александровичем познакомился я в Саранске; после того в Петербурге, в доме отца его, знакомство сие сделалось короче; во время же путешествия нашего его приязнь, его постоянно хорошее ко мне расположение не один раз были мне весьма полезны. Он был примечателен тем, что в нем сливались и смешивались два противоположные характера его родителей: он соединял в себе нарышкинское барство, роскошество и даже шутливость вместе с крутым нравом, благородными чувствами, бережливостью и аристократическою гордостию матери своей Марьи Алексеевны. Он был еще весьма молод, но умел брать какой-то верх над своими товарищами, к чему, впрочем, ему много способствовала любовь к нему посла, по жене родного его дяди.

Константин Бенкендорф был меньшой и единственный брат после всем столь известного Александра Христофоровича [шеф жандармов при Николае I]. Он во мне, как и во всех знакомых своих, оставил по себе самую приятную память.

Молодой, свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями, сын будущего министра финансов Гурьева находился между нами и думал, что делает тем великую честь посольству. Он вместе с Бенкендорфом и Нарышкиным был воспитан в пансионе аббата Николя, почти в одно время произведен с ними камер-юнкером и вместе отправлялся в Китай; в сем триумвирате, конечно, мог он почитаться Крассом по его жадности и златолюбию. Все в нем было тупо и тяжело; это просто был желудок, облеченный в человека.

Нелидов, Любим Иванович, был всеми любим, ибо имел сердце столь же кроткое, нежное, как и наружность. Он был флигель-ад'ютантом при Павле, когда старший брат его

Аркадий Иванович был его молодым любимцем и генерал-ад'ютантом; оба они не избежали общей при нем участи, были отставлены и высланы из столицы[1].

Седьмой и последний из кавалеров посольства был коллежский советник Павел Петрович Караулов, перед этим полковник Преображенского полка, высокий и красивый мужчина, но отвратительный своею приторностью и жеманством. Полагая, вероятно, что этим тоном можно более нравиться старым и богатым женщинам, к коим не один раз нанимался он в любовники, сохранял он его по привычке и с мужчинами. Взыскательность этих барынь провела уже несколько морщин по лбу его, и вообще он, Васильчиков и Нелидов почитались у нас стариками, потому что они были лет тридцати или без малого, а мы лет двадцати или около того.

Между нами, семью дворянами посольства, самый знатный был Николай Иванович (не знаю, почему) Перовский, побочный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского; так по крайней мере думал он и показывал то. У родителя его, как у Людовика XIV, были такие дети от разных не браков, а сожитий. Этот был от первого, но воспитывался не в родительском доме, а у тетки Наталии Кирилловны Загряжской, где с малолетства дышал он придворной атмосферой [2]. И надобно сказать правду, он имел все, чтб отличает русского аристократа: манеры большого света, совершенное знание французского языка, а во всем прочем большое невежество. Другие братья его, рожденные от последующих сожитий, так же, как и он, получили название свое от Перовой рощи под Москвою, принадлежащей их отцу, но, кажется, были им более любимы и перед старшим имели преимущество носить отческое его имя и называться Алексеевичами. Они получили тщательное воспитание людей среднего состояния, долженствующих пробиться службой и

[1] Братья известной приятельницы Павла I, Ек. Ив. Нелидовой (1757—1839), бывшей вместе с тем в дружественных отношениях с женой императора, Марией Федоровной. Опала постигла ее братьев после высылки Ек. Ив. из столицы за тò, что она отговаривала Павла от его намерения сослать императрицу в Холмогоры, когда он взял себе в любовницы А. П. Лопухину.

[2] Загряжская — в родстве с Н. Н. Гончаровой — женой Пушкина. Отсюда ее большое значение в личной жизни поэта.

трудами. Он теперь почти ничто; они занимают первые места в государстве[1]. Незаконнорожденные дети находятся вообще в фальшивом положении: природа дает им права̀, в коих отказывают им законы; они стоят выше и ниже людей обыкновенных состояний, так сказать, вне общества; они не иначе как штурмом могут в нем брать свои места. В этом случае наш Перовский был истинный герой: грудью шел он вперед, продирался, затирал слабых, обходил сильных; дивились его дерзости, смеялись над нею, но не мешали ему; и он, равный всем высшим, преспокойно стал смотреть великим барином[2].

Исключая сына сенатора Теплова, также ничем кроме дурацкой спеси непримечательного, да еще меня, Перовский никого из других товарищей своих не удостоивал разговорами.

Два рисовальщика, данные ему в помощь, Александров и Васильев, довольно хорошо знали свое дело, но были замечаемы тогда только, когда приносили и показывали свои рисунки. Ни который из них не прославился после в живописи.

Главным медиком при посольстве был Реман, только что прибывший из Германии.

Штаб-лекарь Гарри, англичанин, взятый прямо с корабля и посаженный в посольскую коляску, был молод, красив, молчалив, гораздо серьезнее Ремана и, так же, как он, не имел у нас случая показать свое искусство. После того служил он при дворе.

Уф, как я устал, но как же пропустить графа Ивана Потоцкого, просвещеннейшего и оригинальнейшего из поляков, который по случаю отправления нашего посольства был принят в русскую службу тайным советником? Он почти столько же, как и старший брат его, граф Северин Осипович, умел науке давать удивительную привлекательность и нас, невежд, заставлял приступать к ней не только без боязни, но и с особенным наслаждением. В исторических и

---

[1] В. А. и Л. А. Перовские были близки к тайным обществам, из которых образовался потом заговор декабристов, но отделались легко от николаевских следователей.

[2] Его внучка — С. Л. Перовская — главная устроительница удачного покушения на Алексадра II, 1 марта 1881 года.

других изысканиях своих был он упорно трудолюбив, как немец, а в заключениях, кои выводил он из своих открытий, легкомыслен, как поляк. Неутомимые его упражнения, беспрестанное напряжение умственных сил, вместе с игривостью самого живого воображения, кажется, были несколько вредны для его рассудка. Говорят, что жемчужины не что иное, как накипь в морских раковинах, их болезнь: так точно и легкое повреждение рассудка у Потоцкого произвело прекрасные перлы, два французские романа. Немногие, кои читали их тогда, дивились их смелой новости; в них был виден и наблюдатель, и мечтатель, и изобретатель, и светский, и ученый человек. Кажется, в них также можно видеть и тип нынешних романов; они, по крайней мере, могли бы служить им образцами: так все безобразные, отвратительные и ужасающие предметы в них скрашены искусством и пристойностью автора.

Странности его были заметны в самом наряде; он был в одно время и небрежен и чистоплотен, совсем не заботился о покрое платья своего, но всегда был изысканно опрятен. Иногда по недосугам не имел он времени дать обрезать себе волосы, и они почти до плеч у него развевались, как вдруг, в минуту нетерпения, хватал он ножницы и сам стриг их у себя на голове и вкривь и вкось, после чего, разумеется, смешил всех своею прической. В отношении к Головкину вел он себя отменно прилично, не подавал ему ни малейшего повода к неудовольствию, зато и не баловал излишнею почтительностью. Всегда углубленный в науку, он заслонял себя ею от наших сплетен, хотя и жил посреди них. Он был немного кривобок, и правое плечо было у него выше левого; имел лицо бледное, черты довольно приятные, глаза голубые и, нет в том сомнения, точно помешанные.

Он уже несколько лет был женат на одной из двенадцати или пятнадцати дочерей графа Потоцкого же, Феликса, которого в переводе поляки называли Щенсным, то есть Счастливым, вероятно, потому, что он весьма счастливо изменил старому своему отечеству; сыновья же сего Феликса, чтобы загладить его преступление, изменяли новому, а дочери изменяли только мужьям. Ту, которая была за нашим Яном Потоцким, звали Констанция, хотя она была непостоянна, как все польки, ни более, ни менее, и муж

любил ее без памяти, хотя она была хромая и хотя она его терпеть не могла, потому что почитала горбатым. Несколько лет спустя после нашего путешествия, она бежала от него с каким-то родственником; но по крайней мере не хотела, подобно другим своим соотечественницам, вмешивать религию в дела распутства, не разводилась с ним и не выходила ни за кого замуж. В отчаянии о ее потере он зарезался бритвою.

Приготовления наши к от'езду были самые веселые и забавные. В нежном попечении о подчиненных, сам посол, разумеется, по-французски, сочинил для них длинную инструкцию, с которой до сих пор храню я копию и в которой предписывает он им разные средства к предохранению себя от великих бедствий, угрожающих им на ужасном пути, им предстоящем. Хотя бы порасспросил он немного сибиряков, чтобы не быть так смешным! Право, можно было подумать, что чрез Нубию и Абиссинию надлежит нам проникнуть во внутренность Африки. Сие творение мудрого его предвидения читали мы все и даже переписывали с благоговением.

Исключая военных, всем чинам посольства, какого бы ведомства они ни были, выпросил граф Головкин мундир иностранной коллегии, который тогда был очень прост: зеленый с белыми пуговицами и черным бархатным воротником и обшлагами. Он сделал более: он испросил дозволение украсить его богатым серебряным шитьем, которого он тогда еще не имел, и, вместо обыкновенных статских шпажек, носить нам форменные военные сабли, на черной лакированной, через плечо носимой перевязи, с вызолоченными бронзовыми двуглавым орлом и вензелем императора. В дополнение, вместо шляп, даны нам были зеленые фуражки, похожие и на кивер и на каску, также с прибавкой серебряного шитья. Как хотелось сим нарядом щегольнуть нам в Петербурге! Но, как театральный костюм, имели мы право надеть его только при выходе на сцену, то есть при выезде за заставу.

После от'езда моего из Петербурга, несколько времени еще длилось в нем очарование, в котором близ пяти лет находилась вся земля русская и которое неоднократно усили-

вался я изобразить. Но уже приближался конец блаженного времени, того незабвенного пятилетия, которое не для меня одного быстро просияло, как один только веселый, ясный, праздничный день. Пока я странствовал среди отдаленнейших населений России, происходила в ней ощутительная перемена, и наступала вторая эпоха царствования Александра. Когда, после кратковременного отсутствия, водворился я в счастливое дотоле мое отечество, то многое в нем изменилось; поколебалась вера в его несокрушимость; надолго, может быть, навсегда нарушены взаимные любовь и доверенность царя и народа.

Тут [в Казани — по пути в Китай] началась для меня самая веселая жизнь в холостой губернаторской компании, так что я не имел никакой нужды ездить в те дома, куда Довре возил меня знакомить и которые летом никогда или по крайней мере на короткое время расставались с городом. Примечательны были только два семейства, коим я был представлен и коих, в свою очередь, не излишним считаю представить здесь читателю.

Отставной сенатор, Федор Федорович Желтухин, жил тогда в Казани. При Екатерине был он вятским губернатором. Жителей сей губернии, почти всех казенных крестьян, управляющие оною, кажется, и поныне почитают своими собственными; видно, что г. Желтухин слишком сильно в том убедился, ибо его призвали к ответу в Петербург. Суд продолжался, медлил приговором, а покамест теснил обвиненного и все высосанное им мало-по-малу из него выжимал. Наступило грозное царствование Павла, и Желтухин решился на отчаянное средство. Он явился в приемный день у генерал-прокурора с запечатанным огромным пакетом в руках. В коротких словах изобразил он унижение, в котором находится, унижение, которое терпит, и при всех просил тщательно рассмотреть заключенные в пакете бумаги, которые по его уверению послужат к совершенному его оправданию. Вельможа, которого благодарность не позволяет мне назвать, довольно рассеянно приказал секретарю принять пакет из рук его и отнести к себе в кабинет. Там наедине принялся он рассматривать документы и насчитал, говорят, до ста тысяч неоспоримых доказательств в его пользу; вытребовал дело, доложил императору, и через два дня

Желтухин из подсудимого в Сенате пересел в судящие. Тут поспешил он вознаградить себя за понесенные убытки и сделал хорошо, ибо при Павле, как известно, даже на неподвижном месте сенатора, никто долго усидеть не мог. Он был отставлен и выслан из столицы.

Сей почтенный человек был не любящ, не любезен и не любим. Жил он уединенно, посещали его немногие, но при встречах все оказывали ему те знаки уважения, в которых тогда летам и званию отказывать было не позволено. Когда Довре̂ привез меня к нему, он поблагодарил и его и меня. Брат его, Алексей Федорович, был городничим в Саранске и находился под начальством отца моего; это одно уже располагало его быть со мною ласковым, и дня два спустя прислал он звать меня обедать. Этого обеда я не забуду. Я не говорю о столе, который мог быть очень хорош или очень дурен, я не мог судить о том, ибо все, что у меня было перед глазами, отнимало у меня аппетит. Нас было только четверо: хозяин с женою и дочерью, да я четвертый. Никогда, ни прежде, ни после не встречал я лиц, более выражающих злобу, как лица обоих супругов, Федора Федоровича и Анны Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между тем привычная улыбка не покидала их уст, но в ней было что-то презрительное и злорадное (с такою улыбкою убивают врага), и она становилась нежнее, когда только взоры супругов, созданных друг для друга, встречались между собою. Разговор со мною хозяина был вежливый, совсем не глупый, но весьма обыкновенный; видно, что в приглашении меня последовал он только принятому обычаю. А я охотно бы избавил его от того. Худоба, бледность и вечный трепет слуг, глубокая печаль и страхи, изображенные на чертах замужней, разводной его дочери Каховской[1], молчание ее и потупленные взоры, все мне показывало, что я нахожусь в царстве ужаса, как городская молва вслед затем мне подтвердила. Вставши от стола, я спешил вон, и к

---

[1] Сверх того у них еще четыре сына, из коих двое сделались известны. Старший, Сергей Федорович, был трус и глуп; другой, Петр Федорович, умен и храбр; но оба злы и жестоки. Оба кончили жизнь генерал-лейтенантами; последний умер председателем молдавского дивана [правительственный совет] во время последней турецкой войны [1828 г.]. Авт.

счастью меня не удерживали. Выходя из сего дома, мне пришла смешная мысль сравнивать себя с Даниилом, когда по милосердию божию он исходил невредим из львиной ямы.

Другое семейство, с которым меня познакомили, также слыло немного добрее Желтухиных, но по крайней мере не посетители его могли на то жаловаться.

У Ивана Осиповича и Натальи Ипатовны Юшковых [родня Л. Н. Толстого] было пять сыновей и столько же дочерей, от сорока лет до пятнадцати и ниже; и это было менее половины нарожденных ими детей; бо̀льшую же половину они похоронили. Только у нас в России, и то в старину, смотрели без удивления на такое плодородие семейств, коим более принадлежит название рода или племени. Никуда так охотно не стекаются гости, как в те дома, где между хозяевами можно встретить оба пола и все возрасты. Вот почему дом Юшковых почитался и был действительно одним из самых веселых в Казани. Старшие сыновья, один недавно вышедший в отставку, а другой по болезни в отпуску, служили в Преображенском полку; двое из них находились тогда при родителях и помогали им принимать гостей.

Дважды пламя пожирало Казань после того, как я был в сем городе, и он, говорят, в новой красоте подымался из развалин. С тех пор как я его видел, должен был он перемениться, и, может быть, теперь я не узнал бы его. Но и тогда, по населению, по числу и прочности зданий, если не по красоте, мог он действительно почитаться третьим русским городом: ибо Рига немецкий, Вильно польский, а Одесса вавилонский город. Сначала ожидал и искал я в Казани азиятской физиономии, но везде передо мной подымались куполы с крестами, и только издали глаза мои открыли потом минареты. Казань, сколько могла, старалась рабски все перенимать у победительницы своей, Москвы; в шестнадцатом и семнадцатом столетии Россия повелительно, а не всепокорно делала завоевания, как в восемнадцатом и девятнадцатом веке. Не знаю, почему госпожа Сталь называла Москву татарским Римом; гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань татарскою Москвой: также кремль, также древние соборы и храмы, в одном стиле и современные московским церквам, ибо новое зодче-

ство началось у нас при обоих Иоаннах. Купцы, чиновнички и мелкие дворяне, так же, как в Москве за Москвой-рекой и за Яузой, жили здесь за Казанкой и за Булаком. Сплошное каменное строение было при мне только по Большой улице и вокруг так называемого Черного озера; тут были все публичные здания, торговля, и жило лучшее дворянство; в других кварталах каменное строение мешалось с деревянным.

На самых окраинах города поселены были первобытные жители Казани, побежденное племя татарское. Там только мог я часто их встречать. Я заходил в их мечети и безвозбранно смотрел на их моление. Я любил их смелый, откровенный взгляд, их доверчивый характер; одной храбрости русских они бы не уступили, но хитрость и соединенные силы их задавили. Примечательно, что хотя они народ торговый, а никто из них не богатеет подобно русским купцам, которые в глазах их делаются миллионерами; стало быть, и в оборотливости наши их превзошли. Из их древностей видел я только в крепости какие-то переходы, бывшие при царице Сумбеке и носящие ее имя. В окрестностях Казани посетил я один только весьма не замечательный Хижицкий монастырь, место погребения богатых людей, куда ежегодно бывает крестный ход из собора.

Внутренность виденных мною домов богатством и обширностью мало разнствовала от пензенских; только я заметил, что бумажные обои продолжали здесь быть в употреблении, когда в Москве и даже Пензе они совсем были брошены. Один только губернаторский казенный дом, не знаю у кого купленный, великолепием превосходил другие; к украшению его много послужила китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковою материей, по которой в китайском вкусе очень пестро разрисованы были цветы и листья; в диванной стены были настоящие китайские, разноцветные, лакированные, и на них были выпуклые фигуры как будто из финифти.

Был также в Казани и театр, пребольшущий, деревянный, посреди одной из ее площадей; но летом на нем не играли. Содержатель его, Петр Васильевич Есипов, был один из тех русских дворян, ушибленных театром, которые им же потом лечились. Он жил тогда в деревне, я думаю, един-

ственной, ему оставшейся, верстах в сорока от Казани, и с самого приезда моего слышал я все о замышляемом на него набеге губернатора с своим обществом: в сем предприятии должен был я участвовать. Почти перед самым концом пребывания моего в Казани собрались, наконец, на сию партию удовольствия, как говорят французы. Предуведомленный о нашем нашествии хозяин ожидал нас твердою ногой. Как эта поездка была для меня единственною в своем роде, то нет возможности не порассказать об ней.

Нас восемь человек отправилось в линейке, в том числе губернатор и Бестужев. Это было в шесть часов вечера; многие другие, в разных экипажах, пустились еще с утра. Мы ехали не шибко, переменяли лошадей и переправлялись через Волгу, а между тем не видели, как проехали более сорока верст; всю дорогу смеялись, а чему? Как говорит наш простой народ, своему смеху. Генерал Бестужев, развеселясь, также хотел нас потешить; он не умел петь, но прекрасно насвистывал, даже с вариациями, все известные песни. Часу в двенадцатом могли мы только приехать, но дом горел, как в огне, и хозяин встретил нас на крыльце с музыкой и пением. Через полчаса мы были за ужином.

Господин Есипов был рано состарившийся холостяк, добрый и пустой человек, который никакого понятия не имел о порядке, не умел ни в чем себе отказывать и чувственным наслаждениям своим не знал ни меры, ни границ. Он нас употчивал по-своему. Я знал, что дамы его не посещают, и крайне удивился, увидев с дюжину довольно нарядных женщин, которые что-то больно почтительно обошлись с губернатором: все это были Фени, Матреши, Ариши, крепостные актрисы есиповской труппы. Я еще более изумился, когда они пошли с нами к столу и когда, в противность тогдашнего обычая, чтобы женщины садились все на одной стороне, они разместились между нами, так что я очутился промеж двух красавиц. Я очень проголодался; стол был заставлен блюдами и обставлен бутылками; вне себя я думал, что всякого рода удовольствия ожидают меня. Как жестоко был я обманут! Первый кусок, который хотел я пропустить, остановился у меня в горле. Я думал голод утолить питьем: еще хуже. Не было хозяев; следственно, к счастью, некому было заставлять меня есть; зато гости и

гостьи приневоливали пить. Не знаю, какое название можно было дать этим ужасным напиткам, этим отравленным помоям. Это какое-то смешение водок, вин, настоек с примесью, кажется, пива, и все это подслащенное медом, подкрашенное сандалом. Этого мало, настойчивые приглашения сопровождались горячими лобзаниями дев с припевами: «Обнимай сосед соседа, поцелуй сосед соседа, подливай сосед соседу». Я пил, и мне был девятнадцатый год от роду; можно себе представить, в каком расположении духа я находился! На другом конце стола сидели, можно ли поверить? Актеры и музыканты Есипова, то-есть слуги его, которые сменялись, вставали из-за стола, служили нам и потом опять за него садились. В Шотландии, говорят, существовал обычай, чтобы господа и служители одного клана садились за один стол; в этом можно видеть нечто патриархальное, а тут какая была патриархальность!

Сатурналии, вакханалии сии продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужин, я с любопытством ожидал, какому новому обряду нас подвергнут. Самому простому: исключая губернатора и Бестужева, которым отвели особые комнаты, проводили нас всех в просторную горницу, род пустой залы, и пожелали нам доброй ночи. На полу лежали тюфячки, подушки и шерстяные одеяла, отнятые на время у актеров и актрис. Я нагнулся, чтобы взглянуть на подлежащую мне простыню, и вздрогнул от ее пестроты. Сопутники мои, вероятно, зная наперед обычаи сего дома, спокойно стали раздеваться и весело бросились на поганые свои ложа. Нечего было делать, я должен был последовать их примеру. Разгоряченный вином, или тем, что̀ называли сим именем, раз'яренный поцелуями, я млел, я кипел. Жар крови моей и воображения, может быть, наконец бы утих, если бы темнота и молчание водворились вокруг меня; самый отвратительный запах коровьего тухлого масла, коим напитано было мое изголовье, не помешал бы мне успокоиться; но при свете сальных свеч, каляканье, дурацкий наш дорожный разговор возобновился, и другие, приехавшие прежде нас, подливали в него новый вздор. Не один раз подымал я не грозный, но молящий голос; полупьяные смеялись надо мной, не столь учтиво, как справедливо, называя меня неженкой. Один за другим начали засыпать; но когда

последние два болтуна умолкли, занялась заря, которая беспрепятственно вливалась в наши окошки без занавесок. Между тем сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи, все колючие насекомые об'явили мне жестокую войну. Ни на минуту не сомкнув очей, истерзанный, я встал, кое-как оделся и побрел в сад, чтоб освежиться утренним воздухом. Так кончилась для меня сия адская ночь.

Начали советоваться [после заявления Вигеля, что он не хочет оставаться у Есипова], как бы утешить меня и успокоить на следующую ночь. Мансурову необходимо было спать одному: он имел на то свои причины (все губернаторы, бывшие и настоящие, пользуются некоторыми господскими правами); Бестужев, хотя и генерал, их не имел; положено было поставить мне кровать в его комнате и даже занавеской оградить меня от света и насекомых. За обедом я ел, как француз на обратном походе в 1812 году; он был шумен, весел, но более пристоен, чем ужин, ибо драматических артистов с нами не было: все они наряжались и готовились тотчас после обеда потешить нас оперой «Коза рара» или «Редкая вещь». Играли и пели они, как все тогдашние провинциальные актеры, не хуже, не лучше. Наученный опытом, я был осторожен за ужином, надежда меня более не оживляла, я отворачивался от поцелуев, не слушал припевов, и опричь кваса ничего не хотел пить. После спокойной ночи, проведенной с почтенным Бестужевым, я встал, и мы в той же линейке, но другою дорогой отправились обратно в Казань. Ну, господин Есипов! На том свете да отпустятся тебе твои прегрешения, а здесь ты был хуже Буянова и опаснее «Опасного соседа»[1].

Отделения посольства через три-четыре дня следовали одно за другим, останавливаясь в Казани для починки и отдыха, так что иногда одно настигало другое и гнало вперед, ибо для каждого потребно было не менее сорока лошадей.

13 июля, после позднего прощального обеда у Мансурова, решились оставить Казань. У меня были еще коекакие дела, и я выехал несколько позже, но догнал их на первой станции, где мы и ночевали.

---

[1] Стихотворная поэма Вас. Льв. Пушкина. Буянов — герой поэмы, изобилующей эротическими подробностями.

Здесь начинаешь как будто прощаться с матушкой-Россией и близиться к огромной ее дочери, Сибири.

Мы ехали дремучими лесами, почти того не примечая; просека были сажен во сто ширины, и вечно подле тени, мы никогда не знали ее: а жар был летне-северный, то есть нестерпимый. Потому-то решились мы ехать только ночью, а днем отдыхать; станционные же избы представляли к тому большие удобства, ибо простором своим они бы в маленьких городах могли называться домами. Лесу было вдоволь, щадить его было нечего, и строение сих изб стоило не дорого.

Во время отдыха на одной из сих станций мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Толстой Федор Иванович, доселе столь известный под именем американца. Он делал путешествие вокруг света с Крузенштерном и Резановым, со всеми перессорился, всех перессорил, как опасный человек, был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали! Будто бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать их брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою; будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и с'ел; одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей. Действительно он поразил нас своею наружностью. Природа на голове его круто завила густые, черные его волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настращенным моим товарищам казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а, напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил все обыкновенное, но самую речь вел так умно, что мне внутренно было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне сткляницу смородинного сыропа, уверяя, что, приближаясь

к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет. Столь примечательное лицо заслуживает, чтобы на нем остановиться[1].

Скоро вступили мы в переднюю Сибири, в Пермскую губернию; тут опять появились русские селения. Мы нашли один только труп городишка Оханска, который за месяц до нашего приезда весь выгорел; на крутом берегу Камы высоко и одиноко торчал еще дом, занимаемый приказчиком Злобина, содержателя питейного откупа во всей губернии. Он угостил нас по-злобински, пока через реку переправляли наши повозки. Славное вино развеселило сердца наши, и радость в нас умножилась, когда в сопровождении сего приказчика, на двенадцативесельном его катере, оглашенные песнями его гребцов, мы стрелой полетели через широкую Каму. Долг благодарности заставил нас вспомнить о Юшковых, о Гоньбе и о реке Вятке. Но чтó она в сравнении с Камой, с этим образчиком рек зауральских! Всем она взяла, сия величественная Кама, и шириной, и глубиной, и быстротой, и я не могу понять, почему полагают, что она в Волгу, а не Волга в нее впадает.

Ночью, часу во втором, приехали мы в губернский город Пермь и достучались у городничего до указания нам квартиры. В'ехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле: не было тогда города, где бы улицы были шире и дома ниже. Это не было царство, как Казань и Астрахань, не княжеский удельный город, даже не слобода, которая, распространяясь, заставила посадить в себя сперва воеводу; это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено быть губернским

---

[1] Граф Фед. Ив. Толстой, прозванный американцем в виду его пребывания на Алеутских островах и в российско-американских колониях, был в дружеских отношениях со всеми писателями своего времени, не пощадивших его, однако, в своих стихотворениях. Грибоедов писал о нем в «Горе от ума»: «Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алеутом. И крепко на руку нечист. Да, умный человек, не может быть не плутом». Пушкин посвятил ему (1820 г.) следующую эпиграмму: «В жизни мрачной и презренной Был он долго погружен, Долго все концы вселенной Осквернял развратом он — Но, исправляясь понемногу, Он загладил свой позор. И теперь он, слава богу, — Только что картежный вор». А через год в послании к Чаадаеву

городом, и оно послушалось, но только медленно. Торговля есть первое условие существования новых городов; и здесь, хотя слабо, но она одна его поддерживала. Десяток каменных двухэтажных купеческих домов красовались уже в стороне на берегу Камы, тогда как главный в'езд и главные улицы находились в том виде, в котором ночью не столько узрели мы, как угадали их. Утром мы еще более изумились пустоте города Перми: только одна узкая дорога посреди улицы была наезжена; все остальное обратилось в тучные луга, на которых паслись сотни гусей.

Приехавший прежде нас и заживщийся за починками казначей посольства Осипов напугал нас рассказом о начальнике губернии, которого представил сущим медведем. Это был Карл Федорович Модерах, сын одного учителя математики в кадетском корпусе, как я слышал от отца моего. Верно, сын хорошо учился у отца, ибо в свое время почитался у нас одним из лучших инженеров; по его проекту и под его наблюдением берегà Фонтанки выложены были гранитом. Года за два до смерти Екатерины назначен он был губернатором в Пермь и с тех пор никогда не выезжал из своей губернии; мысль о благе вверенного ему края так овладела им, что он день отлучки почитал вредным для него. Модерах был честен, добр, умен и сведущ в делах; но как все великими трудами приобретенное ценится более, чем даровое, то и генерал-губернаторство свое, кажется, ставил он наравне с владетельным герцогством.

С самого в'езда в Пермскую губернию ощутительна в ней становилась рука Модераха: он устроил в ней такие дороги, с которыми можно было бы обойтись без шоссе.

говорил о Толстом: «Что нужды было мне в торжественном суде... философа, который в прежни лета развратом изумил четыре части света». Вместе с тем все знавшие Ф. И. Толстого считали его очень интересным и любопытным человеком. Хорошо охарактеризовал Ф. И. Толстого, в послании к нему, умный и наблюдательный П. А. Вяземский, сказав, про него: «Под бурей рока — твердый камень, В волненьи страсти — легкий лист». Пушкин в 1826 году едва не дрался с Толстым на дуэли, общие друзья примирили их, и через четыре года поэт даже избрал Толстого своим посредником при сватовстве к Н. Н. Гончаровой. Л. Н. Толстой очень интересовался своим шумным сородичем и говорил, что это «необыкновенный, преступный и привлекательный человек».

К несчастью, да, точно можно сказать, к несчастью, через несколько лет проведали о том в Петербурге и, видя с какими малыми средствами и как успешно произведены сии работы, вздумали им подражать. Забыли только, что Модерах делал все исподволь, год за годом, со знанием инженера и с бережливостью немца. В великороссийских же наших губерниях, где всему велят кипеть, построение новых дорог перепортило, истребило только старые, разорило жителей, обогатило надсмотрщиков и губернаторам доставило награды.

В пятидесяти верстах от Кунгура начинается неприметно постепенное возвышение Уральского хребта, и тут ступаешь на землю, чреватую металлическими богатствами. Тут, недалеко в стороне от большой дороги, верстах в двух, находится железный Суксунский завод, принадлежавший Николаю Никитичу Демидову. О его роскоши и о скупости вместе гласят Россия, Франция и Италия; но знает ли кто, слыхал ли кто о беспримерном гостеприимстве, заведенном им на Суксунском заводе? Всякий проезжий, какого бы звания он ни был, в одиночку или с обозом, казенным или собственным, имеет право на сем заводе остановиться и требовать, чтобы в экипажах или повозках его починки, как бы велики ни были, сделаны были даром. Сего мало: во все время, что́ продолжается сия починка, имеет он, также даром, квартиру со столом, а в зимнее время с отоплением и с освещением.

Управитель Пермяков, простой крестьянин с бородою, которого по всей справедливости можно было назвать господином Пермяковым (так он был умен и учтив), явился к нам, как сказал он, за приказаниями и с просьбою посетить его жилище. Оно было в каменном доме о двух этажах, с пребольшим садом над пребольшим прудом; полы лоснились чистотою; главным украшением просто выбеленных комнат были картины, довольно искусно писанные на жести; все они были произведения мастеров другого дальнего Демидовского завода, называемого Тагильским. От скуки ходили мы бродить по окрестностям и находили места живописные; когда бы не климат, тут можно бы было век остаться. Производства работ на заводе мы не могли видеть, ибо рабочие летом трудятся в поле.

Если б я был одарен живым воображением нынешних французских писателей, то какими прелестными выдумками мог бы украсить свой рассказ; хочется, да не могу, както совестно: хотя я и путешествовал, а все лгать не выучился. Вот-таки, например, недавно появился роман г. Александра Дюма под названием «Метр-д'арм»[1]. У меня волосы становились дыбом, когда я читал о всех лишениях и мучениях, претерпенных бедным мусью Метр-д'Арм, на пути из Казани в Тобольск; а между тем, лет за тридцать прежде описываемого им, по тем же самым местам преспокойно проехал я взад и вперед, находя везде селения, просторные, чистые, теплые избы, в которых днем сытно ел, а ночью сладко спал. Если б имел случай встретиться с сочинителем, то, со всем уважением к его великому таланту, позволил бы себе сказать ему: «Послушайте, г. Александр Дюма, не будьте правдивы, это всякому французу дозволено; но по крайней мере будьте сколько-нибудь правдоподобны. Ведь все ныне смеются над вашим же соотечественником Левальяном, который никогда не бывал во внутренности Африки, хотя вместо дичи и настрелял там множество тигров и гиэн. Вы также всех волков и медведей изо всей России загнали навстречу вашему Метр-д'Арм; вы из них составили целые полчища и на необитаемой, беспредельной снежной равнине, при сорока градусах мороза и при свете северного сияния заставляете его с ними сражаться. Несчастный, если он и победил, то как он не умер или не сошел с ума! Нет, г. Дюма, вы слишком бесчеловечны». Что̀ делать! У французов так уже ведется: между ними есть некоторые условные истины, которым они верят более, чем настоящим.

Надобно сказать правду, что места, чрез кои мы проезжали, совсем не были привлекательны красотою, что в избах тараканы хозяйничали и жили в совершенном согласии с людьми и, наконец, что все это было лишь приготовлением к величайшим неприятностям путешествия и к воз-

[1] Роман Дюма «Учитель фехтования», посвященный истории декабриста И. А. Анненкова и его жены Полины Гебль, написан в стиле обычной «развесистой клюквы» с явной и весьма бесталанной спекуляцией на интерес европейской публики к восстанию декабристов в 1825 году.

зрению на настоящее безобразие природы. Мы приближались к Барабинской степи.

Менее суток проехали мы вместе с нашими товарищами; наша медленность, тяжесть наших фур, дурная привычка каждый день ночевать им не понравились, и они нас кинули. Однако же, на беду одного из них, решились они переночевать в одной деревне, на берегу широкой реки, которой имя не вспомню: их было так много. Гурьев не согласился, оставил коляску свою Бенкендорфу, а сам с одним слугой, переправясь через реку, поскакал в перекладной телеге, чтобы первому явиться к послу в Иркутске, месте общего нашего сборища. Оставшиеся еще не спали, когда услышали несколько глухо до них дошедших выстрелов и думали, что он впотьмах изволит тешиться; каково было их удивление, когда поутру на следующей станции нашли они его истерзанного, почти помешанного. Вот что случилось с ним. Едва успел он от'ехать три версты от переправы, как некто стоявший посреди дороги, им в темноте не замеченный, схватил лошадей его и остановил их. Гурьев, полагая, что он имеет дело с одним человеком, не трусил, выстрелил в него и не попал; в ту же минуту сам услышал несколько выстрелов и увидел себя спереди, сзади и с боков окруженным вооруженными людьми, выскочившими из леса. Сопротивление было невозможно; они обезоружили его, связали как его, так и слугу и ямщика и всех трех вместе с лошадьми и телегой поволокли в глубину леса. Там отыскали они знакомую им поляну, остановились на ней, завязали глаза трем пленникам своим, а их самих, стоймя, руками назад, привязали к деревьям; потом разложили огонь, открыли чемодан и стали в нем копаться.

Обыск, вероятно, не отвечал их ожиданиям, ибо они начали с досадою говорить о сделанной ими ошибке. Из слов их видно было, что они поджидали какого-то купеческого приказчика с десятками тысяч рублей, и что же нашли? немного платья, немного белья, вышитый мундир, который мог быть для них уликой, и денег только что на прогоны. Пошли между ними совещания, от коих бедного Гурьева по коже подирало; мнения были несогласны: одни требовали, чтобы людей зарезать, а лошадей и пожитки увезти; другие, более склонные к милосердию, полагали, что над-

лежит довольствовать малой наживой, захваченных же ими следует выпроводить на большую дорогу, взяв с них наперед клятвенное обещание, что, во мзду даруемой им жизни, они никому не будут говорить о том, что с ними происходило. Спорили долго, наконец остановились на мысли одного разбойничьего доктринера, чтобы взять деньги и золотые часы, а пленников, не убивая и не отвязывая, предоставить произволу судьбы. Приговор исполнен, они удалились.

Я не люблю Гурьева, но и до сих пор не могу вспомнить без сострадания об ужасе его положения. Подобно мне, и еще более беззащитен, мог он ожидать нападения хищных зверей. Занялась заря и поднялись насекомые, сибирские страшные насекомые, и начали покрывать язвами все открытые части его тела. Среди этой пытки в беспамятстве рвался и метался он, и оттого веревки, коими он был прикреплен, вытягивались, оставили некоторую свободу его рукам; он воспользовался тем, вооружился терпением и наконец высвободил как себя, так и сомучимых своих. Лошади, телега, чемодан, все тут было, и даже один забытый разбойниками предмет, который он не оставил взять с собою: длинный нож с примечательною рукоятью. Не без труда выбрался он на дорогу и приехал на станцию почти вместе с товарищами своими, которые эту ночь весьма спокойно проспали.

По представленному Гурьевым ножу виновные были потом отысканы. В близости от сей дороги существовала казенная суконная фабрика, основанная при князе Потемкине, когда сей необыкновенный человек мечтал между прочим и о завоевании Китая; туда из России ссылались на вечную работу люди, пойманные в разбое; за ними был плохой присмотр, и некоторые из них, шатаясь, по старой привычке брались за прежнее ремесло.

На свежие, на горячие следы приехали мы на станцию, через несколько часов после происшествия, о котором с великими подробностями рассказал нам станционный смотритель.

Следующую ночь, разумеется, остановились мы, хотя находились близко от Иркутска. Сия ночь была последняя, которую провел я в обществе моих, скажу, милых спутников, всегда снисходительных, всегда веселых. Во время про-

должительного пути кто не ссорится? А мы два месяца на большой дороге жили душа в душу.

Хотя мы и были в Сибири, но все-таки на самом юге ее, под 52-м градусом северной широты, и оттого-то сентябрь совсем не сентябрем смотрел на нас: погода стояла прекрасная, такая, как в Петербурге иногда бывает она невзначай среди августа. В день рождества богородицы, 8 числа, остановились мы в виду Иркутска. Потом начали мы переправляться через широкую Ангару, реку-поток, с яростию вырвавшуюся из Байкала; быстрее и прозрачнее ее, кажется, нет реки в мире: на глубоком дне ее видны все песчинки. Долго продолжалась церемония нашей переправы, ибо далеко надобно было подыматься против течения, чтоб оттуда стрелой спуститься к пристани. Весь Иркутск, на ровном месте, вытянут по Ангаре.

Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной дешевизне, ели с семьею одну солянку, запивали ее квасом или пивом.

Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, лет сорока с небольшим, был весьма не богат, но весьма тароват, словоохотен и любознателен. Жена у него красавица, хотя уже дочь выдана замуж; он держал ее назаперти, и мы, кажется, друг другу очень понравились. Он гордился не столько ею самою, как ее рожденьем: у них был девятилетний сынишка Николай, нежненький, беленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны он теперь известен всей России[1]. Я всякий день ходил обедать к послу и только вечером знал хлебосольство моих хозяев. Можно было подумать, что они хотят меня окормить. Насытясь от

---

[1] Известный журналист и писатель Н. А. Полевой, которого Вигель впоследствии ненавидел за его любовь к Европе.

французского обеда, я за ужином без пощады опоражнивал русские блюда; не знаю, кого из супругов мне благодарить или бранить за сие пресыщение. Я думаю, однако же, скорее жену.

О прибытии своем в Иркутск граф Головкин, через нарочно посланного курьера на границу, уведомил китайское правительство; вместе с тем сообщил он ему подробный список о всех находившихся при нем чиновниках и служителях. На послание свое не замедлил он получить ответ, в коем правительство сие, всегда склонное к подозрениям, непременно требовало от него уменьшения свиты. Желая показать снисходительность, граф послал новый список с значительною убавкою его сопровождающих.

Только что выедешь из Иркутска, начинаются чрезвычайно высокие горы, покрытые лесом, по обеим сторонам Ангары. У подошвы сих гор, по берегу сей быстрой реки, в несколько часов проехав шестьдесят верст, увидел я Байкал, из которого она вытекает. Далее, направо и налево, те же самые горы, все более и более воздымаясь, идут на несколько сот верст вокруг всего этого чудного озера, прозванного в сем краю сердитым и святым морем. Они обхватывают его на всем его протяжении и образуют как бы продолговатую чашу, на дне которой колыхаются его воды.

Неподалеку от города Селенгинска обогнал меня секретарь посольства граф Ламберт и довольно повелительно сказал мне, чтоб я более торопился. Меня это удивило: я не знал, что Головкин послал его вместо себя на границу принять начальство над всеми отправленными туда чиновниками. Не менее того стал я спешить, и как от Селенгинска оставалось мне всего езды 90 верст, то я переменил в нем только лошадей и на рассвете 29 сентября приехал в Кяхту.

Между тем проходили дни и недели, и ничто не предвещало нашего скорого от'езда. Чрезвычайная медленность в ответах китайского правительства последовала за первою его поспешностию; придирки, неуместные требования умножились, и время длилось в переписке. Главным препятствием к сближению была все-таки многочисленность свиты; более всего пугали китайцев сорок драгун с капитаном и двадцать казаков с сотником, данных послу в виде телохранителей.

Они рассуждали, зачем воины в мирной и союзной земле? Они могли бы прибавить, что в случае неприязненных поступков такая горсточка была бы слабою защитой; Головкин же уверял, что сии воины неот'емлемая принадлежность его достоинства и на этом пункте стоял твердо. Во всем прочем был он уступчивее; например, на двух чиновников оставил он по одному служителю, их же самих в новый список внес под названием служителей. Такой обман мог легко открыться и навлечь ему неприятностей; не лучше ли бы было, без малейших для себя унижения и опасности, наполовину уменьшить свое войско?

Были еще другие, посторонние причины, действовавшие на нерешительность и сварливость китайцев. В начале весны умер благонамеренный иезуитский генерал патер Грубер, великий помощник наш в сем деле; узнав о сей смерти, агенты его к нам охладели. Мы любим похвастаться, попугать, и чужестранные газеты давно уже говорили о великих приготовлениях наших и каком-то замысле на Китай; добрые же наши союзники, англичане, не оставив того без внимания, имели время предупредить нас и встретить своими происками. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядит на все концы мира, в мыслях тайно пожирает китайскую торговлю и кончит тем, что у нас на носу ею овладеют.

Все, что происходило, скрывалось от нас в глубокой тайне; у нас всегда некстати секретничают. Но что было жестоко и несправедливо, это требование, чтобы мы не показывали нетерпения; из'явление скуки, малейшее любопытство в сем случае ставились нам в величайшую вину. Люди прибежали к дверям, которых не открывают и не соглашаются им отпереть, и стой они как истуканы у них! Не знаю право, за кого Головкин принимал своих подчиненных. Всех более или менее спасала беспечность. Стараясь сохранить всю важность государственного достоинства своего, посол, до окончания переговоров, ни себе ни нам не позволял видеть китайцев; для того нам воспрещено было ездить в торговую Кяхту, а их не пускали в Троицкосавск.

Письма и газеты из Петербурга приходили к нам исправно; только новости никогда не были свежи, потому что почта ходила оттуда полтора месяца, иногда и долее. Узнали мы,

что государь отправился к армии, и все тому обрадовались. Со смерти Петра великого, около ста лет, ратное поле не видело русского царя; опасаться же за него нам и в голову не приходило: возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой России не был храним самим богом?

В последних числах ноября, не знаю, по какому случаю или по какой причине, Байков верхом поскакал в Ургу, расстоянием 350 верст от Кяхты. Это не город, а главное кочевье в Кобийской или Монгольской степи и местопребывание двух первостатейных мандаринов, вана и амбана; наместника и вице-наместника ханских; до этого места, не далее, ездят обыкновенно посланцы нашего губернского иркутского начальства. Он, кажется, возил ультиматум Головкина и, не дождавшись ответа из Пекина, через неделю воротился.

Около половины декабря дзаргучей или комендант маймачинский потребовал аудиенции у посла, и мы в первый раз увидели китайцев. Он явился с приятным известием, что молодой родственник императора, Бейс, с многочисленною свитой уже на пути из Пекина, чтобы встретить и проводить туда наше посольство. Затем снято запрещение ездить нам в торговую Кяхту и в Маймачин, и я не из последних сим дозволением воспользовался.

Маймачин — единственный китайский городок, который я видел, и потому не лишним считаю сказать о нем здесь несколько слов. Он построен правильным четвероугольником и весь обнесен превысоким забором; разбит он, как регулярный сад, и самые улицы его могут почитаться узкими аллеями; строение на них совершенно одинаковой вышины, низкое, сплошное, без малейшего разрыва и единого окна. Такою улицей идешь, как коридором, между двух стен, вымазанных сероватою глиной, не выкрашенных и не беленных; справа и слева дома различаются только всегда закрытыми отверстиями, раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми над ними навесами. На каждом перекрестке есть крытое место с четырьмя воротами, так что всякая улица может запираться, как дом; над крытым же местом всегда возвышается деревянная башня, в два или три яруса, расцвеченная, с драконами, колокольчиками, бубенчиками, какие вы видели на картинках или в садах. Это давало Маймачину

довольно красивый вид, особливо в сравнении с двумя Кяхтами, большою и малою; но беда если пожар: ничто не уцелеет! Во внутренности дворов, вокруг всей стены, идет открытая, наружная галлерея на столбиках, служащая соединением жилых покоев с амбарами и конюшнями; как все окна выходят на галлерею сию, то можно посудить о темноте, которая бывает в комнатах. На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу брани; он находится в особенном месте или приделе и стоя держит за узду бешеного коня. В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на троне сидящего, и массивную, пуд в двадцать, железную полированную лампаду, день и ночь перед ним горящую.

Лишь только посол узнал о прибытии Бейса в Маймачин, призвал меня и с видом сердечного сожаления об'явил о необходимости расстаться со мною. Вместо ответа, я только поклонился и вышел: ни просить, ни жаловаться, ни благодарить, кажется, было нечего. Исключая двух Шубертов, отца и сына, да меня, еще четыре человека были пожертвованы необходимости, как говорил Головкин: кавалер посольства Васильчиков, профессор Клапрот, Корнеев и Клемент. С двумя последними не сочли нужным много церемониться, а в прочих был замечен не знаю какой-то дух непокорности. Не говорю о себе; но отослать двух самых ученых профессоров, чтоб взять с собою лишних два-три драгуна, кому бы не показалось безрассудно?

Когда [П. Д.] Вонифатьев [начальник таможни в Кяхте] узнал о моей выключке, то, встретясь со мною на улице, бросился обнимать. Он нашел какой-то предлог и прежней холодной со мною суровости, и внезапной своей приязни, затащил к себе, стал потчивать и расточать грубые свои ласки. Как знаток, предложил он дешево купить некоторые китайские безделицы и достал их почти даром, наконец прислал мне на дорогу огромный ящик чаю [1]. О Головкине пока ни слова; но, видя меня раз довольно печальным, потихоньку сказал он мне: «Не горюй, брат; поверь мне, не бывать им

---

[1] В юго-восточной Сибири чай почитается поклоном: не принять его значит не отвечать на поклон и за вежливость заплатить неучтивостью. Авт.

далее Урги; месяца полтора попляшут на морозе, а что увидят? Почти то же, что здесь». Мне стало гадко, а не менее того он утешил меня своими словами.

Сначала Бейс у посла имел публичную аудиенцию, на которой мы все присутствовали, потом другую, приватную. Головкин, стараясь приноровиться к восточной напыщенности речей, через переводчика так и сыпал гиперболами, на кои Бейс отвечал тихо и скромно; а между тем Байков в углу со смехом ругал китайцев непотребными словами, не замечая, что в свите Бейса находились маймачинцы, очень хорошо понимающие русский язык и любимые народные поговорки. Китайский принц совсем не похож был на китайца: худощав, смугл, с правильными чертами, черными глазами и усиками, с нежным и приятным голосом; он всем понравился. Наряд китайцев невольно смешил нас: куриозно было видеть мущин в кофтах с юбками. Всего страннее показался мне экипаж, в котором привезли Бейса: это были употребляемые в Европе носилки (porte chaise), на двух колесах с оглоблями.

Забавны были также и воины китайские, азиатские амуры, с луком и колчаном за спиной, со стеклянною шишкой на шапке и с прикрепленным к ней павлиньим пером. Я видел, как сии герои, обступив наших драгун, сидящих на коне, смотрели на них с ужасом: правда, народ был подобран все рослый, усастый, лошади под ними были, как слоны, и каски на них в аршин вышиною; но все-таки солдаты другой азиатской нации, при виде их, умели бы скрыть свой страх.

И в Петербурге смеялись над ними, когда, возвратясь, говорили мы о войне с Китаем, как о деле не только сбыточном, но и весьма не затруднительном в исполнении. У тех, кои по крайней мере брали труд оспаривать нас, вечным аргументом была степь. Конечно, она имеет до восьми сот верст ширины; но эта степь вся заселена кочующими монголами не слишком преданными китайско-манчжурскому племени, с которым не принадлежат даже к одной вере; но эту степь везде пересекают речки и рощи, везде есть топливо и вода. Для продовольствия десятки степных кораблей, верблюдов, могут заменить тысячи под'емных лошадей; а их целые сотни можно разом купить на границе. Главное же то, что пред тридцатью тысячами русского войска не устоит полмиллиона китайцев; кажется, это ясно. У нас и без того

слишком много владений, продолжают спорщики; да кто говорит о завоевании Китая, о присоединении его к России? Но когда судьба или, лучше сказать, само провидение, нас с завязанными глазами подвело почти к каменной стене, как не внять его гласу? Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов? Как на устье Амура, где так много удобных пристаней, не сделать нового порта и не заменить им несчастные Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто раз было бы полезнее, чем наши глупые американские владения, все эти Курильские и Алеутские острова. Наконец, как оставлять в запустении великое, плодородное пространство земли и не открыть его на севере Сибири прозябающим племенам — якутам, тунгусам, корякам, чтоб из животных превратить их в людей? Глас божий — глас народа; в Иркутске, Нерчинске и за Байкалом нету жителя, который бы не говорил о Даурии, как о потерянном рае; эти бедные люди не могут понять, чем прогневали они так белого царя, что он им не хочет отпереть его.

Европа поглощает все внимание правительства, и ему мало времени думать об азиатских выгодах. К тому же почти всегда дипломатическая часть поручалась у нас иностранцам, и они более заботились о том, что к ним ближе. Бирон, немец или латыш, бог его знает, даром отдал Даурию, а русский Потемкин хотел опять ее завоевать. Все великие помыслы о славе России, исключая одной женщины, родятся только в головах одних русских: Годунова, Петра, Потемкина.

Наступил для посольства день от'езда, 21 декабря. Снегу не было; холод несколько дней начал усиливаться; в это утро термометр на солнце спустился на 14 градусов ниже точки замерзания. Перспектива была неутешительна: дни проводить в колясках или верхом, а ночью в клетчатых войлоком укутанных юртах или кибитках; посол мрачен, все другие печальны. Первый раз в жизни услышал я слово бивуак, не зная, что через несколько дней должен буду испытать его значение. С кем-то, на дрожках, рано поутру отправился я в малую Кяхту. Скоро прибыл посол с дру-

жиной и в деревянной церкви выслушал путешественный молебен, что исполнил он как простой обряд, который ему присоветовали; вышедши из церкви, поспешил он сесть на лошадь.

У меня сердце сжалось, когда пришлось мне расставаться с товарищами; три месяца свыкся я с ними в ссылке; все простились со мной дружески, все накануне снабдили меня письмами в Петербург.

На улице и по дороге зрелище было любопытное, совсем необыкновенное. Обе Кяхты, Маймачин ходили вокруг обоза, который тянулся более чем на версту. Все, что шло через Сибирь отделениями, было тут собрано вместе с присоединением драгун, казаков и свиты китайского князька, которая была вдвое более посольской. Целые табуны диких, степных лошадей были впряжены в повозки и европейские коляски, каких они от роду не видывали; они ржали, бесились, становились на дыбы и часто рвали веревочные постромки. На козлах сидели монголы с русскими людьми, которые учили их править. Другие монголы, привлеченные любопытством, носились кругом на своих лошаденках. Впереди, ужасно величествен, посол ехал верхом с своею кавалькадой. Шум, гвалт, кутерьма! Я отказался проводить посольство до первого ночлега; довольно было с меня следовать за ним версты две или три, чтобы полюбоваться сим удивительным поездом.

Возвратясь в Троицкосавск, обедал я у Вонифатьева, по его приглашению. До тех пор он был довольно скромен в речах о Головкине, а тут совсем распоясался на его счет. Я был растроган, чувство великодушия во мне не погасало, и я отвечал ему довольно резко и зло, чтобы рассердить его. Более мы с ним не виделись; кажется, после того он еще многие, многие лета царствовал в Китае[1].

Я продал свою бричку и на перекладных телегах, вместе с Васильчиковым и с Клементом, 23 декабря отправился в обратный путь.

29-го числа приехал я в Иркутск и остановился у прежнего хозяина своего, г. Полевого.

---

[1] Посольство Головкина так и не дошло до Пекина. Китайцы вернули его из Монголии; однако, Головкин и позднее служил по дипломатическому ведомству, а в 1826 г. был членом суда над декабристами.

Для удовлетворения любопытства ничего не мог я лучше избрать: Полевой занимался европейскою политикой гораздо более, чем азиятскою своею торговлей. В нем была заметна наклонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие. Во время последнего моего пребывания в Иркутске узнал я у него о том, что месяца два перед тем происходило в Германии; как подлец Мак положил оружие при Ульме, как австрийская армия ретировалась, как ученик Суворова, Багратион, дрался уже с французами и при Голлабрюне и Вишау дал им сильный отпор. Маленький сын Полевого не питал еще тогда ненависти к своему отечеству; напротив, прельщался его славою и написал четверостишие, в котором вклеил, играя словами: Бог рати он и На поле он. После то же самое слышал я в Москве, и теперь не знаю, где было эхо, там ли, или в Иркутске? Где повторяли, и кто у кого перенял? Я покамест был доволен и приятными известиями из армии надеялся насладиться по возвращении моем в столицу.

Были в Иркутске музыканты, были и актеры, следственно был театр, были и содержатели его; все это составилось из ссыльных и их детей и должно бы быть изрядно. Играли, однако же, так дурно, что хоть бы на великороссийском губернском театре.

В первый мой приезд был я, хотя весьма маловажное, однако же, официальное лицо и потому ссыльных не мог принимать у себя; они же сами держали себя от нас поодаль. Теперь же, как частный человек, я не отказывался видеться с ними, тем более, что они всех посещали, и я везде их встречал. Несчастие почитается здесь почти невинностию, и сосланным, лишенным чинов и дворянства, под именем несчастных оказывается от жителей такое внимание, что можно подумать, будто общее мнение собственною силой хочет восстановить их в прежнем достоинстве. Некоторые из них употребляют иногда во зло такую снисходительность.

Двое несчастных, как их называют в Сибири, устроили в Иркутске театр. Один из них имел большой чин и носил знатное имя, князь Василий Николаевич Горчаков. От природы расточитель и плут, еще в первой молодости, разными

постыдными средствами и обманом проживал он чужие деньги. Он попал в милость к императору Павлу, который, под именем главного военного комиссара, определил его лазутчиком к принцу Конде. С его корпусом делал он поход в Германию и безжалостно обирал бедных, храбрых эмигрантов, удерживая часть сумм, от щедрот царя через него им доставляемых. После того с полновластию ездил он к казакам на Дон и, наконец, назначен будучи военным губернатором в Ревель, только что было принимался грабить немцев, как император Александр, вступив на престол, удалил его от должности. В то же время богатая жена [1], которой имение начинал он проматывать, разошлась с ним. Лишенный всех способов кидать деньги, он прибегнул к деланию фальшивых векселей; мошенничество его скоро открылось, и он очутился в Иркутске.

Другой, Алексей Петрович Шубин, был жалкое, ничтожное создание, блудливый как кошка, глупый как баран. Он сделался жертвой мерзких интриг одного товарища своего в Семеновском полку, Константина Полторацкого, который был ложным его другом и любовником его жены. Тот подучил его выдумать какой-то заговор против Александра, в котором будто бы отказался он участвовать. Чтобы попасть к царю в милость, в доказательство мести людей, коих не умел он назвать и кои страшились его нескромности, ночью в Летнем саду прострелил он себе руку. Его сослали, а наставник и предатель его Полторацкий, который совсем не умен, а только изворотливый и смелый буффон, остался прав, как после того неоднократно из пакостей своих, как из грязи, всегда выходил он чист и сух.

Горчаков лицом и взглядом походил на ястреба. Шубин — на овцу. Ссылка связала их дружбой, любовь их поссорила. Примадонна, дочь одного сосланного польского шляхтича, тайно оказывала милости обоим антрепренерам; когда неверность ее открылась, сумасшедшие вызвали друг друга на поединок. Их до него не допустили, и все взяли сторону Шубина; Горчакова же послали в Тункинский острог. Через несколько времени воротился он из него; но Шубин торже-

---

[1] Единственная дочь, которую имел он от нее, была замужем за Львом Алексеевичем Перовским и умерла бездетна. Авт.

ствовал, оставшись один властелином театра и примадонны. Оба, признаюсь, были мне гадки, но Горчаков во сто раз гаже низостью души и откровенностию порока.

Третий изгнанник, который явился ко мне, казался мне забавнее. Это был опрятненький, сухенький, живой и здоровый шестидесятилетний старичок, последняя отрасль не весьма известного, но не менее того истинного русского княжеского рода Гундоровых. Спросить его, за что он был сослан, почитал я нескромностию; а он так давно находился в Сибири, что никто не помнил причины его заточения. Сам же он очень хорошо помнил веселую молодость в Москве и был для меня хроникой старинного московского скандала.

Других примечательных людей в этом роде я еще не видел, кроме одного эстляндского дворянина, Сталь фон-Голстейн; но этот обществ не посещал. Он, видно, смолоду был великий гастроном, учил за деньги поваров и на каждом большом званом обеде, во фраке, чисто одетый, являлся в виде метрдотеля и распоряжался столом. У себя за стулом имел я честь видеть однофамильца, может быть, и родственника знаменитой писательницы[1].

Святки хотел я взять в Иркутске. Я не очень спешил из него: такой род жизни, какой вел я тогда в нем, нравится молодости. Однако же, натешась досыта, 7 января оставил я его в купленной мною огромной зимней кибитке.

Генерал-губернатор Селифонтов, которому представлялся я в Иркутске, первый позвал меня обедать; после него два немца, гражданский губернатор Гермес и вице-губернатор Штейнгель, сделали то же.

Первый из двух, бывший артиллерист, Богдан Андреевич Гермес, с многочисленным семейством, жил одним жалованьем, следственно скромно, даже скудно; к тому же не охотник был много говорить, и потому в великороссийских губерниях нашли бы его дурным губернатором. Но в Сибири его любили и уважали за его бескорыстие, доброту и строгость только в случае надобности. Другой, отставной моряк, Иван Федорович Штейнгель, немного богаче первого, но

[1] Имеется в виду знаменитая французская писательница г-жа Сталь, дочь известного перед Великой революцией министра финансов Неккера.

столько же честен, был сообщительнее и нравом несколько веселее его.

Почтенный старик Иван Осипович жил также не слишком великолепно, хотя получал содержание, по тогдашнему времени, довольно большое. Скоро должен был наступить для него черный день, и он на него как будто берег денежку. С ним были жена и дочь, да сверх того находились при нем, в звании чиновников по особым поручениям, два сына, молодые люди, ничем не замечательные.

Он казался уныл, не зная, впрочем, до какой степени поверят в Петербурге неосновательному, можно сказать, ложному доносу посла. Богу даст он ответ, этот граф Головкин, не столько еще за легкомысленную жестокость, с которою свергнул он невинного, заслуженного старца, сколько за ужасные от того последствия для Сибири. Более двадцати лет прошло с тех пор, как не терзает ее преемник Селифонтова, Пестель [И. Б.], а имя его жителями ее с проклятиями еще передается внукам. Как имя сие напоминает моровую язву, так сам он был продолжительным бедствием в Сибири. Другие люди бывают жестоки из трусости, из мщения, из желания выслужиться, может быть, с намерением быть полезными; а этот человек любил зло, как стихию, без которой он дышать не может, как рыба любит воду. Никогда еще сибирский край не был управляем столь достойными людьми, каковы были три губернатора, Гермес, Хвостов и Корнилов; при Пестеле скоро ни один из них не остался на месте. Гермес с Штейнгелем заблаговременно успели убраться в Пермь к Модераху; Корнилов же и Хвостов, мало-по-малу опутанные его кознями, привлечены им были к ответу в Сенат. Не смея показаться в Сибири, где ожидало его убийство, он правил ею из Петербурга посредством подобных себе извергов, коим выпросил он там губернаторские места. Находясь в столице, он беспрестанно новыми обвинениями преследовал двух несчастных, которые около десяти лет томились под судом. Истина наконец восторжествовала: они оправданы, сделаны сенаторами, а он удален от службы. В другом государстве был бы он повешан. Над преступным сыном[1] его

---

[1] Глава заговора декабристов, вождь южного общества П. И. Пестель, повешенный Николаем I 13 июля 1826 года.

свершилась впоследствии сия праведная казнь, которую, может быть, он гораздо более его заслуживал.

Расставаясь с Сибирью, которую, если бог милостив, никогда не увижу, позволю себе здесь некоторые размышления о ней. Она была завоевана, можно сказать, открыта в одно время почти с английскими колониями, нынешними северо-американскими Штатами. Британское правительство ничего не щадило, чтобы сделать для себя полезным приобретение первых владений своих за океаном; для заселения их употребляло самые бесчеловечные средства. Двухвековые усилия сего правительства мудрого, искусного, деятельного увенчались совершенным успехом. Много способствовали ему просвещение, расчетливый ум и предприимчивость частных лиц, богатевших на приобретенной ими земле. Чем же кончилось? Миллионы сынов Англии отреклись от нее, восстали на нее, победили, освободились и сделались первыми, почти единственными ее соперниками. Кто знает! То же самое когда-нибудь случится и с Вандименовою землей: у торгового народа нет других уз, кроме барышей.

Беспечная Россия всегда смотрела на Сибирь, как богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, более или менее честным, более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, железом, мехами: ей только и надобно; о нравственном и политическом состоянии его она мало заботится. Крестьяне, ходя на промысел и подвигаясь все вперед, наткнулись на транзитную китайскую торговлю; тем лучше: и им прибыль и госпоже.

Как не признать, что во время дремоты нашей у изголовья самим богом приставлен к нам ангел-хранитель? Зачем же нам слишком хлопотать? В свое время все полезное придет к нам само собою. Когда мы больно начнем мудрить, всегда наделаем глупостей; известно, что мы мастера все испортить. Все идет нам впрок, даже леность и невежество наших дворян. Что если б, от природы ко всему способные, они вздумали почти задаром покупать в Сибири большие пространства девственной земли и переводить на них крестьян (что никогда запрещено не было)? Какими бы владетельными князьями могли они сделаться! Но, к счастию, им

это не приходило в голову; им приятнее было вести праздную жизнь в деревнях или в столицах, щеголять европейскою болтовней. Итак в Сибири нет ни одного помещика: все казенное, все божье да государево. Чиновники все присылаются из России; пробыв несколько лет, когда они волею или неволею оставляют службу, то опять в нее же возвращаются. Духовенство везде у нас бедно; миллионщики-купцы также не владеют землею, имеют только дома и капиталы и торг ведут по большей части через Россию. Одним словом, Сибирь, как медведь, сидит у нее на привязи.

От Перми в Казань дорога показалась мне весьма приятною, потому что воздух сделался вдруг гораздо теплее: после продолжительных морозов в пути оттепель покажется всегда благополучием. При масленичной погоде, во вторник на маслянице приехал я в Казань.

В Казани находился тогда один выходец, я чуть было не сказал, беглец, из действовавшей армии, сын Желтухина, Измайловского полка полковник Сергей Федорович, который был в аустерлицком сражении или близ его и после угрожавших ему издали опасностей приехал успокоиться к родителям. Я было к нему с расспросами; он отвечал так неясно, так отрывисто, что я приписал это его гордости или скромности; после в Петербурге узнал, что это происходило от его неведения и что вообще самое воспоминание о сражениях его сильно тревожило.

Несмотря на великий пост, в Москве казалось шумно и весело. В ней только тогда победителей ожидали триумфы, и князь Багратион, почти единственный из военачальников, поддержавших честь русского оружия, приехал в нее за венками, со множеством молодых знатных людей, подвизавшихся с ним в последнюю кампанию. Из них, у князя Сергия Федоровича Голицына, видел я только одного, третьего сына его, князя Сергия, который имел на голове рану и весьма красиво и кокетски надетую черную повязку. Множество праздников с похвальными куплетами даны были в честь Багратиона и его сподвижников. На одном из них, в благородном собрании, самом блистательном и многолюдном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой-то воинственной девой,

с каской на голове, в куртке светло-зеленого цвета с оранжевым, вместо обыкновенных лент, украшенная георгиевскими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Багратион был шефом, и своим прекрасным голосом пропела стихи во славу его. Все это было очень трогательно и немного смешно. Возвратившись, как мне казалось, со стыдом, я никуда не показывался, и пишу здесь все одно слышанное.

Мне так надоела дорога всю зиму и так хорошо мне было с родными, что я дней десять откладывал все выезд свой. Но последний зимний путь начинал портиться, и я должен был спешить, чтобы воспользоваться им. Итак, 12 марта покинув Москву, 16-го прибыл я в Петербург, после десятимесячного из него отсутствия.

Расположение умов нашел я в Петербурге иное, чем в Москве. Там позволяли себе осуждать царя, даже смеяться над ним и вместе с тем обременять ругательствами победителя его, с презрением называя его Наполеошкой. Здесь, напротив, были воздержнее: все чувствовали, что унижение, понесенное главою народа, неизбежно должно разделять с ним все государство. Самое негодование на сильного противника нашего было глубже и пристойнее; большого уныния не показывали, все храбрились, последнюю победу его усиливались приписывать более счастию, чем искусству, и желание новой с ним войны было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмигрантами и участвовавшая в сей войне, не столько ненавидела в нем врага своего отечества, как маленького поручика, дерзнувшего воссесть на престоле великого Людовика; она спесиво и грозно толковала о будущих своих подвигах, над чем иные тайком смеялись, будто по ошибке вместо г е р о называя их з е р о и розданным ей во множестве анненским шпагам давая название ослиных шпаг: âne вместо Anne. Чувствами, выражаемыми лучшим обществом, двором и гвардией, должен был государь остаться доволен, хотя французский роялизм, а еще более раболепство в сем случае принимали цвет патриотизма; к сожалению, другого почти не бывает в новой столице. С другой стороны, приверженцы Англии указывали на нее как на якорь нашего спасения, и влияние ее на дела

наши сделалось еще сильнее прежнего. Несмотря на мое неведение, с этого времени начал я ее ненавидеть: мне казалась обидна мысль, что мы в числе народов, коих гордые островитяне, вне континентальных опасностей, нанимают, чтобы сражаться за их выгоды[1].

Одного из последователей английской системы не щадило тогда общее мнение. Князь Адам Чарторижский, управлявший иностранными делами и находившийся во время путешествия и аустерлицкого сражения при государе, сделался всем ненавистен. В средних классах называли его просто изменником; а тайная радость его, при виде неблагоприятных для нас событий, не избежала также от глаз высшей публики. Император в это время дорожил еще мнением России, которая громко взывала к нему об удалении предателя, и Чарторижский к концу лета должен был оставить министерство, сохранив только звание попечителя виленского университета. Мне сказали, что по возвращении из посольства должен я был непременно к нему явиться, и я исполнил сие как весьма тягостную для меня обязанность. В прихожей нашел я дежурного, который пошел обо мне докладывать; он был один и чрез пять минут велел позвать меня к себе. Пройдя длинный ряд комнат, я вошел в его кабинет; он не сидел, а стоял за высоким письменным столом, оборотился ко мне с приятною улыбкой, сказал несколько вежливых вопросов и кончил предложением вступить под его начальство. Я, поклонясь только, поблагодарил, не стараясь давать отказу своему никакого благовидного предлога. После не один раз жалел я о том; но тут, когда он был так добр со мною, право, кажется, готов бы я был его зарезать. Не знаю, чем заслужил я его милость. Наружность ли ему моя понравилась, или нерусское мое прозвание, или предполагаемое во мне неудовольствие за сделанную мне несправедливость? Это был единственный раз, что я его видел, и предубеждение мое до того не простиралось, чтобы не заметить, как приятно было выражение лица его, несмотря на слишком выдвинутую вперед нижнюю челюсть.

---

[1] Войны России с Наполеоном, до 1812 года, были подготовлены на деньги Англии, и Александр ввязался в них, главным образом, под ее давлением.

Прежде того успел я являться к настоящим моим начальникам, Кочубею и Сперанскому. Оба приняли меня холодно и сухо, ни о чем не спросили и сказали только, что я попрежнему могу заниматься в канцелярии, то-есть, в переводе, по прежнему могу ничего не делать. Более любезности, гораздо более внимательности нашел я в гостиных, куда ввели меня привезенные от товарищей письма. Я не думал ими воспользоваться и сначала, развозя их, отдавал просто швейцару; но мне суждено было иметь свою минуту известности. Меня отыскали, я получил приглашения и был осыпан учтивостями и расспросами. Вот тут-то, и только в это время, случилось мне раза два или три быть в доме Гурьевых. Димитрий Александрович тогда еще не был министром; но и тогда подведомственных ему чиновников в Кабинете и Удельном департаменте подавлял тяжестью ума своего; в свете же имел все замашки величайшего аристократа, хотя отец его, едва ли не из податного состояния, был управителем у одного богатого, но не знатного и провинциального помещика. Зато сам он женился на графине Салтыковой, престарелой девке, от руки коей, несмотря на ее большое состояние, долго все бегали. Прасковья Николаевна, тогда уже дама довольно пожилая, была расточительна на ласки с теми, коих почитала себе равными или с коими хотела сравняться, и раздавительно горда со всеми, кои казались ей ниже ее. Сия чета в начале девятнадцатого века открывала у нас торжественное шествие его финансовой знатности; в сем доме имел вес титул, но только в соединении с кредитом при дворе; одно богатство, но только самое огромное, и наконец мода, которая как из людей, так и из нарядов не всегда самое лучшее выставляет и вводит в употребление. Вот куда я попался, и вот какова сила предрассудков, что, внимая приветам хозяев, некоторое время я чувствовал себя несколькими вершками выше прежнего.

У Нарышкиных не имел я нужды в новой рекомендации, чтобы хорошо быть принятым. Однако же чадолюбие Александра Львовича заставило его быть еще любезнее с человеком, которого сын его письменно называл своим приятелем.

Мне вдруг сказали, что приехал Байков; я не поверил, тем более, что сие случилось 1 апреля. Однако я вспомнил пророчество Вонифатьева; оно сбылось слово в слово.

Некоторое время старались держать втайне причину возвращения Байкова. Не быв свидетелем происходившего на Урге, я не могу ручаться за достоверность сообщаемого здесь рассказа и передаю его, как после слышал от возвратившихся моих сопутников.

Бесконечный караван, при постоянных морозах, шаг за шагом три недели тянулся до Урги. Тут посольство расположилось станом и примкнуло к сему большому монгольскому стану, посреди коего находилось одно только прочное жилище двух мандаринов, наместников ханских. Первые дни прошли в посещениях, во взаимных учтивостях, то есть в церемониях и в пересылке подарков. Посол более чем когда старался показать европейскую ловкость и любезность. Но китайцы (если позволено мне сделать весьма неблагородно и часто употребляемое сравнение) в этом деле столь же плохие судьи, как свиньи в апельсинах. Гораздо полезнее было бы послать к ним какого-нибудь увальня: его истуканству они охотнее стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины как на фигляров, им насмех присланных, и с каждым днем начали умножать свои требования; терпение бедного посла подвергнуто было жесточайшим испытаниям. В один день, по полученным из Пекина наставлениям, приглашен был он к вану на какое-то празднество; тут предложена ему была репетиция того церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнату, в которой поставлено было изображение сего последнего (полно, верить ли тому?), должен был он войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Он отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора; может быть, надеялся он испугать китайцев, твердым намерением долго жить на их счет. На другой день, все подарки, им сделанные, в сундуках и ящиках, были не выставлены, а брошены перед его посольскою палаткой. После того ему ничего не оставалось более, как ехать в Сибирь дожидаться приказаний двора своего. Обратный

путь был ужасен: к холоду скоро присоединился голод; по целым суткам тщетно ожидая с'естных припасов, посольство вместо мяса получало иногда живых баранов в небольшом количестве и, не имея с собою мясников, должно было еще платить за их резание. Не было неприятностей, коих бы оно не претерпело от сих варваров. Как было в глубине сердца не возблагодарить мне бога, пославшего злодею моему Байкову мысль спасти меня от всех этих напрасных мучений! После пятидесятишестидневного странствования в пустыне, Головкин, подобно Моисею, не узрев обетованной земли, возвратился в Кяхту.

После урона, претерпенного на Западе, государь не очень расположен был к снисходительности, и бедный Головкин понес опалу [ему велено оставаться в Иркутске до тех пор, пока его оттуда не вызовут].

Оставаться в виде изгнанника там, где так недавно он господствовал — наказание, по мнению моему, слишком жестокое за вину неумышленную. Надобно признаться, что в искательности, медленности и продолжительности наказаний Александр был знаток.

Когда последний из чиновников прибыл обратно, чтó было в начале сентября, тогда только бывшему послу и его секретарю посольства дано позволение оставить Сибирь.

В обществе, коего был он [Головкин] одним из знаменитейших граждан, явился он спокойно и безбоязненно, но при дворе долго не показывался. В продолжение всего царствования Александра не мог он заставить его забыть свою первую неудачу; иногда приподнимался, но никогда совершенно не мог стать на ноги.

С великим удовольствием встретил я Тургенева, бывшего товарища моего в московском архиве.

Описывая вступление мое в службу в помянутый архив, говорил я об Андрее Тургеневе, о рановременной его кончине, о великой потере, которую сделали в нем отечество, дружба и словесность. Там же слегка упомянул я о меньшом брате его Александре, застенчивом, ото всего краснеющем мальчике. Тут показался он мне совсем в ином виде. Настоящей дружбы между нами никогда не было, никакого влияния на судьбу мою он не имел; но в частых

сношениях, в частых свиданиях прошли наша молодость, зрелые наши лета и встретила нас старость. И поэтому мне кажется, что на мне лежит трудная обязанность, забыв и старинное мое к нему приязненное расположение и настоящее негодование, изобразить его с беспристрастием. А как вообще все это семейство (не род, я говорю) Тургеневых, которого у нас на Руси скоро и следов не останется, было в ней очень примечательно, как правила и поступки сего самого Александра Тургенева, по большей части, были следствием какого-то общего направления, взятого сим семейством, то от него отделять его почти невозможно, и, может быть, во мзду многих приятных часов, проведенных мною с членами его, суждено мне, если сам только спасусь, спасти и его от забвения[1].

Отца Тургенева, Ивана Петровича, я никогда не знавал. Он слыл умным, добродетельным и просвещенным человеком [2]. К счастью или на беду его, в последней половине царствования Екатерины показалась в Москве секта мартинистов.

Мартинизм, как кажется, исключительно филантропическая секта, ибо последователи его все толкуют о святом человеколюбии и, вероятно, полагают, что можно исполнять его обязанности без помощи христианской веры. Немецкое злое семя на русской почве не могло или не успело развиться. Человек просвещенный, Николай Новиков, духовный отец всех в России мартинистов, завербовав несколько знатных и богатых людей, с помощью их и на их счет завел лучшую и обширнейшую типографию в Москве, дорого платил авторам за право печатать их сочинения, дешево уступал их книгопродавцам, поощрял все молодые таланты, отправлял за границу отличнейших между воспитан-

---

[1] Уже тогда, когда писались записки Вигеля, А. И. Тургенев пользовался заслуженной известностью в русском обществе. Это был человек, по отзывам всех знавших его, благородный, образованный, умный, враг насилия и произвола, много сделавший для развития русской исторической науки своей энергией и настойчивостью в собирании старых документов и материалов. Известен он также видным и всегда благотворным участием в личной жизни Пушкина.

[2] И. П. Тургенев был директором московского университета и другом знаменитого Н. И. Новикова.

никами университета; никогда частное лицо не способствовало так у нас распространению просвещения. Но успехи французской революции сделали наше правительство и самоё Екатерину подозрительными и осторожными: посреди их благотворных действий открыли (с позволения сказать) заднюю мысль, arrière pensée мартинистов, и разослали их по разным отдаленным местам государства, Трубецких, Ивана Владимировича Лопухина и многих других; пощадили только фельдмаршала князя Репнина. Отец Тургеневых сослан был в Симбирск, где и оставался до царствования Павла, который освобождал десятки жертв мнимой несправедливости своей матери, чтобы после ссылать тысячи жертв своих прихотей.

Так о мартинистах гласят предания, и если в мой рассказ вкралась какая-нибудь неверность, то это их вина, а может быть и моя, ибо я слушал их без большого внимания. Итак, возможно ли, чтобы сыновья мученика, воспитанные им в заточении, не приняли его веры? Чтобы они не возненавидели власть тиранов, от которой он пострадал? Сделавшись при Павле директором Московского университета, г. Тургенев имел все средства дать самое лучшее образование сыновьям своим[1], и они тем воспользовались. Заблуждения ума не всегда мешают доброте сердца и добрым нравам, и семейство Тургеневых было вообще любимо и уважаемо.

Вместо того, чтобы, подобно нам, молодым неучам, искать в канцеляриях занятий и чинов, Александр Тургенев, о котором идет речь, получил отпуск и отправился доучиваться в геттингенский университет. По окончании курса путешествовал он по всей Немеции, стоял лицом к лицу с Виландом, с Шиллером и даже с Гёте и, напитанный учением и расчетливым духом Германии, за неизбежными успехами явился, наконец, в Петербург. Он все имел, чтó может их дать; от него так и несло ученостью, до того он был весь ею вымазан, а этот дух в то время притягивал места и отличия; умеренное вольнодумство также было тогда в моде. Его легкомыслие, обдуманные его рассеянность

---

[1] Другой сын его — известный Ник. Ив. Тургенев, один из главных участников заговора декабристов.

и нескромность приняты за откровенность благородной души; филантропические изречения, с малолетства им вытверженные, названы выражениями высокой добродетели; самые телесные его недостатки пошли за целомудрие, и каплунный жир его за девственную свежесть. Ну, просто совершенство человеческое, да и только! Об его смелости, настойчивости у начальства вырывать потом награды скажу я только, что она была в самой крайней противоположности с его прежнею детскою стыдливостью.

Каким почитал его свет, таким он и мне казался. Только иногда начинал он педантствовать и тогда становился мне тяжел; вдруг потом приходила ему охота дурачиться, беситься, и он делался смешон. Обыкновенно же притворство его со всеми было так велико и всегда так весело, что мне никогда не приходило в голову его подозревать.

Он скоро увидел, что прослыть необыкновенным человеком в одном городе еще недостаточно для быстрых успехов по службе, и что труднее ослепить ученый мир, чем большой свет. Попасть в него было ему не трудно; но ему хотелось в нем блеснуть, чтоб ускорить ход своей фортуны. Он немного знал по-латыни, и если бы нужда потребовала, мог бы сказать наизусть первые стихи из некоторых песней Энеиды, из од и посланий Горация, из элегий Тибулла; мог назвать все немецкие книги и их сочинителей.

Но на немецких авторах в салонах не далеко можно было уехать: там подавай французскую литературу, которою он дотоле совсем почти не занимался. Теперь я вижу ясно, что тесная дружба его с Блудовым сначала имела цель и только после на некоторое время превратилась в привычку. Никто из тогдашних молодых людей, не исключая даже Уварова, так основательно не знал этой литературы, как Блудов, так хорошо не умел судить о ней; а как Тургенев редко заглядывал в книги и знания свои почерпал более из разговоров сведущих людей, то и от связи сей ожидал себе пользу. Блудов же, легковерный, как все люди, коим с высот ума трудно сойти до мелких расчетов посредственности, предавался всем сладостям этой мнимой дружбы. Через него что-то на то похожее составилось и у меня с Тургеневым.

Он не ошибся в своих расчетах. Будучи от природы довольно остроумен (не обмолвился ли я, не сказал ли, умен?), светская болтовня скоро сделалась для него природным языком, который иногда удачно приправлял он техническими терминами из законоведения, богословия и других наук. Тем немного пугал он непривычный к тому слух знатных людей и дам, зато поселял в них высокую о себе мысль. Сначала определился он в канцелярию любимца государева, Новосильцова, и вместе с тем в комиссию составления законов. После того всегда умел он занимать три или четыре места в одно время, кюмюлировать их, как говорят французы, по всем получая жалованье и трудными занятиями одного извиняясь в неисполнении обязанностей другого. Деятельный и ленивый вместе, первая забава его была хлопотать, суетиться, в движении, главное искусство — как можно менее принимаясь за настоящее дело, казаться вечно озабоченным. Весь век, можно сказать, прожил он заимообразно, чужим умом, чужими знаниями, чужими трудами, чужою славой. В друзьях, в знакомых, а кольми паче в подчиненных видел он всегда кошек, которые из огня должны таскать ему каштаны, чтоб ему не обжечь обезьяньей своей лапки. Более восемнадцати лет сия фальшивая монета находилась в обращении и принималась в той цене, которую ей самой хотелось себе дать. Для живописца характеров такой странный, удивительный человек сущая находка; не знаю, искусно ли, но по крайней мере очень верно его изобразил я здесь[1].

В гостиной Лабатовых [француз, заведывавший тогда Михайловским дворцом] в то же время показался другой юноша, еще юнее Тургенева и меня и также на Липецких водах с ними познакомившийся. Тогда я редко виделся с [С. П.] Жихаревым; лет восемь спустя, начались дружественные мои связи с ним, и он имел случай сделать мне великое одолжение. Как я всегда любил следовать хронологическому порядку, то постараюсь описать его тогда только, когда допишусь до эпохи моей с ним короткости.

---

[1] Как и в случаях с другими знакомыми своей молодости, Вигель проявляет двуличие и в отношении к А. И. Тургеневу: изобразив его в Записках в самом неблаговидном свете, он в то же время посылал Тургеневу дружеские письма.

Все лето 1806 года прошло для правительства в приготовлениях к новой войне с Наполеоном. Великая тягость, которую с таким трудом выносит Россия, многочисленная, можно сказать, бесчисленная ее армия, в этом году начала увеличиваться; дотоле не было и третьей доли ее против нынешней. Никто не смел роптать: все видели, что честь политическая, независимость и безопасность государства того требовали. На первый случай сформированы одна пехотная дивизия и три конные полка, один гусарский и два драгунские. Шефом одного из сих двух полков, названного Митавским, назначен зять мой Алексеев, московский полицеймейстер: для полковника отличие большое, когда звание шефа почти исключительно принадлежало генеральскому чину. Он имел неосторожность князю Багратиону и любимцу Александра, генерал-ад'ютанту князю Долгорукову, показывать учение своих полицейских драгун, которые действительно находились в таком устройстве, что хоть бы тот же час в сражение. Эти господа расхвалили царю алексеевских драгун, и к его двум эскадронам велено прикомандировать третий из какого-то конного полка, стоящего на квартирах в Псковской губернии; для составления же целого полка велено ему набирать охотников из московской вольницы, из буйных молодцов, шатающихся по трактирам. Пробыв шесть лет полицеймейстером, он очень хорошо знал простой народ и был им любим, и потому ему было удобнее, чем кому-либо, исполнить сие удачно. В конце июня назначен он шефом, а в начале сентября с готовым почти полком выступил он из Москвы в город Порхов, где ожидал его поступивший под его начальство старый эскадрон.

После берлинского посещения более чем политический союз, теснейшая дружба связывала императора Александра с королем прусским. По обыкновению своему, Наполеон уступил последнему не принадлежащий ему, чужой Ганновер; но вместе с тем, основав германский союз под именем Рейнского и об'явив себя его главою, совершенно отделил, выгородил Пруссию от Германии. После того с одной стороны подавала ей Франция всевозможные поводы к неудовольствиям, а с другой Россия всячески возбуждала ее к войне. Имея двести пятьдесят тысяч человек прекрасней-

шей армии и позади себя сильно вооружающуюся Россию, она не замедлила об'явить ее. С восторгом получили сие известие в Петербурге.

Материальные силы Пруссии были огромные, великий порядок в финансах, войско свежее, славно выученное; нравственных же сил, кроме памяти о победах великого Фридериха и энтузиазма к смелой, доброй, прекрасной королеве, в сем составном государстве никаких не было. Основатель его великого значения в Европе был и первым его развратителем: сражаясь с французами, побеждая их и ругаясь над ними, он у них же перенимал все то, что́ их древнюю монархию вело к разрушению. Во всю мирную половину своего царствования старался он офранцузить подданных своих полуварваров и трудился над истреблением между ними религии, следственно и нравственности. Распутный и малодушный его преемник, с фанфаронским манифестом послав старого полководца, герцога Брауншвейгского, сам гордо ополчился было против революции, но от Вердена скорее давай бог ноги. Тотчас потом признал он республику, стал жить в добром согласии с террористами и расстригу Сиеса[1] имел при себе от них посланником. При обоих Вильгельмах, старом и молодом, Пруссия, забившись в северный угол, всегда смеялась тщетным и благородным усилиям соперницы, некогда госпожи своей Австрии и никогда не хотела подать ей руку помощи. Неверие и несчастие между тем свободно распространялись по земле, устроенной и возвеличенной безбожным царем; червь безнравственности все точил молодое, быстро растущее дерево; что́ удивительного, если один громовой удар сломил его? У нас забыли про постыдный поход Вильгельма II и ожидали Росбаха. В начале октября, вместо Росбаха, была Иена.

Нет, столь счастливого, столь блестящего похода никогда еще Наполеон не делал: лишь коснется крепости, она падает перед ним без защиты; лишь настигнет бегущий корпус, хватает его руками. От стыда Пруссии покраснели наши щеки; каждое ее поражение как кинжалом ударяло

---

[1] Аббат Сийес — один из видных деятелей Великой французской революции.

нас в сердце: они не знают того, неблагодарные, нынешние наши ненавистники, как все русские в душе своей тогда побратались с ними. Уже не за Аустерлиц, а за чуждую нашей чести Иену кричали все отмщение.

Между тем дело шло не на шутку. В первый раз еще французы начали близиться к нашим границам; они были уже в Мазовии, то-есть в бывшей Польше, и ненавистью к нам ее жителей против нас усиливались. Все полагали, что Пруссия по крайней мере несколько месяцев постоит за себя, а мы в это время успеем собрать все силы, чтобы с нею довершить поражение злодеев или, в случае дурного успеха, притти к ней на помощь. Но Наполеон так скоро с нею разделался, что, можно сказать, застал нас врасплох, до того, что главного не успели мы сделать — выбора надежного предводителя армии. О старике Кутузове слышать не хотели: он провинился тем, что молодые генерал-ад'ютанты на зло ему проиграли аустерлицкое сражение. Итак, в оставленном Екатериною богатом славою магазине надобно было отыскать другое орудие для защиты отечества: послали наскоро в орловскую деревню за старым фельдмаршалом графом Каменским.

В первый и в последний раз является он в моих Записках. К жене его, графине Анне Павловне, когда-то коротко знакомой моей матери, раза два в Москве возила меня сестра, когда я учился еще в пансионе. Тут видел я графа Михаила Федотовича, и в старости остроумного живчика, невысокого роста. После того какой-то карточный долг, денежный расчет у брата моего Николая с одним из его сыновей, прогневил его на моих родителей, и всякое знакомство с его семейством у нас затем прекратилось. Из русских был он почти один, который в первой молодости находился в иностранной службе для приобретения опытности в военном искусстве. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но она никогда его не любила за крутой и вместе вспыльчивый его нрав и за его жестокость. Она употребляла его и по гражданской службе. Рассказывают, что когда он был генерал-губернатором в Рязани, однажды впустили к нему с просьбою какую-то барыню в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки и щенков ее клал в полу своего сюртука, и будто, взбешен-

ный за нарушение такого занятия, в бедную просительницу стал он кидать щенят. Уверяли, что совершеннолетних сыновей, в штаб-офицерском чине, приказывал он иногда телесно при себе наказывать. За это, разумеется, не хвалили его; но все признавали в нем ученого тактика, неустрашимого в боях. Тогда, подражая Суворову, многие из генералов гнались за оригинальностью; в том числе и граф Каменский, и этою юродивостью он еще более рождал в себе веру.

Как спасителя приняли его в Петербурге.

В этом печальном ноябре, несмотря на многочисленную армию, которая прикрывала наши границы, увидели необходимость подумать, в случае неприятельского вторжения, и о защите внутренних областей наших. И для того 30 числа издан указ, коим сзываются к оружию отставные воинские чины и разных сословий люди, и из них, в виде резервной армии, учреждается милиция или земское войско, разделенное на семь округов.

В одно утро, к удивлению моему, прислал за мною Сперанский, которого я уже давно не видал (каждый год доступ делался к нему затруднительнее), но меня тотчас пустили. Он с злою улыбкой предложил мне вступить в милицию, из чего заключил я, что он смеется над нею и надо мной; мне было досадно, и я отвечал ему, «что если б чувствовал собственное побуждение к тому, то стал бы его о том просить, не дожидаясь его предложения». Может быть, это было причиною, что я не надел тогда полувоенного мундира.

Между тем Наполеон все подвигался. Данциг и крепость Грауденц не сдались ему, но не могли остановить его на Висле: жалкие остатки прусской армии примкнули к русскому корпусу Бенигсена. Все с нетерпением и беспокойством ожидали известий из армии.

Накануне Рождества их получили. Они были тревожны и утешительны вместе. Граф Каменский, последний меч Екатерины, видно, слишком долго лежал в ножнах и оттого позаржавел. Гемороидальные ли припадки, старость ли, или (следствие обоих) страх подействовали на него, только он вдруг лишился рассудка. Едва успел принять он начальство над армией, как внезапно отказался от него, накануне первого сражения с Наполеоном, и написал неблаго-

пристойное, сумасбродное письмо к государю[1]. Старший по нем, Бенигсен, сам собою принужден был вступить в звание главнокомандующего и 14 декабря (памятное число)[2] при Пултуске одержал победу над французами. Так по крайней мере доносил он о том и так все в Петербурге тогда о том подумали. Нет нужды говорить, что после того он утвержден главнокомандующим армией.

Этот человек был в числе заговорщиков 12 марта[3], не любим был двором и не смел показываться в Петербурге, как вдруг сама судьба вручила ему спасение государства. Но в надежных ли оно было руках? Известны были его искусство и храбрость, равно как и кротость, за которую любили его офицеры и солдаты; но она же могла произвести ослабление в дисциплине, что́ пагубно для армии в военное время.

Загадочная Пултусская победа, повидимому, оставалась без результата; действия, однако же, продолжались, но они скорее похожи были на маневры, чем на битвы. Теснимый Наполеоном Бенигсен пятился боком вправо и вступил наконец в настоящую Пруссию. Сия приморская земля, подобно нашим Курляндии и Лифляндии, отхвачена немцами у славян и обитаема племенами, обоим народам чуждыми. Сделавшись добычею тевтонических рыцарей, жители как Пруссии, так и Ливонии приняли от них кровавое крещение, и города их названы немецкими именами. Как в той, так и в другой магистры ордена сделались независимыми владетельными герцогами. Но княжество Лифляндское вошло в бесчисленные титулы царя русского; Пруссия же ближе к родимому краю дала свое имя всему из лоскутьев сшитому государству. Хорошо, что мы плохо тогда знали историю и географию и, читая в реляциях названия Морунгена, Ландсберга и другие, думали, что Бенигсен Бонапарта погнал назад в Германию. Это нас очень успокоивало.

Сестра моя довольно исправно получала известия от мужа своего. При всеобщем тревожном состоянии и особен-

---

[1] Три года потом прожил он безвыездно в орловской деревне. Нрав его там не смягчился, он мучил крестьян, и один из них убил его топором. Авт.

[2] Декабрьское восстание 1825 года.

[3] Убийство Павла первого.

но среди печального положения сестры моей, нашли мы с нею некоторую отраду в одном весьма приятном соседстве. Под нами жила одна дама, знакомством с которой семейство мое во время моего малолетства также обязано было Киеву; это была Александра Петровна Хвостова, над изображением которой приятно мне будет потрудиться.

Никакого женского воображения сильные страсти так еще не воспаляли, никакого женского сердца так не волновали они. Она по себе была Хераскова и родная племянница поэта, несмотря на свою посредственность, у нас столь знаменитого. Род Херасковых не так еще давно, едва ли при Петре великом, поселился в России, и я между валахами знал Херескулов, которые им были дальние родственники. Вот почему пламень юга, пройдя через одно или два поколения, кипятил еще кровь Хвостовой и блистал в ее взорах. В первой молодости выдали ее за Димитрия Семеновича Хвостова, за человека глупого, грубого и порочного. По матери своей был он в близкой связи со всеми графами Чернышевыми и их потомством; а Александра Петровна была племянница Трубецких, и поэтому она родилась, выросла и провела первые годы замужества в аристократическом мире.

Она приняла все его формы; ей мало того: она умела отличиться и от знатной толпы и стать выше ее. По-французски писала разве только хуже Севинье[1], голос имела очаровательный и в свое время была первою в столице музыканткой и певицей. Собою была не хороша (смолода круглый нос ее начинал уже синеть), но дурною быть, как кто-то сказал про Делиля, никогда не имела времени: до того все черты лица ее от живости чувств были всегда подвижны и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и русские, и иностранцы, все были у ног ее; она была молода в царствование Екатерины, когда с прекрасными манерами дурное поведение извинялось в женщинах, и имела мужа, которого не делать рогоносцем, право, было бы грешно. Однако же, так как ей надобно было в

[1] Маркиза Мария Севинье (1626—1696), известная французская писательница; в своих знаменитых письмах к дочери довела эпистолярный слог до высшей степени совершенства, обогатив французский литературный язык.

жизни все перелюбить, то год, др,гой после замужеств страстно была она привязана к его молодости и своему дол гу. Он же первый начал показывать ей презрение, явно подло стал изменять ей, искал в низших классах наемно любви и обрадовался, когда заметил, что она отдалилась о него сердцем. Приговоры света бывают обыкновенно стол же несправедливы, столь же слепо жестоки, как и закон всех уголовных кодексов в мире; он требовал, чтобы жен щина, исполненная огня, ума и талантов, навеки прикован ная к отвратительному истукану, умела казаться счастли вою и быть верною супругой. Что в нем ужаснее, он почт всегда щадит тех, кто находятся под защитою молодост своей, ее прелестей и выгод фортуны; но состарься, обедне слабая женщина, тогда беззащитную примется он терзать

Муж Хвостовой прожил сначала ее приданое, потом про матывал второе или третье наследство. Он сам имел част недостаток в деньгах, жил однако же с женою под одно кровлей, никогда ее не видел и готов был отказать ей малейшей помощи. Спасли ее от совершенной нищеты е великодушие и геройство: на улице пала она к стопам гроз ного Павла и вымолила помилование преступному старцу отцу неверного своего мужа. Тронутый сим поступком, све кор умирая завещал ей порядочное содержание и обяза сына выплачивать ей оное. Сие делал он не слишком ис правно, и в образе жизни ее часто проглядывала бедность Ей было тогда за сорок лет; гордая нечувствительность по казывала вид добродетельного негодования, посредствен ность всегда ей завидовала и стала клеветать на нее, и весь свет против нее вооружился.

Покинутая им, она не унывала: в уединении ей оставалось еще довольно занятий и утешений. Ее гостиная и кабинет, не богато, но щегольски и со вкусом убранные, наполнены были художественными предметами, прекрасными рисунками лучших артистов, поднесенными ими как дань удивления к ней, разными редкостями и древностями, путешественниками по Востоку и Европе ей на память оставленными. Почти каждый вечер в сих комнатах собиралось прелюбезное общество, составленное по большей части из отборных иностранцев, из малого числа молодых женщин, строгих к себе и снисходительных к другим, из немногих

ссских, довольно образованных, чтобы знать цену приятностей такого дома. Между частыми посетителями его всех примечательнее были два брата, графы Местры, более французы, чем итальянцы. Старший, Иосиф, находился у нас посланником жившего в заточении сардинского короля, был чрезвычайно умный человек, красноречивый легитимист и бешеный католик, и написал впоследствии две книги, исполненные изуверства, «Le Pape» и «Soirées de Pétersbourg»; довольно явно показывал он нелюбовь к России, и единственно только за ее схизму. Другой, Ксаверий, в русской службе полковник, был менее пылок и хотя столь же серьезен и рассеян, но более приятен в обществе; и автор разных мелких творений в стихах и прозе, между коими более всего известны: «Путешествие вокруг моей комнаты» и «Прокаженный в долине Аосты». Навещал также Александру Петровну один знатный барин, чудак князь Белосельский [1], и читал ей и обществу ее свои уродливо-смешные произведения на русском и французском языках. На этих вечерах никто не гонялся за умом, никто и у кого его не требовал, почти у каждого было его про себя вдоволь, и непринужденно являлся он сам собою в разговорах; порывы веселости останавливались на самой границе благопристойности. Во всем этом было нечто единственное, без примеров у нас и без подражания; только напоминало собою учено-приятные собрания, бывшие до революции у госпож Дюдефан и Жофрен. Плохое освещение и скверный ужин довершали сходство с вечерами этих парижских дам.

Более всего нравилась мне в этой милой Хвостовой ее непритворная и в светской женщине тогда непонятная любовь к своему отечеству. Кто из дам не пренебрегал тогда русским языком? Которая из них читала на нем что-нибудь? Хвостова, по чувствам точно выше своего века, решилась сделать первый опыт и принялась на нем писать. Не назову примером для нее писанные слогом семинариста оды тетки ее, княжны Екатерины Сергеевны Урусовой.

[1] Кн. Ал. Мих. Белосельский-Белозерский, отец известной писательницы княгини Зинаиды Волконской (она была замужем за кн. Никитой Волконским, братом декабриста С. Г. Волконского), римской приятельницы Гоголя.

В двух цветках, в двух незабудках, ею произведенных, «Камине» и «Ручейке», скорее Карамзин мог служить ей образцом и одобрением; однако же и то ложно, что он помогал ей в их сочинении; новые, живые идеи, небрежность, с коей они изложены, и самые ошибки против грамматики составляют всю их прелесть.

Такого гибкого ума, как в ней, я ни в ком еще не встречал. Она ничем не гнушалась; с таким же участием, с таким же вниманием входила она в суждения с попом, с деревенскою барыней или с степенным дворянином, как и с первым государственным человеком; с одними так же готова была она толковать о солении огурцов и грибов, как с последним о прениях парламента; разговорный язык лучшего света был ей так же знаком, как и все наши простонародные поговорки. Обо всем умела она судить, правда, довольно поверхностно, но всегда умно и приятно.

И этой женщине не знали у нас цены. За клевету, за гонения, за обиды она платила иногда веселыми эпиграммами; ей хотелось бы все любить, и она сердилась как ребенок, когда ей мешали в сем привычном занятии, сама же до вражды никогда не умела дойти. Сострадательность была главною чертою ее характера; денег у нее не было, и несчастным помогала она не одними слезами, а неимоверною деятельностью; мучила друзей, наряжала их преследовать сильных и богатых, дабы исторгнуть у них помощь страждущим. Она была великая искусница утешать и успокоивать печальных и с мастерством своим довольно часто являлась к сестре моей, которая посещала ее только по утрам. Я же ходил к ней на вечера затем, чтобы наслушаться там более, чем наговориться.

Наконец, в начале февраля 1807 года узнали мы о решительной победе над французами при Прейсиш-Эйлау, 27 января. Казалось, что только этого известия и ожидали: оно подало знак зимним увеселениям. Что ни говори французы, сражение это мы выиграли, и лучшим доказательством тому служит четырехмесячное после него бездействие Наполеона, который не очень любил отдыхать на лаврах. Напротив того, немец Бенигсен, отколотив исполина, сам изумленный чудом, совершенным, не столько им, как русскими солдатами, уверенный в невозможности нового напа-

дения со стороны неприятеля, захотел вкусить сладостное успокоение. По заочности судить трудно, особливо человеку, не принадлежащему к военному ремеслу; однако же все меня после уверяли, что Суворов и Кутузов так бы не поступили: не довольствуясь сим поражением, они бы заставили Наполеона не по сю сторону Вислы, а за Одером и, может быть, за Эльбой расположиться на зимних квартирах. Надобно отдать справедливость нашим немецким генералам, они великие мастера останавливать во-время русское войско; после того Кнорринг и Дибич нашим храбрым ребятам не дали и взглянуть ни на Стекольной [Стокгольм], ни на Царьград, ни на Аршаву, куда они с такою жадностью рвались; у самых ворот злодеи умели удержать их стремление.

Наступил второй период царствования императора Александра, когда все изменилось в нем и вокруг него, когда он должен был разорвать прежние союзы, удалить от себя прежних любимцев, когда, насильно влекомый Наполеоном, должен был он казаться идущим с ним рука об руку, когда притворство сделалось для него необходимостью и спасением. В том же году вступил я в законное совершеннолетие, кончилась первая моя юность, а ее только одну признавал я всегда за настоящую. Уже румянец начал спадать с моих щек, и густой, черный волос заступил место нежного пуха на подбородке моем; вошед в летние годы моей жизни, стал я сильнее любить, зато глубже и постояннее ненавидеть, чаще сердиться, реже смеяться, реже и плакать: все миновалось. Прости же, моя молодость, время дорогое, золотое, невозвратное, вечно памятное! Кто не жалел о тебе; но признаюсь, увы, кто более меня? Все истинные, сердечные радости знал я только с тобою. Благодарю тебя, молодость, за неоцененные дары твои, за друзей, коих дала ты мне и коих большая часть вместе с тобою от меня удалились, за нежные взоры, за бескорыстную, непритворную ко мне любовь, за которую тебе же я обязан, и которая вслед за тобою от меня скрылась. Благодарю за все, за все, даже за горести, тобою мне посланные и тобою же услажденные.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

По приезде в Петербург, в болезненном состоянии духа и плоти, прежде всего искал я отрады, зная, что ею начнется исцеление и телесного моего недуга. Для того вз'ехал я прямо к Блудову, уверен будучи, что он не поскучает ни хандрой моей, ни лихорадкой, и в том не ошибся. Его нрав не переставал быть живым и веселым, а сердце сострадательным. В начале предыдущего года имел он горесть лишиться обожаемой матери и почти в то же время утешение наследовать довольно богатому дяде. Это давало ему возможность к другим похвальным или любезным качествам присоединить и гостеприимство. Он послал за врачом своим, англичанином Беверлеем, заставлял самого меня смеяться над мрачными моими мыслями, и дни в три или четыре все у меня прошло, как будто ни в чем не бывало.

Как ровно за пять лет перед тем, в начале сентября 1802 года, прибыл я тут в Петербург, чтобы быть свидетелем любопытного зрелища: важных перемен во всем государственном управлении. Как бы не обращая никакого внимания на пристрастие своих подданных к союзной с ним дотоле Англии, на явную ненависть их к омрачившим их воинскую славу великому французскому полководцу и его победоносному народу, государь во всем обнаруживал новую симпатию свою к ним и удивление. Из'явлений всеобщего за тс неудовольствия не было возможности не только наказывать, ни даже удерживать: ибо от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата все, повинуясь, роптало с негодованием.

Можно себе представить, как все это было больно для петербургской знати, заимствовавшей все поверия свои от эмигрантов; с какою явною холодностью сия искусственная аристократия, вся проникнутая легитимизмом, принимала присланного от Наполеона на первый случай Савари. В од-

ном только знатном доме был он принят с отверстыми объятиями: старуха княгиня Елена Никитишна Вяземская, вдова генерал-прокурора, выдавшая двух дочерей за посланников неаполитанского и датского, всегда любила без памяти иностранцев и в особенности французов, и для них был у нее всегда притон. Прежде многие старались ей подражать; но продолжительною связью с французским посольством она обесславила свою старость; были люди, которые не побоялись взвести на нее клевету, будто за угощение французов она получала деньги от правительства.

Родною племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говорил я в конце второй части сих записок. Несмотря на свой патриотизм и легитимизм, в угождение тетки, должна была она принимать Савари и его свиту; впрочем, с живостью ее ума и характера, и ей самой любопытно и приятно было их видеть у себя. Тут имел я случай их встречать.

Как странно было видеть сих образчиков ново-французского двора, встречающихся у Хвостовой с Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древних фамилий, офицерами в русской гвардии! Последние даже в общем разговоре старались, чтоб одним словом не задеть кого-нибудь из этой ротюры [разночинство, простолюдинство].

Попытку Хвостовой соединить у себя тех и других французов одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпеть, чтобы не оказать предпочтения прежним своим знакомым и не похвастать иногда славой своей России, когда наполеонисты слишком завирались о его бессмертии. С другой стороны, роялисты и многие русские с смертельною досадой должны были беседовать с теми, коих почитали сволочью и коих поневоле встречали только среди толпы в больших собраниях. Едва прошла осень и наступила зима, как те и другие ее покинули, и одни только искренние ее друзья остались постоянными и верными ее посетителями.

Целые пять лет с сентября 1802 года министерство, прозванное английским, управляло государственными делами. Кажется, в самодержавных правлениях министры, которые просто орудия воли государевой, должны только следовать, хотя бы и не одобряли ее, новой политической системе, им принятой. Не так думали наши Фоксы и Питты; жаль им

было расставаться с местами и властью, они их как будто против воли сохраняли; но сам император подал им средства с благовидностью освободиться от тяжести дел. Не вдруг, как в Англии, а в продолжение последних четырех месяцев 1807 года министерство изменилось и возобновилось почти в целом составе своем.

Началось с министра финансов, почтенного графа Васильева. Он скончался в конце августа, а в половине сентября об'явлена война Англии. Бремя, им носимое, само собою легло на давно уже подставившего под него рамена свои племянника его, Федора Александровича Голубцова, и через два года потом его раздавило.

За год до того, князь Чарторыйский, уступая силе общего мнения, должен был портфель иностранных дел передать некоему барону Будбергу [А. Я.]; не покидая однако же государя, он тайно оставался главным советником его в делах дипломатических.

Место жалкого немца [вскоре] занял русский с громким именем, высокою образованностью, благородною душею, незлобивым характером и с умом, давно ознакомленным с делами дипломатическими и ходом французской революции. Самое даже согласие графа Николая Петровича Румянцева на принятие звания министра иностранных дел показывает в нем сильный дух, готовый, со вступлением в должность, вступить в борьбу со всеобщим мнением, самоотвержение, с которым он в настоящем жертвовал собственною честью для будущей пользы своего отечества.

На каламбуры [А. Л.] Нарышкина, не всегда удачные, на клевету мирскую, как бы не ведая о них, отвечал Румянцев одними великими, беспримерными в России делами: снаряжал за свой счет корабли и для открытий отправлял их вокруг света, с издержками и трудами отыскивал и собирал любопытные отечественные древние рукописи и хартии и посредством великолепных изданий дарил ими читающую публику, заводил для всех открытые библиотеки, учреждал музеи. Содеянное им блестит на Английской набережной в Петербурге и лучше меня оправдает его перед потомством [1].

---

[1] Впоследствии Румянцевская библиотека и музей переведены в Москву, где занимают знаменитый Пашковский дом на Волхонке — теперь библиотека имени В. И. Ленина.

На сии перемены мог я смотреть равнодушно; скоро, однако же, должны они были коснуться и места моего служения. Лорд Кочубей, который в продолжение пяти лет усиливался при дворе, расширял свое министерство, распространял свою власть, казался первым министром. Для соблюдения пристойности, чтоб явно не изменить исповедуемым им политическим правилам, показывал он вид недовольный, безмолвное порицание, не зная, что и без того уже он сделался неугоден царю. Не будучи слишком богат, а чиновен, горд и расчетлив, он хотел, не разоряясь, жить соответственно притязаниям своим на высокую знатность. Ему одному известны были средства, кои употреблял он, чтобы согласовать великолепие с бережливостью. Сначала дивились, наконец стали приписывать колдовству быстрое и чрезвычайное приращение его состояния, тогда как не уменьшались его расходы; долгов он не делал, помощи от государя не получал и при заботах государственных едва ли имел время заниматься собственными хозяйственными делами. Из двух тысяч не с большим душ выросло у него вдруг до двадцати. В неприятелях недостатка у него не было; надменность его, хотя умеряемая вежливостью, вселяла к нему нелюбовь, которая в иных доходила до ненависти. Оттого пошли толки о тесных связях его с Перецом, с Штиглицом, евреями-миллионерами, кои по его покровительству имели в руках своих важные отрасли государственных доходов. Начали замечать, что из начальников губерний те только пользовались особою его милостью, кои управляли богатейшими из них и умели наживаться; им только беспрестанно выпрашивал он награды. Сии толки, сии подозрения тайными каналами достигли, наконец, до царского слуха.

Князь Алексей Борисович Куракин, бывший два года при Павле генерал-прокурором, можно сказать, генерал-министром, должен был при Александре довольствоваться должностью малороссийского генерал-губернатора и находиться некоторым образом в зависимости своего противника. Призвание его к занятию места Кочубея показывало уже явную немилость к сему последнему.

Во время последней кампании против французов, император собственными глазами убедился во многих беспорядках по военному управлению, кои, по мнению его, были при-

чиною последних неудач нашего войска; одною артиллерией, доведенною до совершенства графом Аракчеевым, остался он доволен. Зная, сколь имя сего человека, дотоле одними только отдельными частями управлявшего, было уже ненавистно всем русским, но полагая, что известная его энергия одна лишь в состоянии будет восстановить дисциплину в войске и обуздать хищность комиссариатских и провиантских чиновников, он не поколебался назначить его военным министром [вместо С. К. Вязмитинова]. Еще в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве.

С конца 1796 года по 1801 год был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом. В кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен им как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу. Давно уже вся Россия говорила о сем человеке; а я не сказал ни одного слова; но здесь только нашел я место вкратце, по-своему, начертать его жизнь и характер, впрочем, всем известные.

Сын самого бедного дворянина Новгородской губернии, он в малолетстве отдан был в артиллерийский кадетский корпус. Одаренный умом и сильною над собою волею, он с ребячества умел укрощать порывы врожденной своей злости: не только покорялся всегда высшим над собою, но, кажется, любил их власть, видя в ней источник, из коего единственно мог он почерпать собственную. Не занимаясь изучением иностранных языков, пренебрегая историей, словесными науками до того, что плохо выучился русской грамоте, чуждый совершенно чувству всего изящного, молодой кадет, любя только все расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался. Выпущенный в офицеры, он попал в артиллерийскую роту, которая для потехи дана была наследнику престола и находилась при нем в Гатчине.

Лучшей школы раболепства и самовластия найти бы он не мог; он возмужал среди людей отверженных, презираемых, покорных, хотя завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая должна была впоследствии

осрамить, измучить и унизить настоящую, старую гвардию. Чувствуя все превосходство свое перед другими гатчинцами, Аракчеев не хотел им быть подобен даже и в из'явлениях холопской своей преданности.

Употребляя с пользою данную ему от природы суровость, он давал ей вид какой-то откровенности и казался бульдогом, который, не смея никогда ласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть тех, кои бы воспротивились его воле. Таким образом приобрел он особую доверенность Павла первого.

При вступлении его на престол был он подполковник, через два дня после того генерал-майор, в Аннинской ленте и имел две тысячи душ. Не довольствуясь обогащением, быстрым возвышением его, новый император открывал широкое поле его известной деятельности, создав для него новую должность коменданта города Петербурга (не крепости) и в то же время назначив его генерал-квартирмейстером армии и начальником Преображенского полка. На просторе раз'яренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидными для них словами, а с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи: у одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою. Он был тогда еще весьма не стар, не совсем опытен и в пылу молодости спешил по своему натешиться. Впоследствии выучился он кусать и иным образом. И такие деяния, об ужасе коих не смели ему доложить, почитались милостивцем его за ревностное исполнение обязанностей. Год спустя, чрезмерное его усердие изумило самого царя, и в одну из добрых его минут, внимая общему воплю, решился он его отставить и сослать в пожалованную им деревню.

Не более года оставался он в ней. Она была в близости от Петербурга, и как государю стоило, так сказать, протянуть к нему руку, то он и не утерпел, чтобы не призвать проученного им приверженца и не назначить инспектором всей артиллерии. Мне неизвестна причина новой немилости к нему царя; вероятно, наговоры и происки бесчисленных неприятелей; только вторично должен был он удалиться. Вызванный в последний раз, он в'езжал в заставу столицы

в ту самую минуту, когда прекращалась жизнь его благодетеля.

Сельское житье его было мучительно для несчастных его крестьян, между коими завел он дисциплину совершенно военную. Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песней не знали жители села Грузина, некогда поместья князя Меньшикова. Везде видны были там чистота, порядок и устройство, зато везде одни труды, молчание и трепет. И эта каторга должна была служить после того образцом изобретенных им военных поселений. Непонятно, как мог император Александр, который знал, что в царствование отца его Аракчееву поручено было тайно присматривать за его деяниями, как мог он вновь избрать его начальником всей артиллерии? Не служит ли это доказательством, что личностями умел он иногда жертвовать пользе службы? Войдя раз в частые сношения с молодым императором, он, лучше чем отца его, успел его обольстить своею грубою, мнимо-откровенною покорностью; все убеждало Александра в его чистосердечии, самый девиз в гербе, при пожаловании ему Павлом графского достоинства, им избранный: «без лести предан» [1]. Он умел уверить царя, что кроме двух богов, одного на небе, другого на земле, он ничего в мире не знает и знать не хочет, им одним служит, им одним поклоняется.

В явном несогласии с общим мнением, во многом к нему несправедливым, государь выбором графа Аракчеева в военные министры как будто хотел показать, что он сим мнением не дорожит и более щадить его не намерен.

Чтобы хотя на время дать совершенный покой старику Сергею Кузьмичу Вязмитинову, освободили его и от главного начальства над столицей, назначив военным губернатором князя Димитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Никогда еще ничтожество не бывало самолюбивее и злее, как в этом сокращенном человеке, в этом сердитом карле, у которого на маленькой калмыцкой харе резко было начертано грехопадение, не знаю, матери или бабки его.

---

[1] Александр, проявлявший во вторую половину своего царствования хитрость и двуличие, ловко прикрывался Аракчеевым в своей реакционной государственной деятельности, пользуясь им как усердным исполнителем всех своих затей, в том числе и по устройству военных поселений.

Вот почти все новые лица, которые явились тогда на политической сцене у нас. Прежние любимцы мало-по-малу, один за другим, начали удаляться: Чарторижский уехал в Австрию; Кочубей поехал путешествовать за границу; Новосильцов сделан просто сенатором и, получив бессрочный отпуск, поселился в Вене; товарищ министра внутренних дел, граф Павел Строганов, во фраке отличавшийся с казаками против французов, поступил в военную службу генерал-майором. Один только Чичагов сохранил покамест прежнее место.

Благоразумный Сперанский, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом, перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона, из англичанина сделался французом. Сия перемена в правилах и в образе мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо еще более приблизила его к царю, при особе которого единственно остался он статс-секретарем, получив увольнение от должности своей в министерстве внутренних дел. Вскоре потом назначен он товарищем министра юстиции и управляющим комиссией составления законов. Не в одних двух должностях сих наследовал Сперанский Новосильцову, но и в беспредельной доверенности, коею сей последний пользовался у Александра, а следующее затем пятилетие есть период, который по всей справедливости получил его название.

Желая испытать, не будет ли новый министр внутренних дел к нему столь же благосклонен, как был генерал-губернатор, брат мой приехал из Пензы чрез Москву и явился к нему с покорнейшим приветствием от отца моего. Был утешен ласковым приемом Куракина, который меня велел себе представить. Со мною обошелся он как с мальчиком, которого хотят приласкать, и я пока и этим остался доволен.

Неожиданная весть разнеслась в феврале месяце: новая война возгорелась почти у ворот столицы; русские войска вступили в шведскую Финляндию. Зачем или за что? Упрямый король Густав IV думал, что походит на Карла XII, ибо имел некоторые из его странностей, забыв, что не имел совсем воинской его храбрости, забыв его уроны и жалкий конец. Он один из европейских монархов (исключая Англии)

не соглашался еще признать Наполеона императором, не хотел с ним мириться. Россия должна была приневолить его ко вступлению в общий союз против острова, враждебного всей твердой земле.

В первый раз еще, может быть, с тех пор как Россия существует, наступательная война против старинных ее врагов была всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславием. Как бы то ни было, наши солдаты, под предводительством главнокомандующего графа Буксгёвдена, делали свое дело, шли все вперед, встречая мало сопротивления, находя даже помощь в измене многих недовольных королем.

С напряженными силами начала Швеция защищаться. Говорить об этой войне мне еще придется; но описывать даже начало ее, кажется, не мое дело. Истинно-военные люди всегда находят причины ко всякой войне справедливыми: им лишь бы подраться. Вот почему зять мой скорбел о том, что расстройство, неисправность полка осуждают его на мирное пребывание в уездном городе Тихвине, куда в марте месяце велено было ему полк сей отвести.

В это время внезапный упадок государственного кредита производил чрезвычайное уныние и как будто оправдывал жалобы людей, более других вопиявших против союза с Наполеоном. Не знаю, правда ли, что разрыв с Англией и остановка морской торговли были тому причиной. Я могу только судить о действиях и об них только могу здесь упомянуть. Ассигнационный рубль, который в сентябре еще стоил 90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, а весною давали за него только 50 копеек серебром; далее и более, через три года серебряный рубль ходил в четыре рубля ассигнациями. Для помещиков, владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей живущих одним жалованьем было оно сущим разорением; кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками. Людям, недавно купившим в долг имения на ассигнации, понижение курса послужило обогащением и спасением вообще всем задолжавшим.

После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удовольствием, не совсем для нее лестным, я отправился в Пензу.

Давно, очень давно, прежде описываемого мною времени, близ Пензы жил счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорович Колокольцев, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрасная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее пять цветущих младенцев были радостью его жизни, как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже останавливаются в них; беспрестанные войны и великое протяжение границ требуют там их присутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям! После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах; им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже Колокольцевой; однако же сия связь оставалась неизвестною не только доверчивому супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны доходят), но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные города всегда так наполнены.

Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута разлуки. Они, то есть более она была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. Желая последний раз угостить мнимого друга, которого полк был уже на дороге, несчастный Колокольцев пригласил всю Пензу на прощальный для него пир в свое село Грабовку. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села за стол; когда же поднялась чаша за здравие от'езжающего, она вдруг встала и, заливаясь слезами, об'явила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероятно, приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцева. Сей последний от изумления онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам виновной, прощая ее заблуждение, именем детей умолял ее

не покидать их и его. Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои пожитки. Колокольцев велел было дворне своей остановить солдат; Исленьев указал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и наполнился единою горестью.

Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказывает преступления. Долго странствовала госпожа Колокольцева, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалась общества, но некоторое время все была утешена продолжающеюся его привязанностью. Между тем он, как будто для приличия, женился; законную жену держал в Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло и поневоле все более их связывало; она старелась, он холодел к ней; кончилось тем, что она надоела, омерзела ему, и сколь они оба ни желали того, ни он отвязаться от нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец, решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу Азовского моря [1].

Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более двадцати пяти лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное! Престарелый Колокольцев влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, свою непорочную невесту. Счастие и спокойствие, блиставшие на первой заре ее жизни, осветили опять и вечернюю.

Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединился во вновь построенном для себя убежище, в другой,

---

[1] Мерзкие поступки не мешали Исленьеву быть отменно храбрым и искусным воином. Его неимоверному мужеству приписывал отчасти Суворов удачный штурм Праги. *Авт.*

более отдаленной от города деревне; там принял он заблудшую овцу свою. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал я: кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и конца согласной их жизни был ужасный, даже отвратительный роман.

Надобно рассказать, каким образом, в первый раз еще во время управления отца моего Пензенскою губернией, велено было ревизовать ее. После отставки Белякова никто не назначен был саратовским губернатором. Временно управлял губерниею вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев. Это такое лицо, которое давно желал изобразить я; недоставало только к тому удобного случая.

Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и следственно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из Грузии, вероятно, в числе слуг грузинских царевичей, по временам в России поселяющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казенные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы вообще не славятся великим умом, но на что́ он годится? И для успехов не во сто ли раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям порабощенной Азии? Старший сын Давыда, Алексей Панчулидзе с 14 класса служил в казенной палате и, не покидая ее, дослужился до чина статского советника и должности вице-губернатора. Можно себе представить, какую великую опытность приобрел он в финансовых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий раз; но приданое всех трех супруг далеко не было достаточно, чтобы поддержать то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежащий ему огромный и поместительный дом, а два или три, соединенные между собою галлереями, и при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города, занимали более пространства, чем увеселительные за́мки многих из немецких владетельных князей. Этот очарованный за́мок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове каждый из них

пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем находились два-три немца капельмейстера, должен был при из'явлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого хозяина, в месте, исключая дома его, лишенном всяких забав?

Все это было для иногородных; для служащих же в Саратовской губернии был он еще более дорог и полезен: карман его сделался каналом, чрез который протекая, Пактол [река в Лидии, с золотым песком] делился на мелкие ручьи и разливался по тощим их нивам. Бескорыстным губернаторам (кажется, был один таковой, Нефедьев) умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только было можно; с другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны, все восхваляли всещедрого, чудесного вице-губернатора; все знали, к сотворению таких чудес какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не знаете о том, читатель; об'яснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве других богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, может почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпаемый кладезь, Елтонское соляное озеро: теперь вы понимаете, я надеюсь. Скажите, что̀ такое казна? Общественный капитал. После того можно ли почитать похищением ее все то, что̀ употреблено для пользы общества? Такими рассуждениями многие, вероятно, извиняли г. Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-нибудь совести.

Он сам своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив; яблонное дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны Единственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать: напротив, ко всем порокам был

более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много.

Он делал еще более: не восставал даже против честности, никогда не преследовал ее, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что, сколь ни постоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди подымаются в ней и делаются сильны.

Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-то повальная болезнь. Действительно ли он испугался, или хотел придать более важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума. В таких случаях туда, где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения зла посылаются обыкновенно сенаторы с особенным полномочием; выбор же предоставляется министру внутренних дел. Князь Куракин предложил государю Козодавлева, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-прокурорства бывшего обер-прокурором сената, а потом герольдмейстером. В конце февраля отправился он со свитою чиновников в Саратов.

Такого ли человека, как Панчулидзев, стал бы такой человек, каков был Козодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сенатору прокатиться даром и, наделав шуму, подобно синице, не зажечь моря? Все меры приняты, расставлены карантины, оцеплены деревни, а от страшной заразы умерло всего девять человек. Не трудно было к сему числу прибавить нуль, и сколько нимало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли, то отчасти государство должно за то благодарить бдительность неутомимого вице-губернатора. Месяца два с половиною прошли прежде, чем сделано было это донесение, тогда только зародыши, самые следы жестокой язвы были совершенно истреблены. Мнимая чума совсем кончилась, а началось настоящее, продолжительное, нравственное опустошение Саратовской губернии: Панчулидзев назначен губернатором.

Сколь звание сие не лестно было для его самолюбия, он безусловно принять его не мог. Сделать его губернатором,

лишив его Елтонского озера[1], значило то же, что̀, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что̀ такое был бы он без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его, управление соляною частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора.

Чтобы продлить на все лето приятное вне столицы сенаторское пребывание Козодавлева, министр внутренних дел придумал испросить ему приказание проездом обозреть Пензенскую губернию.

Тут был еще тайный умысел князя Куракина, как после сие открылось; в секретном письме просил он Козодавлева именем старой дружбы расхвалить все, даже то, что̀ не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то.

Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы родились в одном году и в одном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же году оба умерли.

Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не часто; учению апостола касательно браков «да будет две плоти во едино» следовали они с точностью. Действительно они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожа да кости, а другой мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что̀ еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следственно в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем об'ясняется взаимная их страсть.

Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотрению Козодавлева, а он все медлил от'ездом, которого мы ожидали с нетерпением, несмотря на

---

[1] В то время доходные статьи казначейства находились в ведении местных вице-губернаторов, которые в этом отношении подчинялись непосредственно министру финансов; в остальном вице-губернаторы подчинены были губернаторам.

ласки, на любезности, нам расточаемые как им самим, так и окружающими его.

Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались их сборы к от'езду.

Мне также была пора скоро воротиться в Петербург; до зимнего пути было еще далеко, а поздний осенний в тогдашнее время, еще более чем теперь, у нас был настоящая пытка.

От частых перемен в температуре я простудился, и в самый день приезда моего в Москву схватила меня лихорадка; но два-три дня были для меня достаточны, чтоб от нее освободиться. Французская труппа с Филисой из Петербурга находилась тогда на время в Москве; я пошел ее смотреть во вновь открытый, деревянный обширный, прекрасный театр на Арбатской площади, который был построен взамен сгоревшего старого каменного Петровского театра и который через четыре года сам должен был сделаться жертвою пламени. Одного только знакомого встретил я там, и то довольно нового; обрадовался же я Жуковскому, как будто век с ним жил. Цвет поэзии в нем только что совершенно распустился, и в непритворных, неискусственных, веселых разговорах благоухала вся душа его. Мне показалось, что я в Петербурге во французском театре сижу с Блудовым; об нем мы не наговорились, поневоле должен был я несколько лишних дней пробыть в Москве.

Со смелостью почти безрассудною, свойственною одним только русским, на трех указанных им пунктах, в половине марта, генералы со вверенным им войском совершили чудесно-геройские свои подвиги [в войне с Швецией]; особенно же Багратион и Барклай, кои в продолжение трех или четырехдневного перехода, при малейшей перемене ветра, могли быть поглощены морскою бездной. Барклай из Вазы в Умео перешел залив через Кваркен, группу необитаемых скал среди моря. Багратион овладел Аландскими островами, а передовой отряд его, под начальством генерала Кульнева, на противоположном берегу занял Гриссельгам в виду шведской столицы.

В трепетном ожидании сам император Александр отправился в Абов. Весь план этого необычайного похода был

им самим составлен; ему хотелось показать миру, что вступать в столицы, подобно Наполеону, для него дело также возможное. И что же? Воля его исполнена, войско его не погибло, а он вскипел гневом и отчаянием. При появлении русских вблизи Стокгольма сделался там бунт, и несчастный Густав IV, действительно несколько помешанный, был свергнут с престола, на который посажен дядя его, герцог Зюдерманландский под именем Карла XIII. Узнав о том, рассудительный, благоразумный немец Кноринг [главнокомандующий] в сем домашнем перевороте увидел конец войны и, не проникнув намерений императора и не дожидаясь дальнейших его повелений, думал сделать ему угодное, дав приказание генералам итти обратно тем же опасным путем. Я бы, мне кажется, его задушил; терпеливый Александр удовольствовался наказать убийственно-презрительными словами и взглядами. Этот пример должен был показать государю, что на все решительное, отчаянное предпочтительно должно употреблять русских; он бы вспомнил Бенигсена после Прейсиш-Эйлау и мог бы убедиться, что часто немецкая осторожность отнимает у нас весь плод наших успехов. Именем царя дали Кнорингу почувствовать, что ослу не довлеет оставаться начальником армии. На его место назначили Барклая-де-Толли, которого вместе с Багратионом произвели в полные генералы; последнему дали другое назначение.

Знакомство одно, сделанное мною незадолго перед этим, несколько поколебало верование мое в продолжительный и для нас полезный союз с Наполеоном. У Хвостовой встречался я с Михаилом Александровичем Салтыковым[1], человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в сорок лет и тона самого приятного. Пасынок сильного при дворе Екатерины

[1] Это был один из фаворитов Екатерины II, на очень короткий срок заместивший у нее Платона Зубова. Отчим его П. Б. Пассек — один из убийц Петра III. Дочь Салтыкова, Софья, была позднее замужем за поэтом А. А. Дельвигом. До того у нее был трогательный роман с декабристом П. Г. Каховским, которого Николай I повесил в 1826 году; об этом романе см. «Б. Л. Модзалевский. Роман декабриста Каховского», Л. 1926. Салтыков был членом литературного общества «Арзамас».

Петра Богдановича Пассека, с фамильным именем довольно громко в России звучащим, но с состоянием весьма ограниченным, мог он только почитаться полузнатным. Хотя, как настоящий барин, получил он совершенно французское образование, был, однако же, у других молодых бояр целым поколением впереди. Классиков века Людовика XIV уважал он только за чистоту их неподражаемого слога, более же пленялся роскошью мыслей философов восемнадцатого века; но тех и других готов он был повергнуть к ногам Жан-Жака Руссо; в нем все было: и чувствительность, и воображение, и мысли, и слог. После него признавал он только двух хороших писателей: Бернардена де-Сен-Пьера в прозе и Делиля в стихах. О немецкой, об английской литературе не имел он понятия; на русскую словесность смотрел он не так, как другие аристократы, гордо отворачивающиеся от нее как от урода, при самом рождении умирающего, а видел в ней невинного младенца, коего лепет может иногда забавлять. В первой молодости был он уже подполковником и ад'ютантом князя Потемкина, и если далее не пошел вперед, то сам был виноват. Он был из числа тех людей, кои, зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство, признавая в них оные, обязано их награждать, употребляют ли, или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что пбчести без всякого труда, сами собою должны были к нему приходить. Во время революции превозносил он жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал; но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем. Всегда и всеми недовольный, кинул он службу и общество и в среднем состоянии нашел себе молоденькую жену, француженку, дочь содержательницы пансиона Ришар. При Павле его было не слыхать, не видать. При Александре республиканец пожелал и получил кармергерский ключ, который дал ему четвертый класс и который в старину одним открывал путь к дальнейшим почестям, а для других запирал его навсегда. Он сердился, что не получает места, и никого не хотел удостоить просьбою о том. Несколько позже стал он занимать довольно важные должности, но по незнанию дел, по совер-

шенному презрению к ним все места умел превращать в канониками [синекура]. Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Обольщенный им, я обрадовался, когда вздумалось ему в первый раз пригласить меня к себе. С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал; разгорался же только нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарте. Не знаю какое чувство, монархическое ли, врожденное во всяком русском, или привитое республиканское (не оба ли вместе?) так сильно возбуждали его против похитителя престолов и истребителя свободы; только никто столь убедительно не проповедывал против него, как этот Салтыков. Как ни больно мне было сознаться, что я ошибался, он заставил меня сие сделать.

После неудачной попытки на Стокгольм государю надоела шведская война, и он желал кончить ее добрым миром. Новый старый король не смел еще подаваться на него, ибо война сделалась национальною, и она медленно продолжалась. Один только корпус Шувалова оставался действующим.

Ничего не могло быть удивительнее мнения публики, когда пушечные выстрелы с Петропавловской крепости 8 сентября возвестили о заключении мира, и двор из Зимнего дворца парадом отправился в Таврический для совершения молебствия. Все спрашивали друг у друга, в чем состоят условия. Неужели бо́льшая часть Финляндии отходит к России? Нет, вся Финляндия присоединяется к ней. Неужели по Торнео? Даже и Торнео с частью Лапландии. Неужели и Аландские острова? И Аландские острова. О, боже мой! О, бедная Швеция! О, бедная Швеция! Вот что́ было слышно со всех сторон. Пусть отыщут другой народ, в коем бы было сильнее чувство справедливости, англичане не захотят тому поверить. Русские видели в новом завоевании своем одно только беззаконное, постыдное насилие. Во всей России, дотоле славной и без потерь владений униженной все более и более, господствовала одна мысль, что у нее, именно у нее, а не у государя ее, есть на Западе страшный соперник, который должен положить преграду величественному течению ее великих судеб, если сама она не будет уметь потушить сей блестящий, ей грозящий метеор. С са-

мого Тильзитского мира смотрела она на приобретения свои с омерзением, как на подачки Наполеона.

Те из русских, кои несколько были знакомы с историей, не столько негодовали за присоединение Финляндии, сколько благодарили за то небо.

Обессиление Швеции упрочивало, обеспечивало наши северные владения, коих сохранение с построением Петербурга сделалось для нас необходимым. Если спросить, по какому праву Швеция владела Финляндией? По праву завоевания, следственно по праву сильного; тогда тот из соседей, который был сильнее ее и воспользовался им, имел еще более ее прав. К тому же, самое название Финляндии, земли финнов, не показывает ли, что жители ее суть соплеменные множеству других финских родов, подвластных России, внутри ее и на берегах Балтийского моря обитающих?

Когда я начал знать Сперанского, из дьячков перешагнул он через простое дворянство и лез прямо в знатные. На новой высоте, на которой он находился, не знаю, чем почитал он себя; известно только, что самую уже знатность хотелось ему топтать. Пример Наполеона вскружил ему голову. Он не имел сына, не думал жениться и одну славу собственного имени хотел передать потомству. Он сочинил проект указа, утвержденный подписью государя, коим велено всем настоящим камергерам и камер-юнкерам, сверх придворной, избрать себе другой род службы, точно так, как от вольноотпущенных требуется, чтобы они избрали себе род жизни. Несколько трудно было для превосходительных и высокородных, из коих некоторые были лет сорока, приискание мест, соответствующих их чинам (в коллегии не определяли новых членов); по нескольку человек посадили их за обер-прокурорские столы, других рассовали по министерствам. Чувствуя унижение свое, никто из них, даже те, которые имели некоторые способности, не хотели заняться делом, к которому никто не смел их приневоливать.

Все после этого указа вновь жалуемые камергеры и камер-юнкеры должны были оставаться в тех чинах, в коих прежде находились, и все сии малочинные, так же как и чиновные, должны были занимать какую-нибудь должность в гражданской службе. Можно ли было ожидать от граф-

чика или князька, наследника двадцати, тридцати или пятидесяти тысяч душ, чтобы он охотно, в звании канцелярского служителя, подчинил себя засаленному повытчику и по его приказанию переписывал бумаги? В России всякий несправедливый закон исправляется неисполнением его. Все эти баричи числились только по департаментам, а главное начальство само способствовало их повышению.

Этим указом с своею знатью похристосовался государь в день светлого воскресенья. Между нею произвел он некоторый ропот; дворяне же и разночинцы тому обрадовались, особенно же те, кои, подобно мне, воспитанием, образованием своим почитали себя равным баричам, но дотоле не смели им завидовать.

Спрашивается после этого: не сам ли государь возбуждал подданных своих к идеям о равенстве и свободе? Как никто не умел тогда заметить, что от этого единого удара волшебного царского прутика исчез существовавший у нас дотоле призрак аристократии. Сперанскому хотелось республики, в том нет никакого сомнения. Но чего же хотелось Александру? Неужели представительного монархического правления? Оно нигде без высших, привилегированных сословий не существовало. Ему хотелось турецкого правления, где один только Оттоманский род пользуется наследственными правами и где сын верховного визиря родится простым турком и наравне с поселянином платит подать.

Указ, о коем говорю, был только прелюдием другого более жестокого и несправедливого указа: великий преобразователь России Сперанский об'явил его в день преображения господня, 6 августа. Он давно смотрел с негодованием и некоторою завистью на молодых дворян, которые без больших трудов подвигались в чинах, благодаря покровительству родных и друзей их семейств. Нельзя этого одобрять, однако же и никакой большой беды от того не было. Чины не были так расточаемы как ныне, сохраняли еще свою цену; люди были умереннее в своих желаниях, и немногие упорно лезли вверх. Чины получать даром можно было только в Петербурге, и немногие соглашались оставаться в нем целую жизнь. Было много и таких людей, кои не почитали обязанностью часто посещать департаменты,

к коим принадлежали, лучше сказать, были только приписаны и не хотели изнурять, убивать умственные свои способности ежедневными мелочными канцелярскими трудами. Тех и других задумал Сперанский уничтожить одним ударом.

До 1803 или 1804 года во всей России был один только университет, Московский, и не вошло еще во всеобщий обычай посылать молодых дворян доканчивать в нем учение. Несмотря на скудость тогдашних средств, родители предпочитали домашнее воспитание, тем более, что, при вступлении в службу, от сыновей их не требовалось большой учености. Не прошло двух или трех лет после основания министерства народного просвещения, как вдруг учреждены и уже открыты пять новых университетов. У нас на Руси все так быстро делается: да будет свет и бысть. Несмотря, однако же, на размножение сих наскоро созданных университетов, число учащихся в них было невелико. Государь и без того уже не слишком благоволил к своим русским подданным; Сперанский воспользовался тем, чтобы их представить ему как народ упрямый, ленивый, неблагодарный, не чувствующий цены мудрых о нем попечений, народ, коему не иначе, как насильно можно творить добро. Вместе с тем увеличил он в глазах его число праздношатающихся молодых дворян-чиновников. Сего было более чем достаточно, чтобы склонить царя на принятие такой меры, которая, по уверениям Сперанского, в будущем обещала большую пользу гражданской службе, а в настоящем сокрушала все надежды на повышение целого, почти без из'ятия, бесчисленного сословия нашего.

Чтó распространяться о содержании указа, многие лета многими тысячами проклинаемого? Скажем о нем несколько слов. Для получения чинов статского советника и коллежского асессора обязаны были чиновники представлять университетский аттестат об экзамене в науках, в числе коих были некоторые, о коих они прежде и не слыхивали, кои по роду службы их были им вовсе бесполезны, как, например, химия для дипломата и тригонометрия для судьи, и которые тогдашние профессора сами плохо знали.

Нелепость этого указа ослабляла в общем мнении всю жестокую его несправедливость.

Никто не хотел верить, чтобы строгое его исполнение было возможно. Все полагали, что оно, после временной остановки в производстве, будет только относиться к юношам, вновь поступающим на службу. Как бы на смех, как бы на зло правительству, университеты долго еще оставались почти пусты; ни старый, ни малый, ни служащий, ни служивший, ни даже приготовляющийся на службу не спешили посещать их. С своей стороны цари не любят сознаваться в ошибках, и Александр в этом случае никак не хотел уступать всеобщему ропоту. В продолжение всего царствования его указ этот отменен не был; только гораздо позже последовали в нем некоторые изменения.

Зло, им причиненное, неисчислимо, хотя совсем не то, которого мог ожидать Сперанский. От всюду рассеянных и везде возрастающих неудовольствий чего мог ожидать он, если не смут, заговоров и возмущений, в виду торжествующего Наполеона? В случае неудачи мог Сперанский надеяться другого. «Сыновья людей духовного звания учатся все в семинариях, — думал он, — почти все они не любят отцовского состояния и предпочитают ему гражданскую службу, множество из них в ней уже находится. Семинарским учением приготовленные к университетскому, они и ныне составляют бо́льшую часть студентов их: новый указ их всех туда заманит. Придавленные им дворянчики не захотят продолжать службы; пройдет немного времени, и управление целой России будет в руках семинаристов».

Так верно думал он, но не совсем так случилось. В одном он только не ошибся: самолюбие заставляло служить почти всех дворян.

Мы видели людей с седеющими волосами, покупающих книги, будто их изучающих и смело потом идущих в университеты на экзамены, как на торговую казнь. Без тайного у них согласия с экзаменаторами (впрочем, весьма несведущими) не могли б они получить аттестата. Последних надобно было задобрить. Итак, гнусное лихоимство, благодаря Сперанскому, проникло даже в святилище наук. Люди, дотоле известные чистотою правил, бессребренники-профессора осквернились взятками. Несколько позже, проведав о том, молодые дворяне, желающие вступить в службу, не брали труда ходить слушать лекции, а просто за деньги

получали аттестат, открывающий им дорогу к почестям: самый нежный возраст научался действовать подкупом. Лет пять так продолжалось, пока не приняты были меры к пресечению постыдного торга ученостью.

Когда при вступлении на престол Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка, Дмитриев [Ив. Ив.] был в нем капитаном. Мужественная красота его поразила юношу; остроумие его забавляло и пленяло однополчан, тогда как в то же время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости: они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью: за то все они, почти без из'ятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрассудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его, в этом только почитали себя ему равными, во всем же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он (разумеется при Павле) и как преступник посажен в крепость. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и, по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры сената, с определением на первую могущую открыться вакансию. Вот в каких обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нем высокое мнение.

Как стихотворец, будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины: с одной стороны Ломоносов и Державин, с другой Майков и Барков, или восторженное, превыспренное, или площадное и непотребное, ода «Бог» или «Елисей». Скажут, конечно, что Княжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии — «Хвастун» и «Чудаки»: да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав «Ермаком» и «Освобождением Москвы»

все, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд более легкому роду. Его «Модную жену», «Воздушные замки» и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недосягаемых для публики высот свел он Музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков и ему подобные: одним словом, он представил ее в гостиных. То, что предпринял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат о Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли Москве, как созвездие Кастора и Поллукса.

Государь не ошибся, избрав министром [юстиции] поэта Дмитриева; но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею, вследствие счастливого каприза императора Павла. С его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости, ему не трудно было с сею частью скоро ознакомиться, и русское правосудие сделало в нем важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться (это случилось гораздо позже), но как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда я уже знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в нем много противоположностей: в нем все было размерено, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце; все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина: квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенно чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом потому, что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, зато любил их горячо; прочим всегда желал он добра; чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту: в молодости и в

зрелых летах был он их коноводом, в старости патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется, любить нельзя, можно ему только что дивиться; Дмитриев, с прекрасными свойствами истинных поэтов, имел некоторые из их слабостей: в нем была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этою приправкой самая важность его, сериозный вид делались привлекательны.

Министром народного просвещения назначен был граф Алексей Кириллович Разумовский, попечитель Московского университета. Он также посещению Москвы государем был обязан за его выбор. Все сыновья добродушного, ко всем радушного Кирилла Григорьевича были не в него спесивы и недоступны. А казалось бы, ему скорее можно было в молодости зазнаться при быстром переходе от состояния пастуха к званию гетмана Малороссии, от нищеты к несметному богатству. Все они воспитаны были за границей, начинены французскою литературой, облечены в иностранные формы и почитали себя русскими Монморанси [1]. Трое из них были просто любезные при дворе и несносные вне его аристократы; один Андрей был известным дипломатом, а двое, Григорий и Алексей, предались наукам, первый минералогии, последний ботанике. Может быть, Линней и был бы хорошим министром просвещения, но между ученым и только что любителем науки великая разница. Из познаний своих делал граф Алексей Разумовский то же употребление, что̀ и из богатства: он наслаждался ими один, без малейшего удовольствия, без всякой пользы для других. В подмосковном великолепном поместье своем Горенках, среди царской роскоши, заперся он один с своими растениями. Тогда все почиталось великою ученостью; от любезных ему теплиц оторвали его, чтобы поручить ему рассадники наук: казалось, право, что русское юношество считали принадлежащим к царству прозябаемых. Еще раз должно сказать, что все эти баричи, при Екатерине и после нее, на французский знатный манер воспитанные, в делах

[1] Герцог М. Монморанси (1760—1826) участвовал в войне за независимость американских колоний; в начале французской революции примкнул к ней, но вскоре эмигрировал и вернулся на родину после террора.

были ни к чему не годны, следственно с властью и вредны; и к сотням доказательств того принадлежит Разумовский. Никакой памяти не оставил он по себе в министерстве. Он имел одну только беззаконную славу быть отцом Перовских.

После кончины графа Васильева надеялся Дм. Ал. Гурьев быть его преемником; но всем известная, высокая, огромная его неспособность до того не допустила. Голубцова сделали управляющим министерством; а Гурьеву, старее его чином, нельзя было оставаться его товарищем. С тех пор не переставал он думать об этом министерстве и тайно интриговать о получении его.

Другой раз встречаюсь я с этим Гурьевым, одним из долговечнейших наших министров, и все как будто избегаю входить на счет его особы и управления в какие-либо подробности. Признаюсь, предмет не самый приятный; но так и быть, начну ab ovo, с яйца, из которого он вылупился. Если верить словам одного старинного рассказчика, бывшего при дворе Екатерины, не покидавшего Петербурга, знающего настоящих отцов многих из нынешних пожилых уже людей, яйцо это было не орлиное. Большие баре в старину любили камердинеров своих, домоправителей, управителей выводить в чины; они гордились этим, они даже смотрели равнодушно, иные даже с удовольствием, как, распоряжая их имениями, эти люди наживали собственные; в моей молодости это я еще помню. Один из сих управителей, отец Гурьева, был чрезвычайно любим своим господином, которого рассказчик мой, Сергей Васильевич Салтыков, назвать мне не умел, но говорил как о деле, в его время всем известном. Не только отпустил он его на волю, не только доставил ему штаб-офицерский чин, но малолетнего его сына позволил воспитывать с собственными детьми. Когда мальчик вырос, отец его имел уже хорошее состояние и мог, записав его в артиллерию, дать ему приличное содержание. Гурьев никогда не был ни хорош, ни умен; только в те поры был он молод, свеж, дюж, бел и румян, вместе с тем чрезвычайно искателен и угодителен; ему хотелось во что бы ни стало попасть в люди, и слепое счастие услышало мольбы его. Он случайно познакомился с одним молодым, женоподобным миллионером, графом Па-

влом Мартыновичем Скавронским, внуком родного брата Екатерины I, отправлявшимся за границу. Гурьев умел ему полюбиться, даже овладеть им, и более трех лет странствовал с ним по Европе. Этот молодой Скавронский, как говорят, был великий чудак: никакая земля не нравилась ему, кроме Италии, всему предпочитал он музыку, сам сочинял какую-то ералашь, давал концерты, и слуги его не иначе имели дозволение говорить с ним как речитативами, как нараспев. Вероятно, и Гурьев из угождения принужден был иногда петь с ним дуэты. Когда Скавронский воротился в Петербург, все молодые знатные девицы стали искать его руки, а он о женитьбе и слышать не хотел. Наконец, сам князь Потемкин пожелал выдать за него племянницу свою Энгельгардт, сестру графини Браницкой и княгини Голицыной. Один только Гурьев мог этим делом поладить, но он торговался и требовал по-тогдашнему невозможного: он хотел быть камер-юнкером. Всякого другого, но только не Потемкина, это бы остановило; и так сей брак стараниями его состоялся. Не только получил он камер-юнкерство, но сверх того от Скавронского три тысячи душ в знак памяти и верной дружбы. Молодость, иностранная образованность, придворный чин, богатство, все это позволяло думать ему о выгодной партии, только новость его имени все еще мешала ему получить право гражданства в аристократическом мире; он скоро приобрел их, женившись на графине Прасковье Николаевне Салтыковой, тридцатилетней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на ее три тысячи душ.

Гурьев недаром путешествовал за границей: он там усовершенствовал себя по части гастрономической. У него в этом роде был действительно гений изобретательный, и, кажется, есть паштеты, есть котлеты, которые носят его имя. Он давал обеды знатным, новым родным своим, и только им одним; дом его стал почитаться одним из лучших, и сам он попал в число первых патрициев Петрополя.

Восшествие Гурьева на знатность можно почитать пагубной для нее эпохой. Двор Екатерины и Павла, заимствовавший тон и манеры у версальского, наследовал ему после его падения и рассеяния его представителей, сделался убежищем вкуса и пристойности и начинал служить образцом

другим дворам европейским. Мужчины и женщины старались в нем отличаться вежливостью; непринужденно отделяясь от толпы, они приветливо ей улыбались: чем знатнее кто считал себя, тем учтивее был он с теми, кого почитал себя ниже. Восходящие из ничтожества спешили им уподобляться, чтобы сравниться с ними, и подражание начинало распространяться по провинциям, к чему русское добродушие много способствовало. Революция породила борьбу демократии с высшим дворянством во Франции и, может быть, некоторым образом в соседственных с нею землях; мы же оставались вне ее действия. Происшествия заставили в Европе настоящих аристократов принять вид неприязненный против притязаний низших классов: им нужно было надменностью осадить заносчивость людей среднего состояния. В России никто не думал оспаривать прав знатности, сколь, впрочем, они ни были мнимы и ни на чем не основаны: уважали ее возвышение, любили ее приветливость. Но все европейское, рано или поздно или невпопад, непременно должно к нам перейти. Кочубей был первый, который берег улыбки для равносильных ему при дворе, для приближенных своих, необходимых ему по делам службы и по денежным делам его: всех прочих встречало его надменное, угрюмое чело, скупость слов и убийственный холод. Не говоря о давно-прошедшем при Анне и Елисавете, в новейшее время он первый начал входить в постыдные для министра спекуляции.

Но обхождение его можно было назвать ласкою в сравнении с дурацкою напыщенностью Гурьева. Если б посредством родственных и других связей заранее не водворился он в так называемом высшем кругу, если б по достижении министерства переменил бы он обращение с людьми, его составляющими, то неизбежно постигнуло бы его название... Сего не случилось, ибо в возвышении его русская знать видела торжество своей касты. Семейства обоих, Кочубея и Гурьева, подражая им, сделались в обществе нестерпимы и наглы со всеми, коих не признавали своими, то есть (чин, титул и древность рода в сторону) со всеми, коих богатство и кредит при дворе были незначительны. Мало-по-малу, умножая число своих приверженцев, семейство Гурьево похитило законодательство и полицию гостиных. Может

быть, пример вечно образцовой для нас Франции также действовал тогда: там один только Талейран умел еще быть учтивым; новые же герцоги, маршалы, министры, префекты, равно как и супруги их, все вылезшие из харчевен, конюшен, кабаков, верно не хуже Гурьевых умели подавлять своею спесью.

Министерство внутренних дел при [В. П.] Кочубее было так обширно, что в нем самом видели первого министра; после того министерство финансов при Гурьеве почиталось выше других; наконец, зять этого Гурьева [К. В. Нессельроде] долго управлял и до сих пор управляет министерством иностранных дел; и как бы прежде не хвалилась петербургская аристократия своею независимостью от милостей двора, официальная сила сих трех человек имела на состав ее решительное влияние. Все трое известны были алчностью к прибыли, и по всей справедливости можно почитать их у нас основателями явного поклонения златому тельцу, столь пагубного для нашей чести и нравственности.

Трое только из прежних министров сохранили свои портфели: Румянцов, Чичагов и Куракин; последний не надолго. Сперанский, как все гордые и подлые души, для коих благодарность — бремя и скука, не знал, как совершенно отделаться от первого своего патрона, и искал только удобного случая его выпроводить.

По окончании маневров, более чем военных действий, против Австрии в Галиции, по заключении мира с Швецией, все внимание обратилось на войну с турками.

Назначение Каменского главнокомандующим молдавскою армией всех обрадовало: все любили его, все уважали, всем известны были его воинские таланты; никто не знал его болезненного состояния.

В первых числах февраля, благословляемый всею Россией, Каменский отправился в Букарешт. С ним поехал один молодой человек, о котором много и довольно часто говорил я в сих записках, но о коем давно уже не упоминал. Возвратившись осенью 1808 года в Петербург, я не нашел в нем Блудова.

Покойная мать его, почти всегда хворая, жила уединенно в Москве, в соседстве и тесной дружбе с статс-дамою графинею Каменскою, женою фельдмаршала и матерью глав-

нокомандующего, которая также семейную жизнь предпочитала светской: редко можно было видеть двух сестер, столь нежно любящих друг друга. Перед коронацией Александра приехал из Петербурга к графине Каменской родной дядя ее, князь Андрей Николаевич Щербатов с женою и дочерью и остановился у нее. Молодая княжна Анна Андреевна Щербатова примечательна была нежными чертами лица, и при дворе, где она находилась фрейлиной, многие находили в ней сходство с императрицею Елисаветой Алексеевной; одни давали ей преимущество, другие императрице. Присутствие петербургской девицы оживило однообразие графини Каменской. Не трудно было княжне Щербатовой, с прелестьми, которые она еще имела, с ангельскою кротостью, которою всегда отличалась, с знанием приличий большого света, вскружить голову пятнадцати или шестнадцатилетнему кипучему мальчику, не знакомому еще со светским и женским кокетством, совершенно невинному, но в котором от силы воображения страсти успели уже созреть. Она пленила его, хотя никак о том не думала и несколькими годами была его старее. Эта страсть в следующем году привлекла его в Петербург. За нее должен благодарить он небо: она истребила в нем все порочные побуждения, жар души его направила к добру и чести. Как можно было почти ребенку помышлять о женитьбе? Долго оставалась она для него только кумиром добродетели, источником чистейших помышлений и чувствований. Исключая несовершеннолетие его, к брачному с нею союзу представлялись еще другие препятствия. Княгиня Щербатова, женщина известная своею набожностью, строгими правилами, примерною преданностью и верностью супругу (тридцатью годами ее старее), гордясь его знатностью и своими добродетелями, была сурова и надменна. Многим молодым людям, достойным ее дочери, отказывала она уже в руке ее, чего же можно было ожидать малочиновному дворянчику, у которого, правда, была родословная длиною в восемь столетий, наполненная именами бояр и воевод, но что̀ это значит в России? Под словом знатность разумеется в ней совсем новая или, по крайней мере, подновленная знаменитость. Время и постоянство одолевают все: графиня Каменская, принявшая на себя все обязанности умершей матери

Блудова, вступилась в это дело, и гордая княгиня из'явила наконец, свое согласие. Для доставления скорейшего повышения будущему родственнику, Каменский назначил его правителем своей заграничной канцелярии, что́ было очень важно для надворного советника, которому не было двадцати пяти лет от роду.

Если счастье, наконец, улыбалось Блудову, то от меня оно совсем отвратило лицо свое; другому я бы, может быть, позавидовал, а его успехи были для меня утешением.

Часто случается, что люди, само по себе ничего не значущие, не имеющие никакого особого достоинства или недостатка, порока, делаются примечательны потому только, что носят на себе отпечаток времени и обстоятельств, в коих находились. В этом отношении Рибопьер [И. С.] заслуживает внимания, и я готов просить читателя не отказать в нем изображению его, которое здесь попытаюсь я сделать. Как история происхождения его, так и его собственная довольно любопытны.

Возвратясь из заграничного путешествия, молодой богач и барич Степан Степанович Апраксин, единственный сын умершего фельдмаршала, привез с собою из Швейцарии молодого (говорят) камердинера, которого, по приезде в Россию, произвел в домашние секретари; он назывался Рибопьер. Вожделенный жених всех знатных невест, Апраксин вел себя, как французский roué [повеса, развратник] тогдашнего времени... В числе его жертв была одна фрейлина, помещенная Екатериною жительством во дворце, как сирота, оставшаяся после знаменитого в войне и мире Александра Ильича Бибикова. Молодой секретарь сочинял ему письма к ней, тайно их передавал... Он был сострадателен, она чувствительна, он старался утешить ее и до того успел в том, что она решилась за него выйти замуж. Несмотря на негодование всех родных, на гнев императрицы, она устояла в своем намерении. Иностранные имена, особенно французские, были тогда в большой моде; гораздо более препятствий встретила бы девица Бибикова, если б пришлось ей соединиться браком с человеком, который бы носил русское неизвестное название, хотя бы старинное дворянское, напри-

мер, Терпигорева. Когда дело было сделано и помочь ему было нельзя, женевского мещанина[1] записали гвардии сержантом и, как водилось тогда, через несколько времени выпустили в армию капитаном. Он был, говорят, красив, благороден и храбр, служил хорошо, на войне получил георгиевский крест и в чине бригадира, начальствуя каким-то пехотным полком, убит при штурме Измаила. После него остался один малолетний сын, Александр Рибопьер, о котором идет речь.

Необыкновенная красота мальчика, геройская смерть отца и великие подвиги деда заставили строгую иногда по необходимости, но всегда чувствительную и добрую Екатерину, взять отрока под особое свое покровительство: она сделала его офицером конной гвардии, часто призывала к себе и любовалась им. В восемнадцать лет, когда Павел пожаловал его камергером, на плечах у него такая была головка, за которую всякая, даже довольно пригожая девица готова была бы поменяться своею. В последние дни его царствования имел он поединок с князем Четвертинским за одну придворную красавицу; бредя рыцарством, Павел обыкновенно в этих случаях бывал не слишком строг; но как ему показалось, что любимая его княгиня Гагарина на него иногда заглядывалась, то из ревности велел он его с разрубленной рукой, исходящего кровию, засадить в каземат, откуда при Александре нескоро можно было его выпустить по совершенному расслаблению, в которое он оттого пришел. После того сделался он кумиром прекрасного пола. Сам не менее того начал он обожать себя. И могло ли быть иначе после такого младенчества и в таком блеске проведенной молодости?

Мне случилось иногда видеть его довольно важно танцующего на балах с каким-то тихим самодовольствием; также случалось мне встречать его у князя Федора Сергеевича Голицына, в котором видел он своего Пилада, тогда как тот почитал себя его Орестом. Может быть, для твердости дружественных уз действительно необходима противоположность характеров: сколько в Голицыне было веселости, лю-

---

[1] Это несправедливо: И. С. Рибопьер происходил из древнего, но обедневшего рода. П. Б.

безности, сообщительности, столько в Рибопьере было неподвижности, расчетливости, учтивой надменности.

Хотя они были ровесники, первый казался принадлежащим к прежнему, последний — к новому изданию руской аристократии; один хотел как будто властвовать над низшими любовию, другой поражать их своим величием. Ума более чем посредственного, этот человек имел однако же дар довольно кстати помещать в разговоры затверженные им фразы; общие места, с тоном приговора им произносимые, людьми несведущими или невнимательными принимались за новые и глубокие мысли. Амур и гений вместе, он пленял в одно время и изумлял петербургское общество, за которое, право, я готов краснеть. Наконец, сама холодная и гордая баденская принцесса Амалия, сестра императрицы, находившаяся тогда в Петербурге, говорила об нем с восторгом, весьма похожим на любовь. Выдумать себя он не был в состоянии, а умел лишь несколько приблизительно быть подражанием Кочубея; он был плохая с него литография. Красотою, умом он не столько еще гордился, как (кто бы подумал?) знатностию своею и, не краснея, часто любил об ней твердить: одних убеждал он в ней, другим беспрестанно напоминал о ее свежести. Он был женат на девице Потемкиной, дочери княгини Юсуповой от первого брака, и родственников жены и матери своей не иначе называл, как с прибавлением степени родства их с ним: дяд мой Голицын, тетка моя Браницкая, тетка моя Кутузова[1]. Приобщенный к сонму полубогов, он совершенно забывал смертных, единокровных ему швейцарских молочниц. В обществе многие находили, что столь необыкновенный человек крадет себя у государства, не посвящая ему великие свои способности; а он давал чувствовать, что не его вина, когда не умеют употребить его с пользою. Указ Сперанского о камергерстве заставил его, наконец, искать места; но все было не по нем. В судьбе, в происхождении и в притязаниях Гурьева и Рибопьера было слишком много сходства, чтобы у последнего не составились связи с семейством первого и с ним самим. Первое место, сделавшееся вакантным в его министерстве, получил Рибо-

[1] Катерина Ильинишна Кутузова [жена М. И. Кутузова] теща Опочинина, была сестра Александра Ильича Бибикова, деда Рибопьера. Авт.

пьер, который, принимая его, согласился попятиться, в надежде скоро далее прыгнуть.

Бури, свирепствовавшие по Дунаю, не ранее половины мая дозволили Каменскому переправиться через него. Кампания открылась самым блестящим образом: войска, под начальством старшего брата главнокомандующего, графа Сергия Михайловича (не сам он, говорят) 24 мая среди белого дня взяли приступом укрепленный город Базарджик. Через несколько дней спустя, 30 мая, сдалась важная крепость Силистрия. После того армия беспрепятственно пустилась в поход к Балкану. К несчастию, наткнулась она на Шумлу, девственную твердыню, вечный камень преткновения для наших войск. Много потерял времени граф Каменский на осаждение этого места, более природой, чем искусством укрепленного, в котором сам визирь засел со всеми своими вооруженными турками. Частые стычки, в которых русские всегда имели верх, ничего не доказывали и ни к чему не вели. Нетерпеливый Каменский, среди принужденного бездействия, изнывая от досады, пожелал хотя на другом пункте нанести неприятелю какой-нибудь новый, решительный удар. Для того по новому направлению пошел он обратно к Дунаю, и 22 июля, в день имянин вдовствующей императрицы, дал он несчастно-памятный штурм неприступной крепости Рущуку.

Отражение неприятельское было совершенно поражением нашей армии. О горе, о стыд, о дело неслыханное! Русские, побитые на голову турками! Очевидцы рассказывали, что Каменский, увидя совершенную неудачу свою и с отчаянья забыв весь страх, жаждал смерти и становился в самые опасные места, куда из крепости долетали неприятельские ядра. Полагаясь на ум, на дружбу и на усердие Блудова, с печальным известием отправил он его в Петербург. Он надеялся, что он искусно будет уметь ослабить впечатление, которое оно должно там было произвести; это было трудно, это было невозможно. Напрасно лишил он себя Блудова: из числа людей, его окружавших, так мало осталось верных его несчастию. Как войско, так и народ в России чрез меру любят победителей: все готовы прощать им, все готовы переносить от них и всегда забывают прежние заслуги побежденных.

Всю жизнь прослуживши в армии, Каменский не был знаком с тонкостями выражений, употребляемыми в столице, которые смягчают выговор, которые слепую покорность военных людей делают им сносною. Привыкнув сам безропотно повиноваться начальству, он в свою очередь требовал строгого исполнения своих приказаний. Любезен, приветлив в обществе, даже с простыми офицерами, он все забывал, когда дело доходило до службы, особливо во время войны. С усилением его телесных страданий умножилась и неровность его характера, и те, коим за несколько часов нежно и грустно он улыбался, нередко встречали его с угрозою и бранью на устах. Несколько придворных генералов, между коими были Уваров, Строгонов, Трубецкой, множество штаб и обер-офицеров гвардейских, прискакали в молдавскую армию за верными успехами и наградами. Они более затрудняли, обременяли его, чем были ему в помощь; он не умел довольно скрывать того и не хотел давать им явного предпочтения перед другими заслуженными воинами. Среди них родились неудовольствия на него, возросли, умножились, и еще прежде Рущука окружен он был интригами, в коих не последнее участие принимал француз Ансельм-де-Жибори, которого имел он слабость взять с собою. После же этого несчастного дела все тайно против него восстали, и сам старший брат его, этот гнусный, подлый и завистливый Сергий Михайлович публично за обедом пил за здоровье Бошняк-аги, начальника Рущука, победителя брата своего, как он его называл. В Петербурге чем более возлагали на него надежд, тем менее прощали ему неисполнение их. Отцы семейств, в сем кровопролитии лишившиеся сыновей, кляли его за эту потерю, как будто он был обязан беречь детей их. Одним словом, рущукская пушка убила вдруг его счастье, его славу, общую к нему любовь.

Однако же, отдохнув несколько времени, с остатками войск пошел он против собравшейся новой, сильной, ободренной турецкой армии и 26 августа (многократными событиями памятный для России день) разбил ее в прах при селении Батине. Вследствие сей победы пали последние турецкие крепости на Дунае — Журжа и этот ужасный Рущук. Уже был сентябрь, ничего нового предпринять было невозможно, и кампания кончилась не совсем неудачно.

Что происходило в Петербурге, стоило рущукского дела. В продолжение целого лета все государственное здание трещало и ломилось под всесокрушительною и всезиждительною десницею Сперанского. Спокойно-величаво стоявшие дотоле коллегии падали одна за другою, и из развалин их скромно поднимались департаменты. Уже название сие перестало быть присвоено целому министерскому управлению, а только частям его, которые наследовали покойным коллегиям.

Не знаю, под какими предлогами князя Куракина целое лето держали в Париже. Во время отсутствия его происходили все большие перемены в его министерстве, с согласия и, говорят, с участием товарища его Козодавлева, которому в награду за покорность обещано было его место. Нет сомнения, что г. Козодавлев согласился бы управлять и отделением, если б только оному было дано название министерства. По возвращении осенью, найдя министерство свое рассеченным, оборванным, Куракин, несмотря на любовь свою к власти и почестям, отказался от него, как товарищ его сие предусмотрел, и сей последний получил его место.

Приверженцы Куракина облагодетельствованного им преемника его обвиняли в предательстве. Но кто же себе добра не желает?

Кажется, я уже познакомил читателя с Осипом Петровичем: только боюсь, неумышленно не дал ли я об нем худого мнения, которого, право, я сам вовсе не имел. Не все хорошо в людях, не все и худо. Слабость, которую разделял он с большею частию людей, занимающих в Петербурге высшие места, конечно, являлась в нем несколько в преувеличенном виде: он любил двор до обожания и для получения милости царя или даже хорошего расположения его приближенных готов он все был сделать. Знакомые его могли на нем, как на барометре, справляться о состоянии придворной атмосферы. Готовые мнения получал он прямо из дворца или из кабинета Сперанского и никаких других себе не позволял. Я помню сначала, как он с женой не произносил никогда имени Наполеона без почтительного восклицания. Некоторое время, гораздо позже и то недолго, либеральные идеи были в моде при дворе: из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова. Что это все доказывает, если не верноподанничество, которое с ны-

нешними испорченными понятиями только может казаться странным? Корыстолюбие его, впрочем весьма умеренное, никто не думал порицать: всякий знал, что он предается ему не с намерением обогатиться, не из алчности к прибыли, а для поддержания высокого сана, на который был он поставлен. Если бы император Александр был пощедрее к своим министрам, то некоторым из них не нужно было бы прибегать к средствам, не совсем одобряемым строгою нравственностию.

Козодавлев был литератор и член Российской Академии. Ему нужно было щегольнуть словесностию в министерстве своем: для того учредил он при нем газету под именем «Северной Почты» и сам наблюдал за ее изданием. Весьма мало заграничных известий помещалось в сей газете, все из опасения, чтобы не проврաться; зато все столбцы ее наполнялись статьями о свекловице и кунжуте и о средствах из сих растений выделывать сахар и масло. После того начали появляться в ней мериносы, шерсть и суконные фабрики. Запретительная система была тогда во всей своей силе, и он старался доказывать, сколь выгодно произведения иностранной промышленности заменять отечественными.

Я не скрыл его недостатков; после того грешно бы было умолчать о его любезных, в столичном мире редких свойствах. Он был по истине добрейший человек, не знал ни злобы, ни зависти: надобно было видеть его радость, когда узнавал он о чьем-нибудь повышении, о чьих-либо успехах! Когда же самому удавалось ему выпрашивать награды, спасать кого от беды, то он совершенно бывал счастлив. Без всякого притворства был он исполнен религиозных чувств; после, конечно, это пригодилось ему; но он показывал набожность, когда еще она не была в моде. Как было разгадать его? Он был умен, просвещен, добр, христолюбив, а со всем тем!.. Может быть, добротою сердца своего измеряя пучину благости господней, он более надеялся на милосердие его, чем на правосудие. Со мною продолжал быть он ласков, когда сделался министром; но по наговору окружающих, почитая меня человеком неуживчивым, вечно недовольным, слышать не хотел, чтобы иметь меня под своим начальством.

Министерство полиции, составленное только из двух департаментов (полиции исполнительной и медицинской), было

чрезвычайно сильно небольшою прибавкой, в нем сделанною, как иногда в письме post-scriptum изображает всю важность цели его. Сия прибавка названа особою канцелярией.

Многие видели в ней возрождение тайной канцелярии, стыда и ужаса прошедших времен России, при коронации Александра его благостию уничтоженной. Для чего было созидать ее вновь? Посредством ее что можно было узнавать и удерживать?

Вся Россия сделалась нескромною, злилась на государя своего, а все-таки, без памяти его любя, готова была всем ему пожертвовать.

Со времен царя Ивана Васильевича Грозного секретною этою частию почти всегда у нас заведывают немцы. Мы находим в истории, что какой-то Колбе да еще пастор Вестерман и многие другие пленники, желая мстить русским за их жестокости в Лифляндии, добровольно остались при их мучителе и составляли из себя особого рода полицию. Они тайно и ложно доносили на бояр, на всякого рода людей и были изобретателями новых истязаний, коими возбуждали и тешили утомленную душу лютого Иоанна. С тех пор их род не переводился ни в Москве, ни в целой России. Всякому новому венценосцу предлагали они услуги свои, и чем власть его была колеблемее и сомнительнее, тем влияние их становилось сильнее, как сие видно при Годунове и Лжедимитрие. Оставляя в сторону кровавое их могущество при Петре и Бироне, в новейшие времена находим мы имена Шварца, Толя, Эртеля гремящими в полицейских летописях. Можно было ожидать, что немец будет министром полиции; но на этот раз небо избавило от того Россию.

Должность сия поручена была человеку, который успел выказать способности свои в звании сперва московского, затем петербургского обер-полицеймейстера. Природа дала все Александру Дмитриевичу Балашову взамен приятности наружной, в которой отказала ему; дала ему все, что нужно для успехов: хитрость грека, сметливость и смелость русского, терпение и скромность немца. В ученом смысле, как все тогда в России, получил он плохое образование; но, по мере возвышения в чинах и местах, более чувствовал он потребности в познаниях, кидался на них с жадностию и с быстротою все пожирал. Заронись одна благородная искра

в этот необыкновенный ум, воспламени его, и отечество гордилось бы им.

Я его помню еще тогда, когда он служил в Москве и был более товарищем, чем начальником зятя моего Алексеева. Он жил с ним весьма дружно и часто посещал его: видно, правда, что оконечности охотно сходятся. У одного ни одной заповедной думы не оставалось на душе, все выходило на язык; другой, совсем не молчаливый, однако же, бывало, не выронит лишнего слова. Он ростом был мал, только что не безобразен, и черты лица его были неблагородно выразительны; а когда послушаешь его немного, то начнешь и смотреть на него с удовольствием. Никакого умничанья, умствования, витийства он себе не позволял, ничего любезного, трогательного не было в его разговорах, а все было просто, хорошо и умно. Светлый зимний день имеет также свои приятности; речи Балашова были столь же ясны, как его рассудок, и так же холодны, как душа его...

Он был женат сперва на одной девице Коновницыной, которая оставила ему детей и весьма хорошее имущество; потом женился он в другой раз на девице Бекетовой, которая была еще гораздо богаче первой жены его, и он сими двумя состояниями пока довольствовался, когда его сделали министром.

Доказательством удивительной его ловкости служит то, что он успевал в своих намерениях, никогда не придерживаясь ни Сперанского, ни Аракчеева; последний почитал его даже врагом своим и старался ему вредить. В начале 1809 г. удалось ему уже спихнуть начальника своего, беспокойного князя Лобанова, и самому сесть на его место; это еще первый пример человека, из обер-полицеймейстеров поступающего прямо в военные губернаторы столицы; с сим назначением вместе произвели его генерал-лейтенантом и генерал-ад'ютантом. С определением в министры сохранил он и должность с.-петербургского военного губернатора.

По секретной части, в так-называемой особой канцелярии, однако же, дело не обошлось без немца. Правителем сей канцелярии (еще пока не директором) назначен был надворный советник Яков де-Санглен, вероятно, потомок одной из французских фамилий, которые бежали в Германию во время гонений на реформатскую веру. Перед тем, кажется, был он

частным приставом и прославился наглостию, подлостию и проворством своим. Не знаю, оттого ли, что русские были тогда избалованы Александром, или оттого, что они чувствовали себя сильными единодушием своим, единомыслием, только никто из них не хотел скрывать глубокого презрения к такого рода людям. Сколь ни опасен, сколь ни страшен для каждого из них был этот де-Санглен, никто не хотел ни говорить с ним, ни кланяться ему.

Государственный контроль было единственное из'ятие, сделанное из прежнего министерства финансов. Когда о сю пору губернский контроль остается только частию казенной палаты, то право не знаю, зачем бы общую ревизию счетов отделять от министра, от которого казенные палаты зависят? Что могло побудить к тому Сперанского? Разве желание доставить министерское место приятелю своему, прежнему сослуживцу (надеюсь, не соумышленнику) Кампенгаузену. Части, составлявшие контроль, были столь малы, что Сперанский посовестился дать им название департаментов, а оставил их попрежнему экспедициями. Само министерство, не получив наименования сего, образовалось в виде какой-то просто отдельной части: сам Кампенгаузен принял титул не министра, а государственного контролера [1].

Он с великою пользою мог бы занять и не столь пустую должность. С умом сухим, холодным, но весьма обширным, с характером твердым, соединял он старинную, прежнюю, пространную, добросовестную немецкую ученость, неутомимость в трудах и все познания, нужные для государственного человека. Ему бы быть министром финансов, не Гурьеву; но и сам Сперанский не всегда мог противиться дворцовым интригам, к тому же часть сию в совете взял он под

[1] Осенью 1810 года случился один забавный анекдот, который ходил по целому городу. Молоденький армейский офицер стоял в карауле у одной из петербургских застав. Тогда был обычай, как и ныне, у проезжающих в городских экипажах, не требуя вида, спрашивать об именах и записывать их; какой-то проказник вздумал назвать себя Рохус Пумперникель, шутовская роль в известной тогда немецкой комедии. Почему было знать и какая нужда была знать офицеру о существовании этой комедии? Но внесение Рохуса в вечерний рапорт было приписано его глупости и невежеству. Он был осужден на бессменный караул по заставам, пока не отыщется дерзновенный, осмелившийся

непосредственную свою опеку. Кампенгаузен был управляющим третьею или медицинскою экспедицией в первоначальном департаменте внутренних дел, когда Сперанский управлял второю, а Габлиц первою. Потом был он градоначальником в Таганроге, которого и можно почитать его настоящим основателем. Оттуда прямо он переведен министром.

Главное управление духовных дел иностранного исповедания сначала было еще миниатюрнее государственного контроля. Это министерство было не что иное, как один человек, для которого оно было создано. История этого человека любопытна, занимательна. Как бы у нас ни чванились князья без состояния и без чинов, никто на них смотреть не хочет, даже богатые их однофамильцы; хвала тем, кои, отбрасывая родовое пусточванство, принимаются за дело и становятся, наконец, на ряду, иногда и выше других знатных. Один из беднейших князьков Голицыных отдан был малолетним в пажеский корпус. Он был мальчик крошечный, веселенький, миленький, остренький, одаренный чудесною мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста. Весьма близкая к императрице Екатерине старая доверенная ее камер-юнгфера Марья Савишна Перекусихина [1] как-то узнала его, полюбила, тешилась забавным мальчиком и, наконец, представила его государыне, которая, как известно, чрезвычайно любила детей, что обыкновенно служит лучшим признаком добросердечия. Это составило счастие маленького князя Александра Николаевича. Какое умственное образование можно было получать в пажеских корпусах вообще? Всегда были они только школами затейливых шалостей. Верные первоначальной цели учреждения своего, пышности двора, совсем не государственной пользы, пажи хорошо только выучивались танцовать, фехтовать,

---

надругаться над распоряженнями правительства. Едет в коляске с дачи худенький человек: его спрашивают, как зовут его; он отвечает: барон фон-Кампенгаузен. Имя и отчество? Балтазар Балтазарович. Чин и должность? Государственный контролер. «Тебя-то, голубчик, мне и надобно!» — воскликнул бедный офицер, и вытащив министра из коляски, посадил его под стражу и немедленно донес о том начальству. Уверяли, что офицера перевели за то в гарнизонный полк. Авт.

[1] Перекусихиной поручала Екатерина выяснить на деле достоинства кандитатов в фавориты, приглянувшихся ей.

ездить верхом. Не знаю, в сем последнем успевал ли наш Голицын, только в нем не было заметно и тени склонности к военному ремеслу. Он рожден был для двора. Счастливым случаем в него попав ребенком, воспитанный, так сказать, у юбки Марьи Савишны, он навсегда должен был в нем оставаться. Это не избежало от благосклонного и проницательного взгляда Екатерины: когда она женила шестнадцатилетнего любимого внука своего Александра и составила ему маленький двор, то поместила в него Голицына, из камер-пажей пожаловав его прямо в камер-юнкеры и доставив ему средства прилично себя содержать. С нежностию его чувств как было не прилепиться ему ко внуку своей благодетельницы и с забавным его умом как не полюбиться молоденькому царевичу! Павел произвел его сначала камергером; а потом, за год до своей кончины, по какому-то неудовольствию на сына, отставил от службы, выслал и из особой милости дозволил жить в Москве.

Первый призванный в Петербург, по воцарении Александра, был, разумеется, жертва преданности к нему, веселие его домашней жизни. Князь Голицын был столько скромен, благоразумен, что сперва ничего не желал, ничего не требовал, кроме счастия ежедневно находиться при царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассевать, если нужно, грусть его. Но не таков был расчет государя: между окружающими его не хотел он видеть ни единого праздного царедворца. У князя Александра Николаевича была одна из тех камергерских, пустопорожних голов, которые император Александр, наперекор природе и воспитанию, хотел непременно удобрить, вспахать, засеять деловыми, государственными идеями. Это лужочки, которые весьма удобно покрываются цветами; но на неблагодарной почве их посади семяна полезных овощей, и они почти всегда поростут дурманом. Только сначала куда было ему вслед за Новосильцовыми, Строгановыми, Чарторижскими лезть на министерство! Творя волю пославшего его в сенат, он там посидел за обер-прокурорским столом, потом сам сделался обер-прокурором. С помощью добрых или недобрых людей, им там найденных, он видно, этим делом как-то поладил.

Аппетит, говорят, приходит с едою: вот моего князя взяла честолюбивая зачесь: а почему бы и ему не в министры?

Должность обер-прокурора святейшего синода сделалась вакантною; это не министерство, но легко можно из того сотворить отдельную часть. Дотоле синодальные обер-прокуроры, точно так же как и сенатские, находились в зависимости генерал-прокурора и наследовавшего ему министра юстиции. При получении сего места Голицын выпросил себе звание статс-секретаря и право вносить доклады свои прямо к государю, без посредства какого-либо министра. В беспрестанных сношениях с архиереями и монахами, как стареющая дева, теряющая прелести свои, начал он помаленьку вдаваться в набожность[1]: сперва приятным образом занимали его одни церковные обряды, наконец, совсем к тому не приготовленный, принялся он рассуждать о догматах. Прошло несколько годов, и одних православных служителей церкви ему сделалось мало. Министерства духовных дел тогда учредить не решались: это было бы уже слишком явно духовную власть подчинить мирской. Гораздо удобнее было сделать сие с духовенством терпимых вер христианских и нехристианских, и потому-то, оставаясь синодальным обер-прокурором, назначен был он главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий.

Этот добрый, этот бедный князь делался всегда собственностию людей, при нем находившихся: то сумасбродов, то злоумышленников, то невежд, то изуверов, и деяния его тотчас окрашивались их мнениями и характером. Неисчислимо зло, причиненное целому государству сим кротким созданием, которое, как слон Крыловой басни, с умыслом бы мухи не обидело. Дело чудное, примечания достойное! Все те, кои были его двигателями, все те, кои направляли его к посягательству на священные права нашей веры, все они печальным, даже несчастным образом кончили поприще свое. Правосудное небо как будто их всех карало: из них кто сослан был в Сибирь, кто сошел с ума, кто живет в заточении, кто

[1] Поэт-партизан Д. В. Давыдов говорил, что А. Н. Голицын «отличался подлостью, притворным интриганством, порочными вкусами, на востоке столь распространенными». Пушкин в эпиграмме (1819 г.) на А. Н. Голицына говорит: «Вот Хвостовой [А. П., о которой так много пишет Вигель] покровитель, вот холопская душа, Просвещения губитель, покровитель Бантыша! Напирайте, ради бога, на него со всех сторон! Не попробовать ли сзади? Здесь всего слабее он».

подверг себя добровольному изгнанию; его одного доселе щадило оно, как бы не ведавшего, что творил. Много бы говорить об нем; но здесь не место: не один раз найдется оно, если только записки сии продлятся.

После князя Голицына первым чиновником в главном управлении сделан был многоречивый Александр Тургенев, который придумал для себя название управляющего перепиской, ибо с самого начала в карманном министерстве не было ни единой экспедиции, ни единого отделения, а только небольшая канцелярия, зародыш департамента, мне после столь коротко знакомого.

Первый цвет моей молодости увял, и я бы мог тогда уже сказать с Державиным:

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен.

Не столько уже я любил театр, и это заметить можно из того, что во всей этой части Записок моих ни разу не упомянул об нем. А все-таки довольно часто бывал он для меня развлечением в горестном положении моем.

После того, что в последний раз говорил я о петербургской французской труппе, сделала она много богатых приобретений и все становилась лучше. Несмотря на общее недоброжелательство к Наполеоновой Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим.

Приехавшая в 1805 году девица Туссень, после того госпожа Туссень-Мезьер, была такое чудо, которому подобного в ролях субреток я никогда не видал: непонятно, как выпустили ее из Франции. В Париже могла бы она поспорить с девицею Марс, хотя и выполняла неодинаковые с нею роли. Вместо состарившегося Лароша, явился в комедии еще нестарый Дюран. В нем было что-то приготовленное, манерное, более выученное, чем естественное; это, однако же, не мешало ему нравиться старым барыням с молодым сердцем, и его искусственная к ним любовь, говорят, не менее того их пленяла. Старик Фрожер из сценических шутов перешел в комнатные, в домашние...

Трагедия французская в Петербурге высоко вознеслась в 1808 году прибытием или, лучше сказать, бегством из Парижа, казалось, самой Мельпомены. Чтó бы ни говорили новые поколения, как бы ни брезгали французы старевшимся искусством девицы Жорж, подобного ей не скоро они увидят. Голова ее могла служить моделью еще более ваятелю, чем живописцу: в ней виден был тип прежней греческой женской красоты, которую находим мы только в сохранившихся бюстах, на древних медалях и барельефах, и которой форма как будто разбита или потеряна. Самая толщина ее была приятна в настоящем, только страшила за нее в будущем: заметно было, что ее развитие со временем много грации отымет у ее стана и движений. Более всего в ней очаровательным казался мне голос ее, нежный, чистый, внятный; она говорила стихами нараспев, и то, чтó восхищало в ней, в другой было бы противно. В игре ее было не столько нежности, сколько жара; в «Гермионе», в «Роксане», в «Клитемнестре», везде, где нужно было выразить благородный гнев или глубокое отчаяние, она была неподражаема. Ксавье, великан в юбке, не стыдилась показываться вместе с ней; однако же как должно было страдать ее самолюбие, видя всех прежних рукоплескателей своих превратившихся в шикателей!

Для забавы друга своего Александра в Эрфурте и на удивление толпы прибывших туда королей, Наполеон выписал из Парижа труппу лучших комедиантов. Между ними русскому императору более всех игрой полюбилась девица Бургоэнь; заметив то, Наполеон велел ей отправиться в Петербург, чего сама она внутренно желала. Замечено, что парижские актеры охотно меняют его только на Петербург, и Россия есть единственная страна, которая оттуда умеет сманивать великие таланты. Щедрее ли других она платит, или, касаясь пределов Китая и Персии, по весьма извинительному честолюбию в артистах, надеются они, что через нее лишь слава их может достигнуть до концов вселенной? Публике мамзель Бургоэнь очень полюбилась; но царь и двор его не обратили на нее особенного внимания. Она также играла на обе руки, молодых девиц и женщин в комедиях и трагедиях. Один из зрителей, весьма энергически, совершенно по-русски, прозвал ее настоящею р а з б ó р в о й; и

действительно, при милой ее рожице и отличном таланте, в ней было что-то чересчур удалое. Когда она играла пажа в «Фигаровой женитьбе», все были от нее без памяти; когда же хотела быть трогательною в «Ифигении», невольно располагала всех к смеху. Года полтора или два она оставалась в Петербурге, потом соскучилась о Париже и в него вернулась.

Вместе с Жорж бежал к нам первый парижский танцовщик Дюпор. О причинах их бегства, о связи их, о чьей-то ревности, о чьих-то преследованиях, о всех по сему случаю закулисных интригах мне подробно тогда рассказывали; но, признаюсь, я ничего не припомню, и, право, кажется, нет в том большой надобности. Самого же Дюпора я никак не забыл: как теперь гляжу на него. Все телодвижения его были исполнены приятности и быстроты; не весьма большого роста, был он плотен и гибок, как резиновый шар; пол, на который падал он ногою, как будто отталкивал его вверх; бывало, из глубины сцены на ее край в три прыжка являлся он перед зрителями; после того танцы можно было более назвать полетами. В короткое время образовал он шестнадцати- или семнадцатилетнюю танцовщицу Данилову, в которую скоро влюбился весь Петербург и которая была превыше всего, что́ в этом роде он дотоле видывал. Страсть к ней зрителей желая удовлетворить и деспотически распоряжаясь своими воспитанницами, дирекция беспрестанно заставляла ее показываться, не дав ей распуститься, убила ее во цвете, и она погибла, как бабочка, проблистав одно только лето. Для образования ее Дюпор, как уверяли, употреблял гораздо более нежные средства, чем жестокосердый Дидло, который между тем все продолжал быть балетмейстером. Сообразуясь с новым вкусом, он начал ставить на сцену одни только анакреонтические балеты, тем более, что Дюпор в них одних соглашался танцовать. Исключая Даниловой, были тогда еще две замечательные русские танцовщицы; одна из них, гораздо прежде на сцене и гораздо старее летами, должна была вдруг остаться почти без употребления. С выразительными чертами лица, с прекрасною фигурой, с величавою поступью, Колосова, лучше чем языком, умела говорить пантомимой, взорами, движениями; но трагические балеты брошены, и нашей Медее ничего не остава-

лось, как, пожимая плечиками, плясать по-русски. Другая, Иконина, была хороша собою, высока ростом, молода, стройна, неутомима и танцовала весьма правильно; но всякий раз, что́ появлялась, заставляла со вздохом вспоминать о Даниловой. Вдруг напала на нее ужасная худоба, румяна валились с ее сухих и бледных щек, и она сделалась настоящим скелетом. Тогда еще менее она стала нравиться, ибо кому приятно смотреть на пляску мертвецов?

Менее всего в последние семь или восемь лет произошло перемен во французской опере. Все та же Филис продолжала царствовать в ней с своим ничтожным Андриё, как бы какая-нибудь английская королева с каким-нибудь кобургским принцем. Голос ее, кажется, сделался еще сильнее, ее искусство еще усовершенствовалось; только одного лица ее годы не пощадили. Она не хотела никакого соперничества и к одинаковым с своими ролям подпускала только сестру свою Бертень да старую Монготье. Попыталась было дочь знаменитого композитора Пиччини, довольно изрядная певица, показаться в операх отца своего; куда! Филис с своим семейством и с своею партией скоро ее выжила. Она даже не хотела другого тенора, как мужа; но это было решительно невозможно; наконец, он стал просто говорить под музыку. Тогда два порядочные певца, Дюмушель и особенно Леблан, приняты дирекцией. Одно семейство, которое знало Филис, было ею самою приглашено; оно состояло из Месса, хорошего баса, жены его для старушечьих ролей и дочери их, мадам Бонне, для ролей женщин средних лет.

Итальянская опера не могла поддержаться в Петербурге; в 1806 году надолго прекратилось в нем ее существование. Однако же она оставила по себе память: она несколько обработала вкус любителей музыки и сделала ее строже и разборчивее к ее произведениям. Все мы продолжали любить французские комические оперы; но уже начинали в них чувствовать превосходство Херубини перед другими, и когда в 1809 году показалась «Весталка», сочинение Спонтини, французская опера с итальянизированною музыкой, то приняли ее с восторгом.

Чуть было в это время не опротивела нам итальянская музыка от прибывающих старых, отставных примадонн, которые, за ненахождением сцены, давали слушать себя в кон-

цертах. Мадам Марà, которой печатные портреты везде продавались и которая долго гремела в Европе, давно уже умолкла. Кто-то подбил ее приехать в Россию: «этим, дескать, северным варварам нужна одна только слава имени, а недостатков пения они не в состоянии будут разобрать». Может быть, действительно, были мы тогда плохие судьи в искусствах; но что касается до свежести лица и голоса, то в этом русские всегда были любители и знатоки. Уважение их к знаменитости таланта также не служило признаком их невежества, и они показали то, в почтительном молчании выслушав Марà. Когда же, одобренная сим полууспехом, явилась другая старуха, Фантоцци Маркетти, то и они нашли, что это дурная шутка, уже не были столь учтивы и расхохотались после первой арии. Странно, что после того обе они остались навсегда в России и кончили в ней век: видно в тогдашней хлебосольной нашей стране всякий мог как-нибудь прокормиться.

Не одни они, но еще и другие обветшалые, поношенные таланты повадились тогда к нам ездить. Приехала мамзель Сенваль, которая гораздо прежде революции извлекала слезы у Марии-Антуанетты и принцессы Ламбаль; но после того прошло около тридцати лет, а она и смолоду была неуклюжа и неблагообразна. Ну, так и быть, подавай ее сюда: графы и князья, которые видели блеск Версаля, утверждают, что она чудо. У каждой актрисы есть своя любимая роль, в которую для дебюта облекается она, как в праздничное платье; Сенваль явилась нам Аменаидой. Я не буду говорить о лице ее; но как не содрогнуться, увидев страстную любовницу, малорослую, толстую, кривобокую, с короткою шеей и в карикатурном наряде! В продолжение первых двух действий зрители были удерживаемы от смеха чувством отвращения. Коль же скоро, в третьем действии, осужденная на смерть, показалась она в цепях, в белом платье с распущенными волосами, тогда самый голос ее, довольно охриплый, казалось, вдруг сделался чист и трогателен; из глубины ее сердца потекли рекою прекрасные стихи Вольтера. Так было до конца, и между зрителями остались нерастроганными только те, которые на сцене в женщинах ищут одной красоты. Нельзя себе представить, сколько истинного чувства было в этой женщине: она была воплощенная траге-

дия, к несчастию, в самой безобразной оболочке. Она не думала затмить Жорж (их роли были совсем неодинаковы), но сравнение их наружности было убийственно для бедной Сенваль. Всего чаще в двух трагедиях играла она, в «Китайской сироте» да в «Ипермнестре», только почти без всякого успеха. Со стыда, сердечная, скорее куда-то уехала.

Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что̀ дают на немецком театре; а чего на нем не давали? Число драматических писателей в последнее двадцатипятилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодовит. Сей огромный репертуар беспрестанно умножался еще переводами итальянских и французских опер и английских трагедий. И все это у нас играли, и немецкая ненасытимость все это поглощала. Источник такого богатства был у нас под носом, и никто не думал черпать из него; никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гёте. Таков был век.

Мы, вслед за французами, почитали аристотелево правило о трех единствах на сцене нашею драматическою верой, тогда как, в творческой гордости своей, немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы на счет сих последних охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти. Тогда она чрезвычайно ослабела; лежачего не бьют, говорят русские, а мы того и глядели, что сами ляжем с ними под каблук Наполеона. Несмотря на то, в хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нем отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шёпинги, если не образом мыслей, то манерами были еще более французы, чем мы. Некоторые из них со смехом рассказывали сами, как в иных пиесах герой, которого видели юношей в первом действии, в последнем является стариком, как первое происходит в Греции, а последнее в Индии; тридцать или сорок действующих лиц были также предметом общих насмешек. Названия играемых трагедий или драм: «Минна фон-Барнгельм», «Гётц-фон-Берлихинген», «Доктор Фауст», казались уродливы, чудовищны. И что̀ это за Мефистофель? И как можно чорта

пустить на сцену? Это то же, что пьяного сапожника представить в гостиную знатной модницы. Все это казалось неприличием, отвратительною неблагопристойностью. Я помню раз в театре старого графа Строганова, который так и катался, читая «Damen, Senatoren und Banditen» на конце афишки, возвещающей первое представление Абеллино. Пристрастные к собственности своей, немцы между тем молчали и себе на уме думали, что придет время, когда они поставят на своем. Оно пришло. Никому ныне не осмелюсь я сказать того, но в сей тайной исповеди должен признаться, что в этом отношении о прошедшем времени я часто вздыхаю.

Чтó бы сказать мне о немецкой труппе? Я уже раз говорил об ней, называл Брюкля, Штейнберга, Линденштейна; они оставались бессменны. Пиесы давались беспрестанно новые, а играли их актеры все старые. Упомянуть ли мне об одной довольно плохой актрисе, о которой много говорено было в обществе молодых людей? Девица Лёве была совершенная красавица; одни только неимущие обожатели сей расчетливой немки находили, что она достойна своего имени, что в ней жестокость львицы; щедрые же богачи видели в ней кротость агнца. Уверяли, что прежний мой начальник, скупой граф Головкин, для нее только был отменно чив.

Русским театром хочу я заключить: успехи его тесно связаны с успехами нашей словесности, и переход от одного к другой будет естественнее. Об одном, как и о другой, говорил я очень мало в предшествующей второй части своих Записок; да и, правду сказать, говорить много было бы трудно: успехи обоих шли слишком медленно в первое пятилетие нынешнего века.

Пристрастие ко всему иностранному и особенно к французскому образующегося русского общества, при Елисавете и Екатерине, сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов, Княжнина и Фон-Визина, как оно возбуждало их тогда и возбуждает еще и поныне во всех здравомыслящих наших соотечественниках. Если бы что-нибудь могло ему противодействовать, то, конечно, это были забавные роли Фирюлиных в «Несчастии от кареты» и в «Бригадире» — глупого бригадирского сынка, которого душа, как говорит он, принадлежит французской короне. Но течение подражательного потока, в их время,

было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать.

Воспитанный в их школе Крылов, если можно сказать, еще быстрогляднее их на несовершенства наши, думал, что приспело к тому время, когда, в надменности нашей, при Александре, забыли мы даже сердиться на немцев и, казалось, в непримиримой вражде с революцией и Бонапарте. Он жестоко ошибся. Что̀ могло быть веселее, умнее, затейливее его двух комедий «Урока дочкам» и «Модной лавки», игранных в 1805 и 1806 годах? Можно ли было колче, как в них, осмеять нашу столичную и провинциальную галломанию? Во время частых представлений партер был всегда полон, и наполнявшие его от души хохотали. Конечно, это был успех, но не тот, которого ожидал Крылов. Только этот раз в жизни пытался сей рассеянный, повидимому, ко всему равнодушный, но глубокомысленный писатель сделать переворот в общественном мнении и нравах. Ему не удалось, и это, кажется, навсегда охолодило его к сцене.

Высшее общество, более чем когда, в это время было управляемо женщинами: в их руках были законодательство и расправа его. Французский язык в их глазах был один способен выражать благородные чувства, высокие мысли и все тонкости ума, и он же был их исключительная собственность. И жены чиновников, жительницы предместий Петербурга, и молодые дворянки в Москве и в провинциях думают смешным образом пользоваться одинаковыми с ними правами. Какие дуры! Спасибо Крылову, и они одобряли его усилия и улыбались им. Что̀ может быть общего у французского языка, сделавшегося их отечественным, с тем, что̀ происходит во Франции? И она, грозившая овладеть полвселенною, в их глазах находилась в переходном состоянии. Таково было упорное мнение эмиганток, их воспитывавших, которое они с ними усердно разделяли. И, к счастию, они не ошиблись.

Все это гораздо легче Крылова мог подметить другой драматический писатель, более его на сем поприще известный, князь Александр Александрович Шаховской. Сперва военная служба в гвардии, где он находился, потом придвор-

ная, мало льстили его самолюбию. Он рожден был для театра: с малолетства все помышления его к нему стремились, все радости и мучения ожидали его на сцене и в партере. Как актер, утвердительно можно сказать, он бы во сто раз более прославился, чем как комик: не будь он князь, безобразен и толст, мы бы имели своего Тальму, своего Гаррика. Согласно его склонностям, он был впоследствии определен управляющим по репертуарной части императорских публичных зрелищ, под начальством главного директора Александра Львовича Нарышкина. Тогда он сделался бессменным посетителем дома своего начальника, в котором соединялось и блистало все первостепенное в столице, но в котором оставалось много простора для ума и где можно было (однако же не забываясь) предаваться всем порывам веселости. Странен был этот человек, странна и судьба его; и стóит того, чтобы беспристрастно разобрать как похвалы, некогда ему расточаемые, так и жестокие обвинения, на него возводимые.

Права рождения, воспитания спозаранку поставили его в короткие сношения с людьми, принадлежащими к лучшему обществу; вкус к литературе сблизил его с писателями и учеными; наконец, страсть к театру кинула его совершенно в закулисную сволочь. Первую половину жизни своей беспрестанно толкался он между сими разнородными стихиями, пока под конец совсем не погряз он между актерами и актрисами. Много дано ему было природою живого, наблюдательного ума, много чтением приобрел он и познаний; все это обессилено было в нем легкомыслием и слабостию характера. Каждое из сословий, им посещаемых, оставляло на нем окраску; но невоздержность, безрассудность, завистливость жрецов Талии всего явственнее выступала в его действиях и образе мыслей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, особенно же драматическая, приводила его в отчаяние и бешенство, которых не имел он силы ни одолеть, ни скрыть. Против одной давно утвердившейся знаменитости не смел он восставать и одной только посредственности умел он прощать. И со всем тем он был чрезвычайно добр сердцем, незлобив, не злопамятен; во всем, что́ не касалось словесности и театра, видел он одно восхитительное, или забавное, или сожаления достойное.

Как ни горячился он, но, почти живши в доме у Нарышкиных, всегда имел он сметливость не итти против господствующего мнения в большом обществе. Он охотнее нападал на тех, коих более почитал себе под силу. Петербург мало дорожил тогда Москвою. Карамзин, живущий в ней, казался ему безопасен. Карамзин, предмет обожания москвичей, весьма преувеличенного молвою, приводил его в ярость, и он хватил в него «Новым Стерном». Он уверял, что хочет истребить отвратительную сентиментальность, порожденную будто бы им между молодыми писателями, и в то же время сознавался, что метит прямо на него. После того, в двух комедиях, впрочем, весьма забавных, «Любовная почта» и «Полубарские затеи», без милосердия предавал он осмеянию деревенских меломанов и учредителей домашних оркестров, трупп и балетов, все как будто похитителей принадлежащих ему привилегий и монополии. Потом с каждым годом становился он плодовитее. Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако же, признаться, что страсть его, не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр: его «комедий шумный рой», как сказал один из наших поэтов [1], долго один разнообразил и поддерживал его. Чтó еще важнее, он был неутомимым и искусным образователем всего нового, молодого поколения наших лицедеев.

Около описываемого мною времени жил он в большом согласии с одним поэтом, мало дотоле известным, хотя он был уже в чинах и довольно зрелых летах. Мне случалось видеть и не один раз разговаривать с Владиславом Александровичем Озеровым, потому что он был двоюродным братом Блудова и что сей последний, по чрезвычайной молодости лет, кажется, с начала приезда своего был поручен его попечениям. Многие утверждали, что он ума не обширного; мне казалось совсем противное: я слушал его с величайшим удовольствием, а от произведений его бывал вне себя. Только в конце 1804 года началась его литературная известность самым блестящим образом. Все старые трагедии Сумарокова и даже Княжнина, по малому достоинству своему и по обет-

---

[1] Пушкин в «Евгении Онегине» (глава первая, строфа XVIII).

шалости языка, были совсем забыты и брошены. Переводу шиллеровых «Разбойников» названия трагедии давать не хотели, и казалось, что разлука наша с «Мельпоменой» сделалась вечною. Вдруг Озеров опять возвратил ее нам. Появление его «Эдипа в Афинах» самым приятным образом изумило петербургскую публику. Трагедия эта исполнена трогательных мест и вся усыпана прекрасными стихами, из коих многие до сих пор сохранились еще в памяти знатоков и любителей поэзии. Много способствовал также успеху этой пьесы первый дебют молоденькой актрисы Семеновой [1] в роли Антигоны: с превосходством игры, с благозвучием голоса, с благородством осанки соединяла она красоту именно той музы, которой служению она себя посвящала.

В конце следующего года показался его «Фингал». Тут было гораздо более энергии, и дикая природа севера, которою отзываются характеры всех действующих лиц, нашим северным зрителям, «Spectateurs du Nord» [2], весьма пришлась по вкусу. Едва прошел год, и «Дмитрий Донской» был представлен в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть а п р о п е е [à propos — кстати], как говаривал один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия; при последнем слове последнего стиха: в е л и к р о с с и й с к и й б о г рыдания раздались в партере, восторг был неописанный. Озеров был поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь беспрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенесть.

Сколько припомню, в 1808 году поставлена была на сцену последняя трагедия Озерова «Поликсена». В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, стал он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всем начал ставить ему препятствия.

---

[1] Ек. Сем. Семенова (1786—1849), знаменитая трагическая актриса, играла с 1802 г.; в 1828 г. вышла замуж за кн. И. А. Гагарина. Пушкин высоко ценил ее талант и даже увлекался ею, как женщиной.

[2] Название издаваемого тогда в Гамбурге французского журнала, у нас многими получаемого. А в т.

Наша публика, неизвестно чьими происками предупрежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаемая более патриотизмом и не довольно еще образованная, чтобы быть чувствительною к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пиесу. Ничто не могло расшевелить ее, ни даже пророчество Кассандры, которым оканчивается трагедия и в котором, предрекая грекам падение их и возрождение, она говорит им, что придет народ

От стран полнощных
Оковы снять с ахеян маломощных.

Сии стихи, которые бы должны были наполнить наши груди восторгом благородной гордости (и которые, кроме меня, едва ли кто помнит), были лебединою песнию несчастного Озерова.

Он всегда расположен был к ипохондрии; чрезвычайная раздражительность нервов его к тому располагала, и оттого-то так сильно принимал он к сердцу всякую неудачу. Последняя поразила его, и он видел в ней совершенное свое падение. Он начал убегать общества, уединялся, дичал, наконец, бросил службу и скрылся в какой-то отдаленной деревне. Там решился он ума и, к счастию, вскоре потом и жизни.

Но пример его прошедших успехов был заразителен для целой толпы недавно проявившихся мелких стихотворцев: все захотели быть трагиками. Одному только из них, Крюковскому, удалось сладить с оригинальною трагедией «Пожарский», довольно хорошими стихами писанною; все же другие думали прославить себя одними переводами. Молодой воин Марин перевел «Меропу», и старый Хвостов — «Андромаху». По следам их Гнедич перевел «Танкреда», Жихарев — «Атрея», а Катенин — «Сида» и «Аталию» (по его Гофолию). Затем уже составилась целая компания переводчиков, которые надеялись иметь успехи посредством складчины дарований своих: граф Сергей Потемкин, какой-то Шапошников, какой-то Висковатов и еще другие, по двое и по трое вместе, пустились взапуски, кто кого хуже, изводить известные французские трагедии, чтоб угодить общему вкусу. Необходимость в помощи Шаховского для поста-

новки сих искаженных классических творений на время окружила его искателями. Ему приятно было покровительствовать новые, только что на свет показавшиеся таланты, тем более, что и в глазах его они в будущем ничего не обещали. Каждая из сих трагедий имела по нескольку представлений, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые раза два довольно спокойно и терпеливо их выносила; но вскоре потом отсутствием своим, как единым средством ей на то оставленным, пользовалась она, чтоб из'являть неодобрение свое. Весь этот поток через сцену прямо утекал в Лету; «Меропа» и «Танкред» одни только на некоторое время удержались. С самодовольствием окинув взором всю толпу сих бездарных людей, но в то же время увлекаемый примером, сам Шаховской задумал высоко подняться над ними; этого мало, он затеял в творчестве состязаться с самим Расином, и для того в библии начал искать сюжет для оригинальной своей трагедии. Немалое время мучился он и, наконец, разразился ужасною своею «Деборой». С любопытством все кинулись на нее; устрашенные же, скоро стали от нее удаляться. Но не так-то легко, как других, можно было одолеть театрального директора: с каждым представлением зала все более пустела, а «Дебору» все играли, играли, пока ни одного зрителя не стало.

Переводных комедий было очень мало: по всей справедливости, Шаховской не любил их и не подпускал к нашей сцене. Водевили, если делом изредка показывались, то словом, то есть именем, тогда неизвестны были на русском театре. Зато операми заимствовались мы у всех, у французов, у немцев, а когда стали побогаче голосами, то и у итальянцев. Началось с бесконечной «Donauweibchen»; ее веселые, легкие, приятные венские мелодии не трудно было перенять нашим плохим тогда певцам, не трудно было ими пленить и наших слушателей. Все это, вместе с богатыми декорациями, беспрестанными превращениями и уморительным шутовством Воробьева, около года привлекало многочисленную публику и умножало барыши дирекции. Ее переименовали «Русалкой» и сцену перевели на Днепр, что́ также немало полюбилось брадатым зрителям. Когда заметили, что она им пригляделась и посещения становятся реже, то, чтобы

возбудить к ней погасающую в них страсть, создали ей наследницу, вторую часть, или «Днепровскую русалку». Следуя все той же методе прельщений, через некоторое время показалась четвертая часть под именем просто опять «Русалку». Сильная к ним любовь совсем истощилась, когда показалась четвертая часть под именем просто опять и Русалка», без всякого прибавления; успех ее был довольно плохой. Между русалками восстал «Илья богатырь», волшебная опера, которую написать упросили Крылова. Он сделал это небрежно, шутя, но так умно, так удачно, что герой его неумышленно убил волшебницу-немку, для соблазна русских обратившуюся в их соотечественницу.

Их вкус между тем все исправлялся и чистился. Декорации переставали им быть необходимы; они более стали понимать музыку, но все-таки ее одну без слов не любили. Тогда (я все говорю о среднем и низком классе) начали переводить для них французские оперы, «Калифа багдадского», «Мнимый клад», «Двое слепых», а наконец и «Водовоза». Познакомив их с Боиелдиё, с Мегюлем, приготовили их быть способными чувствовать и Херубини. Глядь, и «Деревенские певицы» Фиорованти явились перед ними. Своих композиторов у нас тогда еще не было: произведения Кавоса, управлявшего оркестром, были так слабы; к тому же он был чужестранный, итальянец, чтó и считать его нечего. Кажется, не заставляя себя трудиться, легче бы было ходить им во французский театр; нет, подавай им свое: там ни слова они не понимали, а звуки могли им быть приятны только в соединении с мыслями. Правда, у них не было Филис, зато не было и Андриё. Место первой в русской опере занимала недавно образовавшаяся, молоденькая, хорошенькая актриса Черникова, с небольшим, но приятным голоском. У молодого же тенора, Самойлова, был такой голос, который итальянцы превозносили и ему завидовали. Впоследствии выучился он очень хорошо играть, и если б, не спеша насладиться успехами, доставленными ему чудесным, природным его даром, он прилежно постарался его усовершенствовать, то наверное можно сказать, что не менее Рубини прогремел бы он в Европе. По примеру Филис и Андрие, и сия чета соединилась законным браком. От частых родов голос у Самойловой начал слабеть и упадать.

Как бы ей на смену театральная школа произвела нечто чудесное. Еще не выпущенная из нее воспитанница Болина красотой затмевала подруг своих, а голосом едва ли не более еще пленяла, чем красотой. Только одну зиму насладилась ею публика. Один молодой дворянин, Марков, сын умершего богатого отца, имевший более сорока тысяч рублей доходу, совершенно свободный, влюбился в нее без памяти. Он предложил ей руку, а дирекции выкупу, сколько бы ни потребовалось за ее воспитание и освобождение. Согласиться с его желаниями до выпуска ее никак не было возможно. Тогда решился он увезти ее, обвенчаться с нею и за то целый месяц должен был просидеть на гауптвахте. На ней толпами посещала его безрассудная молодежь, видя в наказании его жестокую несправедливость, при всеобщем тогда неудовольствии на правительство, думая дразнить его тем и забывая, что для нее иссяк источник живейших удовольствий и что Марков был похитителем их. Какие у нас обо всем ложные понятия! Права казны и общества должны быть еще неот'емлемее прав частной собственности. И что же? Осьмнадцатилетняя певица, которая могла бы долго быть украшением сцены и упиваться восторгами, ею производимыми, сделалась несчастнейшею из помещиц. Сперва из ревности, а потом стыдясь неровного брака, муж всегда поступал с нею жестоко и не давал ей нигде показываться. Не получив в школе приличного воспитания будущему ее званию, ни светского образования потом, из нее вышло нечто совершенно пошлое.

Лет двадцать спустя, по приглашению Маркова, случилось мне раз у них обедать: о боже! в грации, которою я некогда так восхищался, нашел я что-то хуже деревенской барыни, простую кухарку, неповоротливую, робкую, которая не умела ни ходить, ни сидеть, ни кланяться и как будто не смела и говорить. Я узнал после, что Маркова сделали губернатором; ну, подумал я, для жены его роль губернаторши будет потруднее ролей Зетюлбе и Алины.

В школе, в запасном магазине драматических талантов, не нашлось ни одной девочки, которая бы могла заменить Болину. Попеременно их выставляли; одна только Карайкина, в замужестве Лебедева, могла некоторое время удержаться.

Не в театральной школе должен был образоваться великий талант для нашей оперы. В Петербурге был тогда один дом, в котором еженедельно собирались большие любители музыки и лучшие виртуозы. Дом этот сенатора Теплова, который имел и собственный славный оркестр, был совершенно музыкальный. Познакомившись в нем через сына Теплова, бывшего товарища моего во время путешествия по Сибири, я нередко посещал их вечера. На одном из них услышал я пение немочки, дочери придворного музыканта Фодора, и оно показалось мне писком. Мне непонятно было, как могли великие знатоки восхвалять его и в пророческом восторге сулить ему славу. В этом деле и в это время петербургская публика, видно, столько же смыслила, как и я; ибо года три спустя, когда Фодор явилась на русской сцене, была она принята ею с удовольствием, не совсем преувеличенным. В большом обществе так много еще было тогда пристрастия ко всему французскому, что в нем обижались сравнениями, которые некоторые позволяли себе делать между нею и стареющею Филис. Не для того ли, чтобы поднять себя в его мнении и несколько офранцузить себя, вышла она после за французского комического актера Менвиеля? Нет, ничто не помогло. Имея, однако же, в себе чувство превосходства своего, наконец, стала она требовать по крайней мере прибавки жалованья; ей и в этом отказали; тогда Россию она навсегда оставила. Вся Европа узнала ее потом, засыпала золотом и заглушила рукоплесканиями.

Гораздо более Фодор-Менвиель полюбилась семнадцатилетняя красотка, которая хотя после нее, но еще при ней показалась в опере. Это была Нимфодора, меньшая сестра трагической актрисы Семеновой. Голосок у нее был только что изрядный, зато быть милее ее в игре было трудно. Красотою обе сестры были равны, только в родах ее различествовали между собою. У старшей был греческий профиль и что-то великолепное в чертах; меньшая выполняла все условия русской красоты, белизну груди, полноту и румянец щек, живость в очах, тонкость и пристойную веселость в улыбке. Исключая небольшой разницы, и судьба сих сестер была одинакова. Обе соединились незаконным браком с действительными тайными советниками: старшая, Катерина, с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, меньшая с графом Ва-

силием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным-Брюсом. Одна старшая умела обратить его, наконец, в законный.

Ничего более о театре сказать я не имею. Читатель, может быть, скажет: «да, кажется, и этого не слишком ли много?» На это позволю я себе заметить ему, что большая половина этой главы посвящена была драматической литературе, а она в это время едва ли не составляла всю нашу словесность.

Итак, об ней остается мне мало говорить, но много о множестве словесников, как о сделавшихся в это время известным, так и об оставшихся с тех пор неизвестными.

В последние годы царствования Екатерины второй между литературами двух столиц возникли какие-то несогласия; но не только до расколу, ни даже до сильных распрей дело не доходило. При Павле, в Москве, куда большая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто, похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин; с ними в тесной связи находился Тургенев, директор университета, отец многореченного в сих Записках Тургенева, не писатель, но великий друг просвещения. В том же университете одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов, человек умный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, не хвалимый и не осуждаемый. Вероятно, сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров, поэт с большими дарованиями, которые преимущественно посвятил он переводу псалмов. Он усердно вдавался в мартинизм, подобно Тургеневу, и, так же как Карамзин, в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему непонятно, как впоследствии сделался он врагом столь почтенных людей.

Под именем критики разумели тогда брань и поношение, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих господ (и полно, не оба ли) прибегнули к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, к лож-

ному доносу на Карамзина: они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом! Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого. Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам все указывали на блеск греческих республик, на величие римской; твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастие и слава, и что с ее утратою они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Телю, к Нидерландам и Эгмонту; наконец, Северная Америка с своими Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистою и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровию, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но, незабытый врагами, послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его: в гнусном деле увидели они одно литературное соперничество и с пренебрежением бросили его, не доводя до императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц (не хуже, чем в преступном знании нынешних) так мало обращали внимания на то, что касалось до словесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил (лишь не говори напрямки), что переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера, «Кандид», «Белый бык» и «Принцесса вавилонская», за ними даже показался и «Кум Матвей». Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через все царствование Павла и долго при Александре издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым «Политический журнал». Если где-нибудь уцелели экземпля-

ры его, то пусть заглянут в них и подивятся: там, между прочим, найдут целиком речи Мирабо, жирондистов и Робеспьера. Такая смелость должна бы была произвесть, по крайней мере, удивление; никто не ведал про содержание журнала и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностию пропускали его нумера, а название «политического» пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей; малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать: искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель Гаврилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставлял свое имя и скрывал свою особу и как будто любил мрак, в который старался погрузиться.

Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, князь Иван Михаилович Долгорукой, бывший при Екатерине пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как, говорят, и в наружности его; только о первых могу я судить, последней же никогда не видывал. Мне кажется, ему не довольно отдавали справедливости: между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что, не затверживая, сохранил я их в памяти.

Все это при Павле. Число литераторов при нем было не весьма большое в большой столице. Но сколько в обеих столицах существовало их неприметным образом, сколько скрывалось по деревням, сколько зреющих и даже назревших талантов, чтобы воспрянуть, дожидалось как будто назначенного часа. Он пробил 12 марта [1]. Я был тогда в Москве и помню этот час; откуда что взялось? Как будто из земли выросло! Все с истинным, равным восторгом, но не с равным искусством пустилось приветствовать и славословить Александра; все кинулось, кто к трубам и к лирам, кто к балалайкам и гудкам, принимая одни за другие, все загремело,

---

[1] Убийство Павла первого.

запело, запищало; одним одам счету не было; старый Херасков и студент Мерзляков удачнее всех воспели пришествие молодого царя.

Прошел год; все поустоялось, поутихло, и приметно увеличившееся сословие начало приниматься за дело, еще мало писать, но составлять из себя общества и избирать предводителей. Настоящих партий, кроме петербургской и московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить свой честолюбивый и нападательный дух; она рассуждала логически: там, где царь, там должна быть и первенствующая власть. Московская же, по примеру не главы своего, а образца и кумира Карамзина, старалась сколь можно более сохранять спокойствия и равнодушия к сим нападениям.

Впрочем, кажется, и довольно трудно было бы кому-либо из сей партии вступить в ратоборство. Все эти тогдашние московские литераторы по большей части были народ смирный. Постараемся перечесть и изобразить их.

Первым, после главных, почитался Василий Львович Пушкин, о котором сказали, что эпиграммы его делают более чести его сердцу, чем уму. Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать ушеса щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры. Стихи его не были гениальны, зато благозвучны и напоминали собой благовоспитанный круг, в котором родились. Только под конец, разгневанному до неблагопристойности, случилось ему в одно время выйти из себя и превзойти себя. В таком расположении, с помощию природных добродушия и веселонравия, удалось ему написать небольшую сатиру «Опасный сосед», которая изумила, поразила его насмешников и заставила самых строгих, сериозных людей улыбаться соблазнительным сценам, с неимоверною живостию рассказа, однако же, с некоторою пристойностию им изображенным. Напечатать такого рода стихов не было возможно; но тысячи их рукописных копий, кажется, еще доселе сохранились. Не в первый раз приходится мне говорить о сем Пушкине, может быть, и не в последний.

О Мерзлякове говорить мне будет трудно: много слышал я о нем и сочинениях его, только без внимания, и оттого их почти, а его вовсе не знаю. Мне сдается, что в словесном

деле был он то же, что в военном искусстве великий тактик, которому не удалось выиграть ни одного сражения. На нападки, на придирки из Петербурга, кажется, смотрел он как на дрязги, недостойные его внимания. Гораздо, гораздо после был он первый, который читал публичные лекции о русской словесности и в университетской зале собирал вокруг себя многочисленных слушателей и слушательниц.

Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрово. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он ее чуждался? Просторечивый и детски или, лучше сказать, школьнически шутливый, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или в 1804 году дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод греевой элегии «Сельское кладбище», остался незамечен толпою обыкновенных читателей; только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого мастера. Года два спустя, узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении аустерлицком. Видно, в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным; доказательством тому служат и сербские песни.

В белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчивать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницей (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые

ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма.

Много говорил я о нем и о таланте его во второй части Записок моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними часто до того увлекался он душевным, полным, чистым весельем, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, все им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Все тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому.

Не такою ли нежною тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться, и, говоря его стихами, всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег. В нем точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нем и как трудно расстаться мне с Жуковским! Когда только вспомню о нем, мне всегда становится так отрадно: я сам себе кажусь лучше.

Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать; между литераторами тогда в Москве их было двое: Петр и Михаил; один был чрезвычайно умен, другой... не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный, пристойный. Он подвизался в журнале, им самим издаваемым, кажется, в «Московском Меркурие» и, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго: он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей. А Макаров 2-й уцелел; я уже упоминал о нем, как о товарище моем в московском архиве иностранных дел, как о трудолюбивом, бездарном, бесконечном, нескончаемом писателе.

Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне все непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг. Между сими мужиками и еще одним третьим

составился крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак, третьего звали Борис Карлович Бланк (хорошо, что и это еще упомнил, зато уже ничего более о нем не знаю). Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много, долго, долго писали, а что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит, и их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались в собраниях древних редкостей. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передражнивать; и это в Петербурге назвали его партией.

Один только из них, Шаликов, и то странностями своими, получил некоторую известность. Еще при Павле писал он и печатал написанное. Как во дни терроризма, под стук беспрестанно движущейся гильотины, французские поэты воспевали прелести природы, весны, невинную любовь и забавы, так и он в это время, среди общего испуга, почти один любезничал и нежничал. Его почти одного только было и слышно в Москве, и оттого-то, вероятно, между не весьма грамотными тогда москвичами пользовался он особенным уважением[1]. У него видели манеру Карамзина и почитали будущим его преемником.

Карамзин довольствовался тем, что у себя никого из сих господ не принимал, но полагал, что для них жестоко обидно будет, если он явно станет отрекаться от них. Они же оставались преспокойны, почитая себя в совершеной безопасности от петербургских нападений и думая, что все стрелы недоброжелательства должны падать на избранного ими. Правда, в Петербурге об них и не думали, а наоборот изречения: «поражу пастыря — и разыдутся овцы», хотели, нападая на паршивых овец, истребить пастыря, который им никогда даже не бывал.

---

[1] Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов, — говорили шопотом, указывая на него, — и вот минуты его вдохновения». Авт.

Только Дмитриев окружал себя этим народом и в особенности любил тешиться Шаликовым. Оно, конечно, довольно забавно видеть ворону, которая воркует голубком; но, кажется, скоро это должно прискучить. Вот до чего нас, старых холостяков, доводит иногда скука одиночества! Не знаю, как Дмитриев мог с этим ладить. Он очень дорого ценил высокое звание свое и умел его поддерживать, а до министерства своего и после него жил в Москве всегда в обществе так называемых литераторов. Известно, что все эти мелкие писачки, все люд заносчивый и тщеславный: напечатает четверостишие и думает уже иметь права на бессмертие и на равенство с Вольтером. Если б Данте и Шекспир воскресли, мне кажется, что самый последний из них, не задумавшись, сел бы с ними рядом и начал говорить им «ты». Ничего не может быть труднее, как удерживать тварей всегда готовых положить ноги на стол, а этой работе посвятил себя Иван Иванович. Он стоял так высоко, что она ему была легче, чем кому другому; однако же не раз и он вынужден был забывающим себя отказывать от дому. И как ни говори, это несколько роняло его в мнении и приготовило то нестерпимое обращение словесников, которое мы ныне видим. Нет, я придерживаюсь французской поговорки, что лучше быть одному, чем худо сопровождаемому.

Ни с Жуковским, ни с Шаликовым не нашел я приличным назвать вместе Владимира Васильевича Измайлова. Он, говорят, был человек почтенный и добрый, только также через-чур вдавался в ложную чувствительность. Недавно попытался я прочесть «Путешествие» его в полуденную Россию; и что же? Слогом отменно опрятным написаны все пустяки, о коих не стоило говорить. Нет возможности читать это наркотическое произведение: скука и зевота так и одолевают.

Около 1806 года Карамзин перестал издавать «Вестник Европы» и передал его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорил уже об этом журнале в предшествующей части сих Записок. Примечательно в нем было быстрое развитие таланта издателя, и до того уж необычайного; он рос не по дням, а по часам, так что сама Бедная, милая Лиза уже казалась девчонкой в сравнении с величественною Марфой: что это за красота и что за сила в ее изображении! С этого време-

ни он умолк и предался великому, бессмертному труду, с высочайшего соизволения им предпринятому.

Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до «Вестника» при «Московских Ведомостях» еженедельно выдавался литературный листок под названием «Ипокрены», и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и «Эфемериды»; а после еще и «Меркурий», издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову 2-му, который первому совсем не был родня, об'явить об издании «Амура» под вымышленным именем небывалой княжны Елисаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплатиться за эту совсем неумную проказу: все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утушить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлекать и женщин. Таким образом явилась и шаликовская «Аглая», и были читатели, которые дуру эту принимали за «Грацию».

Совсем в ином духе, в ином роде показался, наконец, «Русский вестник». Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от подслащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками, и любовь к отечеству приметно возрастала с видимо умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот, без исключения превозносил все отечественное, без исключения поносил все иностранное. Пусть ныне смеются над такими людьми: я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его, при всем несовершенстве своем, был полезен, даже благодетелен для провинций.

Они с Николаем Николаевичем Муравьевым в одно время сделались в Москве основателями двух своекоштных военных патриотических школ. Воины были тогда нужнее всего. Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополнения ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе и по части артиллерийской и инженерной. Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости. Глинка захотел

быть просветителем донских казаков и принялся за ум и за сердце пылких, диких мальчиков. Довольно грубым, но пламенным и им понятным языком вливал он в них любовь к познаниям и к великому их российскому отечеству.

Кто ныне решится на столь славные и бескорыстные подвиги? Кто хвалит их или кто помнит их? Или, лучше, кто знает об них? Конечно, патриотизм, это неземная любовь к земному, есть чувство, которое в самом себе находит муку и отраду: его ни поощрять, ни награждать нечего. Но все-таки кажется, что совершенное забвение и, еще хуже того, строгое наказание не должны же быть следствием сей, по крайней мере, простительной страсти. Один из тех, о коих я говорил, давно забытый, окончил век в сельском уединении; другой просидел на гаупвахте за неумышленное упущение по цензуре, но скорее за чистосердечную неукротимость свою, что навсегда и положило хранение устам его. Почтенные люди, если после меня в каком-нибудь углу уцелеют небрежно составляемые мною Записки, то потому уже почитаю их достойными хранения, что о заслугах ваших скажут они более нас, может быть, благодарному потомству.

Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове? Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга.

Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, так же как и Зоил, был родом и душею грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Каченовский. Все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености; но вместе с тем имел он все те ненавистные свойства, которые отличают греков нынешнего и всех прошедших времен и которые после имел я случай так коротко узнать: беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как все выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел; а другой не переставал шипеть, как змея.

В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземской вдруг выступил вперед и защитником Карамзина от неприятелей и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их.

Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземской, вручил судьбу и руку прекрасной любимицы своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину и, чувствуя приближение смерти, ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына [1]. Со всею силой нежного и пылкого сердца, ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему; а этому казалось, что бог даровал ему сына, и какого же? — исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его после во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем. Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовию же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — рука прочь, кого за голову — голова прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защитою законов целого общества, высшего, низшего; где животные всякого рода хранимы так же всеобщим скотолюбием, как в Цареграде [Константинополь] собаки и кошки; где юродивые почитаются существами священными, как делибаши по всей Азии. В этом странном, старинном русском европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь может по заочности такого-то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем, беда, если кто острым словцом заденет дурака; а из Вяземского они так и сыпались.

---

[1] Екатерина Андреевна Карамзина была побочной дочерью А. И. Вяземского.

Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели; но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив[1]. И женщины-матери и дочери, охотно видя в нем будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой. К тому же везде женщины более способны понимать тонкости ума и во всех странах любят смелость мущин: то и другое они в нем находили и всем составом своего пола отстаивали его. И не одни еще: он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угащивал и с которою делил ее буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, смельчак был с кем бы либо дерзок в обращении; он всегда умел уважать пол и лета. Баловень родных, друзей и прекрасного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава. О чрезвычайном стихотворном его таланте пока ни слова; будет еще место и время поговорить об нем, если поживется.

Мне, однако же, пришла охота показать здесь образчик этого таланта, тогда еще не созревшего. Шаликов об'явил всем о намерении своем отправиться за границу; за одним стало дело, за деньгами. Вяземский воспел сие несостоявшееся отбытие. Я помещу здесь только то, чтó из этих стихов припомню.

С собачкой, с посохом, с лорнеткой
И с миртовой от мошек веткой,
Подвязан розовым платком,
В кармане пара мадригалов,
С едва звенящим кошельком,
Вот как пустился наш Вздыхалов
По свету странствовать пешком.

Прежде всего, прощаясь с друзьями, Шаликов говорит им:

Прости, Макаров, Фебом чтимый,
И ты, о Бланк неистощимый,
Единственный читатель мой.

---

[1] Вигель правильно подметил эту черту в характере Вяземского. Подтверждение этому в его переписке с Пушкиным, с А. И. Тургеневым.

Недавно делал я поиски и в сведениях только что мно полученных открыл бездну литературных сокровищ то времени, зарытых в забвении, и сим кладом хочу поделитьс с читателем. Исключая «Вестника Европы» (о которо ошибочно сказал я, что Карамзин передал его прямо Жу ковскому, тогда как сей последний гораздо после два год издавал его вместе с Каченовским, тогда еще не обнаружи вавшим свои прекрасные свойства), было еще несколько н названных мною журналов, и вот их названия: 1) «Журна приятного, любопытного и забавного чтения», с 1802 п 1804 год издаваемый Панкратием Сумароковым, 2) «Ново сти русской литературы», с 1802 по 1805 г. издаваемы Сохацким и Победоносцевым, 3) «Друг просвещения», 1804 г. издаваемый двумя сенаторами: графом Хвостовым Кутузовым, 4) «Журнал для милых», в 1804 г. издаваемый разумеется, Макаровым 2-м, 5) «Патриот, журнал воспи тания», в 1804 же году издаваемый Владимиром Измайло вым, 6) «Московский курьер», в 1805 и в 1806 гг. изда ваемый опять Макаровым 2-м, 7) «Ученые ведомости», 1805 и 1806 гг. издаваемые при университете каким-т профессором Буле.

Недаром Дмитриев в одной эпиграмме сказал тогда:

Журналов тысячу, а книги ни одной.

С Москвою кое-как еще я справился; не знаю, как-т будет с Петербургом.

Державин находился в нем в том же самом состояни усгоившегося патриарха, как Херасков в Москве, и те самым перед нею давал уже ему перевес в отношении словесности. Заживо он сопричтен уже был к сонму бого два верховные жреца, Шишков и Шаховской, ему покл лсь и именем его управляли толпою мелких служителей дьячков, пономарей, звонарей Аполлона.

О счастливой мысли первого посредством славянских из речений и оборотов украсить и усилить русский язык уже говорил. Она родилась в голове совсем не гениальной тем не менее должны мы чтить память весьма почтенного хотя немного смешного старца. Много говорил я и о по следнем, может быть, слишком много.

О Крылове неоднократно упоминал я. В изображении русского театра об Озерове высказал все что знал. Мне остается еще представить множество рядовых писателей, которые слепо шли под знаменами двух вышесказанных предводителей, особенно же Шишкова; простых работников, которые словесностью, как ремеслом, втихомолку промышляли. Их ничтожество давно поглощено забвением, я не вижу ни возможности, ни нужды их оттуда вытаскивать. Если же который взбредет на память, то, да простит мне читатель, я не оставлю назвать его.

Между сими мелкими лицами в памяти моей возникает одно крупное лицо, которое раза два мимоходом пришлось мне назвать. Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его, вероятно, не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю; знаю только понаслышке, что в первой и в последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, пришлась по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов — победами. Этот союз вдруг поднял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осьмнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что̀ мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал».

Тут начинается его известность. Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние, все это высоко ценилось; при этом поэзия его шла даром: никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие. Обер-прокурорство, сенаторство, лента, наконец, графское достоинство, в память Суворова сардинским королем ему дарованное, все это, конечно, тешило его

тщеславие, но не удовлетворяло честолюбия: ему хотелось прославиться, жить в веках. Обманывал ли он сам себя насчет дарования своего, или морочить хотел людей, чтобы при жизни насладиться их рукоплесканиями, вот чтó трудно разобрать. Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтоб его похвалили; желание это обратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство. Чего он ни делал? Подличал известным авторам, дарил сочинения свои книгопродавцам и нераспроданное сам покупал, чтобы приступить к другому изданию; кормил, угощал голодных стихотворцев, ссужал их деньгами.

Хвалить его было им невозможно: никто не решился бы на столь позорное дело; совестливые молчали, а бессовестные над ним же ругались в стихах. Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие; входя в лета, уступали его новым пришельцам на Парнас, и таким образом целый век молодым ребятам служил он потехой.

Такое общее ожесточение можно бы назвать бесчеловечием, если бы сам он поступками своими не беспрестанно подавал повод к насмешкам. За все брался он: сочинял, переводил трагедии, комедии, поэмы, оды, послания, басни, одно хуже, одно нелепее другого; метромания нигде еще не являлась в столь смешном, неугомонном и запачканном виде. Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привилась, или от него к ней; только неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга. Кажется, сам он никогда не умывался, а в комнатах его, подобных хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефетизм стали знать под названием хвостивизма. Он не принадлежал ни к какой партии, но втирался без разбору во все литературные общества и во всех оставался нулем, хотя, разумеется, нигде в глаза не смели его дурачить [1].

---

[1] Пушкин едко высмеивал Хвостова в своих эпиграммах и в письмах к приятелям.

Примечательны были также два украинца: один поэт в отставке, другой в сем звании только что поступивший на службу. Оба они, несмотря на единоверие, единокровие, единозвание, на двухвековое соединение их родины с Россией, тайком ненавидели ее и русских, москалей, кацапов. Это были Капнист и Гнедич.

Василий Васильевич Капнист женился на родной сестре жены Державина, и даже эти брачные узы не могли привязать его к России. Он много написал стихов и весьма хороших и, заключив поприще свое великим творением своим, называемым «Ябеда», опустился на лавры. Не обращая внимания на наши слабости, пороки, на наши смешные стороны, он в преувеличенном виде, на позор свету, представил преступные мерзости наших главных судей и их подчиненных. Тут ни в действии, ни в лицах нет ничего веселого, забавного, а одно только ужасающее, и не знаю почему назвал он это комедией [1]. Лет сорок спустя, один из единоземцев его, малорослый малоросс, коего назвать здесь еще не место, движимый теми же побуждениями, в таком же духе написал свои комедии и повести [2]. Не выводя на сцену ни одного честного русского человека, он предал нас всеобщему поруганию в лицах (по большей части вымышленных) наших губернских и уездных чиновников. И за то, о боже, половина России провозгласила циника сего великим!

Природа поставила Николая Ивановича Гнедича на той самой точке, где кончается глупость и начинается ум; но в него с этой точки довольно часто умел он делать набеги. Лицо его, которому говорят, суждена была красота, изуродовано и изрыто было оспою, которая в опустошительной ярости своей лишила его глаза. Муза его была чопорна, опрятна, суха и холодна, как он сам; на выдумки не была она великая мастерица, да и в подражаниях и переводах более всего отличалась точностью и верностью. По приезде

---

[1] Сын его А. В. Капнист был прикосновенен к тайным обществам, из которых вышел заговор декабристов, другой — С. В. — был женат на сестре декабристов Муравьевых-Апостолов.

[2] Имеется в виду Н. В. Гоголь, которого Вигель ненавидел особенно за «Мертвые души». Позднее он превозносил Гоголя за «Переписку с друзьями». См. во втором томе письмо к М. Н. Загоскину, а также вступительный очерк — в первом томе.

его первый раз в Петербург, обстоятельства его, видно, были до того плохи, что он решился на неслыханное средство, на искание покровительства и помощи графа Хвостова. В послании к нему, которое, к счастью его, не было напечатано, но с которого, к несчастью его, не все успел он потом истребить копии, в сем послании, где умоляя его, старается он его разжалобить, находится между прочим этот стих:

И дурен я, и крив, и денег не имею.

Счастье ему помогло: он скоро нашел другого покровителя, посильнее, поумнее и поблагороднее Хвостова, который, во вверенных управлению его частях, успел доставить ему покойных места два с хорошим содержанием. Тогда задумал он приступить к труду важному, долголетнему, который успешно он продолжал и счастливо кончил, к переводу «Илиады». Для поддержания его в сем труде испрошено ему было великое поощрение, пенсион в полторы тысячи рублей от великой княгини Екатерины Павловны. Все, кажется, налагало на него долг благодарности к России, а он питал к ней совсем противное чувство, которое гораздо после, против воли его, мне часто обнаруживалось в коротких с ним беседах.

Говоря о русском театре, я называл несколько человек, переводивших трагедии. Литературные их достоинства были так слабы, что сего было бы достаточно, если бы в некоторых из них не было бы чего другого примечательного. Например, преображенский офицер, потом полковник и флигель-ад'ютант, Сергей Никифорович Марин, переводчик «Меропы», был военный остряк, от которого в стихах крепко доставалось и словесникам и светским людям. Они с Шаховским, будучи бессменными у Александра Львовича Нарышкина, сделались почти его домашними поэтами. Был еще к ним в прибавку и третий автор, не на одной ноге с ними принятый. Не знаю, как попал в этот дом один бедный, своенравный и самолюбивый грек, воспитанный в кадетском корпусе и в нем же потом служивший. Имя его было Геракос, которое на славяно-российский язык перевел он Гавриилом Гераковым и любил, чтобы так его называли. Известно, что между греками для ума нет среднего состоя-

ния: все богачи или нищие и что им убогие всегда горды душою. Тогда в России стоило что-нибудь написать да только напечатать, чтобы приписаться к цеху даже ученых; столько было сметливости в Геракове, чтоб это увидеть, и он начал что-то писать и отдавать в печать. Его тщеславие беспрестанно тревожили и кололи, а когда начинал он выходить из терпения, то спешили успокаивать его какою-нибудь похвалой или лаской; право похвастать тем, что он короток в знатном доме, было лучший бальзам, врачевавший раны, наносимые его кичливости, и ослепление его насчет его достоинств не позволяло ему видеть, что вход в него доставляет ему единственно титул шута. Марин был его казнью; в пародии стихов Державина на рождение порфирородного отрока [Александра I] он собирает у колыбели его колдунов и таким образом заставляет их предрекать его будущность:

Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиран.
Будешь в корпусе учитель,
Будешь вечно капитан.
Будешь, и судьбы решили,
Ростом двух аршин с вершком,
И все старцы подтвердили:
Будешь век ходить пешком.

Он пылал страстью ко всему прекрасному полу, восхвалял его в прозе и вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы.

Несколько слов еще об одном военном стихотворце, однополчанине Марина, об офицерчике Павле Александровиче Катенине, переводчике «Цида» и «Гофолии». Круглолицый, полнощекий и румяный как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел как кофейник на конфорке. Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям: ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Виргилий всегда бывал первою его жертвой. Мудрено завидовать людям, две тысячи лет назад умершим; может быть, ему не хотелось быть на ряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоин-

ствам, и смелостью суждений стать выше их; а скорее не было ли это следствием страсти его к спорам? В новейшее время мы также знали одного поэта, только настоящего, который в словесной борьбе находил величайшее наслаждение; но он брал диалектикой, умом и всегда умел сохранять в ней учтивость и хладнокровие [Хомяков]. Катенину же много помогали твердая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием. Не из угождения Шишкову (ибо он никому не хотел нравиться, а всех поражать), а так, из оригинальности, в надежде служить примером, Катенин свои трагедии, стихотворения без меры и без искусства начинял славянизмами. И чтó это было? Верх безвкусия и бессмыслия! Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступиться с оружием в руках. Если б он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом [1].

И граф Сергей Павлович Потемкин был тоже поэт и офицер, и того же Преображенского полка. Тройственный союз его с Шапошниковым и Висковатовым недолго продолжался. Стихотворство у него была прихоть богача, роскошь его: он любил не театр, а актрис, не литературу, а маленькое меценатство. Он соскучился, женился, переехал в Москву и там принялся за другого рода роскошь, более блистательную, в которой показал он гораздо более вкуса и уменья, но которая довела его почти до нищеты. Оба товарища его пропали потом без вести, как будто канули в воду. Наши предки, которые, вероятно, слыхали о Лете, под этим разумели быть поглощену забвением.

Была еще пара писателей, которые по сходству названий всегда вместе близнецами приходят мне на память. Один из них, Евстафий Станевич, кажется, малороссиянин,

[1] Пушкин признавал за ним критический талант и способность быть разносторонним в литературных мнениях, но Катенин относился к Пушкину неискренно.

переводчик юнговых «Ночей», с душою мрачною, почитался у нас Рембрандтом поэзии. Другой, Анастасевич, поляк, употребляем был графом Хвостовым для разных послуг, замечателен был тем, что в русские свои переводы и сочинения вводил множество польских слов, западных императоров называл заходными и слуг именовал всегда холуями.

Пора мне остановиться. Я ведь не взялся писать биографии литераторов и историю тогдашней литературы, а представить только то, чтó в это время об ней придет мне на память. Чем дальше в лес, тем больше дров, и я вижу, что если стану подбирать все щепки, то никогда не кончу сей главы.

Вообще в первое десятилетие Александрово, петербургский так называемый ученый мир молодечеством и самохвальством старался взять верх над московским; а в сей последней, как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью и, как Дон-Кишот в дмитриевой басне говорит грубиянам: «не бей меня, но пой», одни облекались в броню и вооружались мечом, другие венчались розами и в руках держали свирель. Жаль только, что петербургские писатели со смелостью соединяли мало ума и таланта и что вечные похвалы их отечеству, как, например, в «Храме славы российских героев» новгородского губернского прокурора Павла Юрьевича Львова, никого не воспламеняя, на всех наводили сон и зевоту.

Владея бесспорно Парнасом, не дозволяя никому иметь литературного мнения, противного их мнениям, и полагая, что мнимые их противники осуждены никогда не покидать Москвы, петербургские главные писатели не могли предвидеть, что против их неограниченной власти может скоро составиться союз и заговор. И действительно, в целом Петербурге всего на все был один только не с большим двадцати лет молодой человек, Блудов, полный ума и вкуса, который позволял себе явно осмеивать их недостатки и претензии и писать на них эпиграммы [1]. Для обуздания его

---

[1] Д. Н. Блудов (1785—1864), очень образованный и одаренный, был деятельным участником «Арзамаса» в борьбе этого общества с литературными староверами. Близкий приятель арза-

хотели они, хотя тщетно, употребить даже высшую власть Прибывший в 1805 году Александр Тургенев пристал к нему, но был более его осторожен. Я слушал их с удивлением: мне казалось странно и непонятно живое участие, принимаемое ими в сем деле. Мне было не до Шишкова: я бредил тогда Лагарпом, Парни, Фонтаном и Шатобрианом.

Вдруг пришла ужасная весть. В Твери, у Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где, по словам их, должны были встречаться все одни милые Святополки и нежные Мстиславы. Не прошло месяца, как Дмитриев назначен министром юстиции и скоро прибыл в Петербург; и он прибыл не один, а привел с собою немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши, Милонов, Граматин и Дашков; первые два были только что поэтами, последний тем, чем бы только захотел он быть. Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня; много было его и в Граматине, но он также далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине или лучше сказать в водке; последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать. О Дашкове, о незабвенном Дашкове, о котором воспоминание останется всегда прекраснейшим в моей жизни, здесь говорить не буду: в эту минуту я не чувствую себя способным достойным образом изобразить его.

Глава славянофилов или варягороссов, как их тогда называть начали, со товарищи видели в министерстве Дмитриева опасность для своего всемогущества, тогда как обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он ча-

---

масцев — будущих декабристов, Блудов в политическом отношении был очень осторожен и даже не был под следствием по делу о заговоре. Николай I привлек даже его к участию в работах следственной комиссии, и составлением известного «Донесения» этой комиссии, в котором очернены все лучшие представители тогдашнего русского общества, Блудов вызвал справедливые резкие отзывы своих бывших друзей. Николай очень ценил административные и литературные таланты Блудова — назначал его на ответственные государственные посты, поручал ему составлять манифесты. При Александре II Блудов снова стал проявлять либерализм своей молодости.

сто принимал у себя Блудова и Тургенева, за тихою трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете, между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Граматину и Милонову. Конечно, все это можно было почитать зародышем оппозиции; но ее еще не было, а противники замышляли уже задушить ее при самом рождении.

Этого мало: им хотелось, в случае первой неудачи, поставить твердый оплот против распространения ее дальнейших успехов. Российская Академия была тогда ветхое укрепление, почти на две трети защищаемое ветеранами литературы. И хотя Шишков был уже ее душою и убылые в ней места пополнял одними своими клевретами, но все еще упрямился жить и президентствовать в ней полумертвый действительный тайный советник Андрей Андреевич Нартов, не совсем ему покорный. Надобно было из-за нее воздвигнуть твердыню, которая, содержа ее в повиновении, служила бы ей в одно время и защитою. Следствием глубоко-обдуманных мер, плодом искусно-начертанного стратегического плана было, в октябре месяце 1810 года, рождение «Беседы любителей российского слова».

Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено об'яснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово: отечество. Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное; но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Гишпания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке на-

чали восхвалять русский, из'являть желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами.

Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний «Беседы» отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние, торжественные собрания «Беседы». Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах.

Часть театральная, декорационная, была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества.

Наподобие государственного совета, составленного из четырех департаментов, и «Беседу» разделили на четыре разряда и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по нескольку членов и по нескольку членов-сотрудников,

которые, составляли как бы канцелярию «Беседы». Вообще, она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в совете, граф Завадовский и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский; как будто насмех, четвертым посадили министра юстиции Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Греч [Н. И.], о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов хотя и выдал особу свою «Беседе», но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню «Квартет», где проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им: «Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь».

Чтобы ни говорили, а «Беседа», может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу (более он сделать не мог), а тот с своим чудесным умом и талантом не оставил ими воспользоваться.

Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое, по неопытности, могли бы впасть, глядя на московских вздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное действие на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных состояний и согласию между ними, столь необходимых в эту памятную эпоху.

Как ни велико было авторское полчище, набранное «Беседою», все еще оставалось много людей, упражняющихся в литературе, которых она восприять не захотела или которые сами в ней быть не пожелали. В это время число их до того увеличилось, что можно было, по при-

меру Ривароля[1] до революции, составить в одном Петербурге маленький словарь маловеликих людей. Служащий в министерстве просвещения Димитрий Иванович Языков, человек ученый, переводчик шлецерова «Нестора», нашел, что из сих остатков можно создать еще новое особое общество, предложил им о том, получил их согласие, для заседаний выпросил одну из зал опустевшего Михайловского зáмка и сделался первым президентом общества любителей наук, словесности и художеств.

Никто из членов его не смел и подумать вступить в соперничество и борьбу с «Беседой»; хотя Дашков, Милонов и Граматин были приняты в число их, однако же, умели сохранить некоторую от нее независимость. Между ними были примечательны два человека: петербургский Измайлов, которого звали Александр Ефимович, да еще Александр Христофорович Востоков, который из любви к России бросил немецкое прозвание Остенек.

Первый был всем известный баснописец в роде Крылова. Между ними была та разница, что Крылов умел облагораживать простонародный язык, а этот сохранял ему всю первобытную его нечистоту. Одним словом, и все в том соглашались, это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, в харчевню или в питейный дом.

Востоков, кажется, был нечто в роде Мерзлякова, более профессор поэзии, чем поэт, искусный учитель пения, у которого не было голоса. Он заикался, и это напоминает мне стихи его, о самом себе написанные:

Язык ему не додан смертных,
Но дан язык богов.

Многие уверяли, что и на этом он заикается.

Еще было одно общество, но не столько литературное или ученое, сколько приятельское. Оно состояло тогда из пяти или шести человек и собиралось только отобедать,

---

[1] Ривароль, французский политический деятель и писатель, в 1783 г. выпустил «Маленький альманах наших великих людей», где дал ядовитые характеристики тогдашних французских мелких писателей; в 1790 году выпустил «Малый словарь великих людей революции», представляющий собой коллекцию злых характеристик.

потолковать или провести вечер у мецената своего, Алексея Николаевича Оленина, о котором также не здесь, а далее должен буду много говорить. Принадлежа ко всем и ни к которой из партий или общества, члены оленинские, даже в доме его, хлебосольном, для всех открытом, и принимая участие в общей веселости, составляли какой-то особый мир, имеющий особые мнения, особые правила. Отличнейшими или отличенными между ними были Крылов и Гнедич. Других не назову, кроме одного, Александра Ивановича Ермолаева, скромного, молчаливого и ученого человека по части русских древностей. Он был из числа тех людей, кои, оторвавшись от житейского, всем духом своим погружаются в любимую науку.

Труды свои одна только «Беседа» издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения. Журналов в продолжение этого времени было много в Петербурге, все менее, чем в Москве; но, как уже я сказал, я мало ими занимался и немногие помню. «Северную почту» называть бы не следовало, ибо эта была официальная газета, называемая политическою.

Еще был «С.-петербургский вестник», да еще «Улей», журнал непозволительно-безобразный и глупый как по содержанию своему, так и по наружной форме: оберткой служила ему темносерая, толстая бумага с волосьями, а издателем Анастасевич, под руководством графа Хвостова.

Как бы мне еще не забыть «Сионский вестник» и им заключить сию длиннейшую изо всех глав моих Записок. Издателем его был Александр Федорович Лабзин, конференц-секретарь Академии художеств, часть, которою он совсем почти не занимался. Сказывали, что он был человек строгой нравственности, живого и пылкого характера и что чистосердечие его часто обращалось в грубость[1]. Он был ученик Николая Новикова, и журнал его, можно сказать,

---

[1] А. Ф. Лабзин, между прочим, известен своими общественно-политическими выступлениями. Он очень резко выступил публично против избрания Аракчеева в почетные члены Академии художеств. Когда же другие члены Академии указали на то, что Аракчеева надо выбрать, так как он самое близкое лицо к государю, то Лабзин сказал, что в таком случае надо выбрать и царского кучера, который сидит еще ближе к царю.

был продолжением «Утреннего света» и «Вечерней зари» тех, кои наставник его некогда издавал в Москве. Нужно ли говорить, что он был чисто-религиозного содержания, но в духе мартинизма, им исповедуемого, и наполнен был мечтательностью, отвлеченностями, немногим понятными, и что оттого немногие и читали его? По моему мнению, христианский журнал тогда только может быть у нас полезен когда он будет верующих еще более утверждать в православии и распространять свет его между неверующими, а «Сионский вестник» был явным посягательством на его права. Сильное действие его обнаружилось после, когда источником мистицизма сделалась сама верховная власть и он усиливался разлиться по всему лицу земли русской Здание, ему в охранение и в честь его воздвигнутое, Библейское общество, внезапно рушилось, расшиблось, и редко где ныне можно встретить его дребезги.

Несчастным происшествием начался печальный 1811 год В то самое время, когда все тешились и плясали, встречая его, Большой каменный театр, близ Коломны, заново отделанный, славный и обширный, ровно в полночь загорелся; никакими средствами не могли унять пламя, и зарево его до утра освещало весь испуганный Петербург. Люди, которые ждут беды, во всем готовы видеть худое предзнаменование. Один только главный директор театра, Нарышкин, не терял веселости и присутствия духа: он сказал по-французски прибывшему на пожар, встревоженному царю: «Ничего нет более: ни лож, ни райка, ни сцены, все один партер, tout est par terre» [«все на земле, сравнялось с землею»].

Я шел в это время пешком к себе на Малую Воскресенскую улицу с Фурштатской, от сестры и зятя Алексеевых, которые за неделю до того приехали. На столь дальнем расстоянии меня так и обдало светом.

По убеждению Александры Петровны Хвостовой, с которою дружба все продолжалась у нас попрежнему, с самой осени жил я против ее квартиры, в доме одного сенатора Болотникова. Забор этого не совсем еще достроенного дома, близ Литейного двора, выходил прямо на Неву, и тем представлялось мне приятное удобство спокойно

прогуливаться во всякое время, даже ночью, по гладким, всегда вычищенным гранитам ее набережной.

Согласно желанию той же Хвостовой, познакомился я и с хозяевами дома, и они должны непременно войти в опись встреченных мною в жизни странных людей. Начнем с супруга.

Во время первой молодости графа Бобринского[1], когда императрица Екатерина могла еще надеяться, что из него выйдет что-нибудь путное, велела она между кадетами Сухопутного корпуса выбрать двух молодых людей, которые бы от других отличались особым прилежанием к наукам и примерным поведением, чтобы сопутствовать ему за границу, куда посылала она его для довершения его воспитания. Выбраны были Борисов и Болотников, произведены в гвардии офицеры и отправлены путешествовать. Про Борисова я ничего не знаю; а степенный, неподвижно-серьезный Болотников, вероятно, должен был находиться в вечном разладе с невоздержанным, расточительным Бобринским; они воротились неприятелями. Несмотря на то, государыня не лишила его своего покровительства, и неимущий, мелкий дворянин, с самым малым состоянием, но с великою бережливостью и порядочным пособием мог поддержать себя в гвардии до капитанского чина. В шведскую войну, при Екатерине, находился он в походе, влюбился во вдову убитого подполковника фон-Бушена и женился на ней. Она была дочерью шлиссельбургского достаточного фабриканта, крещенного еврея Лемана, и оттого и денежные его обстоятельства значительно поправились. Он был полковником и командовал каким-то пехотным полком, когда Павел воцарился; при нем успел он быть произведен генерал-лейтенантом и при нем же, как водилось, успел он быть отставлен. «Будет с меня», — сказал он, поселился в деревушке, где-то в соседстве с Аракчеевым, и редко являлся в Петербурге.

Елисавета Христиановна, вдова фон-Бушен, урожденная Леман, имела все правá называться немкой, и она воспользовалась ими, чтобы сделаться любезною и угодною

---

[1] Сын Екатерины II от Григория Орлова, возведшего ее на престол после убийства Петра III.

графине Ливен, воспитательнице великих княжен. По ней и второй супруг ее, Алексей Ульянович, пользовался милостью и покровительством графини, тем более, что расчетливость его и точность, совсем не русские ей были очень известны. Когда просватали Екатерину Павловну за принца Ольденбургского и начали заниматься составлением ей особого двора, то графиня Шарлотта Карловна рекомендовала генерала Болотникова вдовствующей императрице, как человека самого способного к занятию должности гофмейстера, а с другой стороны, Аракчеев поддержал это предложение у государя. И действительно, с качествами хорошего немецкого эконома соединял он усердие и смелость русского дядьки, который барское добро бережет как глаз и, в случае нужды, может поудерживать молодых господ. С этою мыслью отправился он в Тверь и, принявшись за дело, целый двор заставил во всем нуждаться. Все вопияло, и когда великая княгиня позволила себе ласково заметить ему, что в таком усердии есть некоторая преувеличенность, то получила в ответ, что обязанность его смотреть за тем, чтоб она не предавалась излишней расточительности, и, в доказательство своих прав, её самоё начал он морить с голоду. Я заметил, что для людей и особенно для женщин, одаренных необыкновенным умом, нет более мучения, как обязанность всегда находиться в обществе и в беспрестанных сношениях с людьми самодовольными и бестолковыми; это у них обращается в некоторого рода болезнь, которую другие хотят или не могут понять. Можно себе представить досаду женщины, довольно самонравной, именем и головою подобной своей великой бабке, смотря на неподвижное бревно, во всех самых простых действиях ее жизни загораживающее ей дорогу. Долее пяти месяцев он при ней оставаться не мог, и окружающие ее находили и это удивительным. Заставили этого человека богу молиться, а он лоб расшиб, только к счастью не больно.

Он долго служил в Семеновском полку вместе с Дмитриевым. Вероятно, сей последний находил его странности забавными, тайком подсмеивался над ним, ласкал его как нужного для себя человека, а тот привязался к нему, и наконец сам Дмитриев был нежно к нему расположен. Его сделали министром юстиции в то самое время, когда шло

дело об избавлении Екатерины Павловны, об удалении Болотникова из Твери. Он мог неприятным образом быть отставлен; но Дмитриев, пользуясь первоначальным кредитом своим у государя, выпросил ему сенаторство, с сохранением придворного мундира и всего весьма большого содержания, по званию гофмейстера им получаемого. Ведь всегда же счастье... нет, не скажу, кому.

Несмотря на безрассудность его поведения при дворе великой княгини, слыл он человеком чрезвычайно дельным, и по всей справедливости называли его весьма трудолюбивым. Он хотел быть беспристрастным и сведущим судьею и вникнуть в существо каждого дела, а понять дела самого простого не мог без величайшего труда. Оттого Дмитриев в шутку, хотя и в глаза, называл его Долбилиным, находя, что каждый вопрос долбит он, чтобы добраться до его смысла. С этим сравнением я не согласен; по-моему, напротив, каждую мысль надобно было как гвоздем вколачивать в твердый как гранит его череп и в одеревенелый мозг.

Изредка посещал моих хозяев один мой знакомый, мой земляк, пензенский помещик, отставной генерал-майор Алексей Данилович Копиев. Это лицо было гораздо примечательнее тезки своего Болотникова, с характером которого имело и некоторое сходство и много противоположностей. Он был известен всей России, в сих записках часто мимо его проходил я с пером в руке; не знаю, как он ускользал от него; теперь не должен увернуться. Начертание его биографии если не для читателя, то для меня самого будет весьма занимательно.

Правда или нет, что отец его был еврейского происхождения, какое мне до того дело; довольно с меня и того, что Даниил Самойлович Копиев (которого знаю только понаслышке) принадлежал к нации благородно мыслящих и действующих людей. Он был первым вице-губернатором в Пензе, когда Ступишин был губернатором; они равны были честностью, а не умом; но в том было его еще достаточно, чтобы его уважать в Копиеве и пользоваться им. Вдову его, Надежду Карповну, урожденную Ельчанинову, я знавал; она до глубокой старости оставалась в Пензе, где и скончалась.

От этой четы, сверх четырех или пяти дочерей, родилось одно чадо мужеского пола: это наш герой. В нем не было

ни злости, ни недостатка в уме, ни одного из пороков молодости, которые иногда остаются и в старости; а со всем тем трудно было бы приискать что-нибудь ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступках, и это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства: он старался их превзойти. Будучи офицером гвардии в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным, довольно строгим, но слабодушным начальником своим, Арбеневым. Все сходило ему с рук, по добродушию и невниманию этого начальника, и все более умножало его смелость. Его репутация, как остряка и балагура, дошла до князя Зубова, который, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, бесчисленную, составленную из ад'ютантов, ординарцев и чиновников для поручений; он поместил его при себе с чином армейского подполковника. В продолжение нескольких лет, последних царствования Екатерины, все покровительствуемые Зубовым и при нем состоявшие пользовались совершенною безнаказанностью. Копиев был довольно молод, а молодости если не все, то многое прощается; проказничал же он более речами, и к его забавной наглости были снисходительны даже в большом обществе. Он не замечал, что нечувствительным образом превращался в княжеского шута и что сего рода людям в России все дозволялось. Только лестно ли таким правом пользоваться?

По вступлении Павла на престол Зубов низвергнут, и Копиев остался без подпоры с своими пресловутыми фарсами. Всех возмущала тогда перемена мундирной формы по старинному прусскому образцу, все возроптали, и Копиев пожелал угодить общему мнению. Он, как говорили тогда, выкинул штуку: заказал себе в преувеличенном виде все, ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косу и пукли и в этом шутовском наряде явился к Павлу, который шутить не любил. Но в первые дни он хотел казаться милостивым и снисходительным, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, к которому он принадлежал и который стоял в Финляндии. Анекдотов про него была куча; он не унимался, по старой привычке неосторожно врал и ругательными насмешками продолжал преследовать царя. Тут

ему даром не прошло: он разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк там же в Финляндии. В сем горестном положении влюбился он в единственную дочь одной небогатой помещицы, которая, к его счастью, согласилась ее за него выдать. Донесением этого события умели искусно растрогать, разжалобить императора, который велел отставить его прежним подполковничьим чином, но там же в Финляндии оставить на жительстве. Тогда сам он купил там поместье и думал поселиться в нем навеки. В первые месяцы при Александре Пален и Зубовы делали что хотели; они вызвали Копиева из заточения и в сравнении с сверстниками доставили ему прямо чин генерал-майора; но времена переменились, и после того никогда уже он употреблен быть не мог.

Он теперь более чем в пожилых годах. Не один десяток лет оставался он, можно сказать, в неподвижном состоянии; самые черты лица его почти не изменялись, но отношения к нему общества совсем переменились. Бесчинство и богохульство в старости во всяком должны производить омерзение; его циническая неопрятность и совершенно еврейская алчность к прибыли, без всякого зазрения совести и как бы напоказ выставляемая, должны были рождать к нему отвращение. Странно, как с умом его он был всегда нечувствителен ко всеобщему неуважению: лишь бы сорвать улыбку, хотя бы презрительную, и он оставался доволен. С Болотниковым он сходствовал скупостью; но у того хоть все было в обрез, зато все опрятно, а у этого и мебель, и люди, и сам он — все оборвано, все запачкано, все засалено, не от небрежности, а от износки. Он век проходил в зеленом фраке; уверяли, что для того скупает он поношенное сукно с биллиардов, и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где становились шары. И он же всегда ругался над графом Хвостовым, утверждая, будто его назвать нельзя без «с позволения сказать». Веселый ум всегда встречал я с удовольствием, и я вкушал Копиева, как говорят французы; но, признаюсь, иногда и мне от него тошнилось.

Я не назвал его между литераторами, потому что он совсем с ними не водился, хотя так, про себя и писал стихи и драматические творения. Его шутовски забавные комедии: «Лебедянская ярмарка», «Княгиня-муха» и другие были играны при Екатерине с успехом и напечатаны.

Он любил русить иностранные слова; у него выше сего заимствовал я слово апропее; про лифляндских помещиков говорил он, что у кого из них более поместьев, тот и фонее. Из множества стихов, коим иногда душил он меня, одно четверостишье осталось у меня в памяти. Он питал любовь к какой-то княгине, которая на нее не отвечала, что приписывал он холодности ее сердца, и он написал:

Боже, ты, се создавши,
Иль мой пламень утуши,
Иль, все прелести ей давши,
Дай хоть крошечку души.

Кажется, как бы легко сделаться ему порядочным человеком. Он никогда не был развратник, а только что срамослов; всегда шутил над семейными и супружескими добродетелями, а был верен и предан жене своей, благонравной, скромной и пристойной, и без памяти любил детей; ни против кого не имел ни злобы, ни зависти, а ни о ком не умел сказать хорошего слова; для красного словца, как говорилось тогда, не щадил он если не отца, то матери и сестер, к коим, впрочем, чрезвычайно был привязан. Наклонности, полученные нами в молодости, видно, ничто исправить не может.

Раню поутру приехали мы [с Копиевым] в Кексгольм, сделав всего только 140 верст, и остановились на все утро у какого-то финна, приятеля г. Копиева. Я ходил смотреть упраздненную крепость, и в ней показывали мне семейство Пугачова, не знаю зачем все еще содержавшееся под стражею, хотя не весьма строгою. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей: простой мужик и крестьянки, которые показались мне смирными и робкими. Обедали мы не весьма вкусно: нас потчивали чухонским кушаньем; между прочим кормили салакушкой с молоком и в молоке же вареною черникой да кнакебрё, сушеными лепешками, а поили швадриком, квасопивом. После обеда отправились мы прямо на мызу Копиева, от Кексгольма в 20 верстах лежащую.

Таким образом прошла для меня первая треть 1811 года, которая, равно как и глава эта, вся наполнена была двумя Алексеями: Болотниковым и Копиевым. С первым хотя иногда и встречался, но к счастью ни дел, ни даже никаких сношений с ним более в жизни не имел.

Предчувствуя, предвидя общую для нас войну с Западом, весь Петербург в 1811 году нетерпеливо желал скорейшего окончания частной войны нашей с турками. Никто уже не мечтал о том, чтобы наш молодой полководец, по примеру и по следам Олега, прибил русский щит ко вратам Царе-града; но все были уверены, что граф Каменский, хорошо познакомившись с местностями задунайскими, будет уметь в следующую кампанию нанести неприятельскому войску столь сильные удары, что принудит турок к выгодному для нас миру, как вдруг, в конце февраля, получено было известие, что сей с небольшим тридцатилетний воин лежит в Бухаресте на смертном одре.

Кому было вместо него поручить армию? В это время вопрос сей был довольно затруднителен. Искусный старик, Михаил Ларионович Кутузов, лучше других знал турецкую войну: во время первой при Екатерине в 1770 годах, когда был он еще молод, и в продолжение последней, когда был он в зрелых летах, беспрестанно отличался он под начальством Румянцева, Потемкина и Суворова и, наконец, по заключении последнего мира, находился чрезвычайным послом в Константинополе. Он охотно согласился принять начальство над молдавскою армией, к которой поспешно и отправился.

Он нашел молодого предместника своего распростертого, безгласна, бездыханна, окружил его самыми нежнейшими попечениями (старик был самый привлекательный, когда хотел), и как скоро в южном краю наступило теплое время, с бережливостью отправил его в Одессу, в сопровождении ад'ютантов его и медиков. Я говорил уже о причинах расстройства его здоровья; но действия их не могли развиться с такою быстротой, тем более что всю зиму чувствовал он себя совершенно здоровым. После вечера, проведенного у жены одного грека, консула не помню какой державы, на котором выпил он стакан лимонаду, приключилась с ним сия скоропостижная болезнь, и подозрения в отраве были единогласны. Ненависть всегда охотно взводит клевету на врагов; многие уверены были, что сие сделано по наущению генерала Себастиани, бывшего французским посланником в Константинополе. Это не стóит опровержения; ибо где примеры, чтобы Наполеон пытался чрез доверенных своих изводить сильных и опасных противников, которых так много было

на свете? Скорее в этом видно нечто византийское, фанариотское. По прибытии в Одессу он прожил недолго; он таял как воск, и говорят, что как воск были мягки его кости, когда после кончины его, около половины мая вскрывали его тело. Его смерть можно было сравнить с кончиною другого русского молодого героя, князя Скопина-Шуйского, но о сем последнем никто тогда не ведал у нас.

В половине июня Кутузов одержал немаловажную победу над собравшеюся довольно многочисленною турецкою армией. Потом все лето в частых встречах с неприятелем русские всегда брали верх, и за каждым успехом последовало предложение о мире, который один был только целью желаний правительства и войска. Главным его условием все-таки оставались Молдавия и Валахия, столько раз нами занимаемые, которые полтораста лет, как клад, нам не даются.

Осенью не осталось ни малейшего сомнения насчет намерений всемирного завоевателя, быстро к нам приближавшегося, никаких надежд не только на продолжение с ним мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы с турками сделались уступчивее, сбавили спеси и, вместо двух больших княжеств, стали ограничиваться рекою Прутом и узкою Бессарабией, мне после столько знакомою. С этим делом скорее можно было поладить; прошел даже слух, что Кутузов, столько же дипломат, как и воин, успел уже подписать о том и трактат, и Марин, более царедворец, чем поэт и воин, успел уже на этот случай написать стихи, в которые вклеил каламбур, что старик наказал мусульман и мечом и Прутом. Ожидания не сбылись: хотя трактат и действительно был подписан, но стараниями французского посольства в Константинополе не был ратификован, и всю зиму на этот счет остались мы в беспокойном состоянии.

Я говорю все мы, разумея под этим бо́льшую часть жителей Петербурга, а внутри России только тех людей, кои, одарены будучи рассудком и чувством, имели довольно просвещения, чтобы видеть опасность, грозящую их отечеству, и скорбеть о том. Число бесчувственных невежд, разумеется, было всотеро больше, и они, как говорится о мужиках, тогда только перекрестились, когда гром грянул над ними.

Показалась на горизонте ужасная, великолепная, блестящая комета с огромным хвостом, которой подобной я во

всю жизнь мою не видывал ни прежде, ни после. Все лето, вплоть до осени, горела она на нашем небе и освещала мои вечерние и ночные прогулки. Как простолюдин, веровал я в сие страшное знамение и в мрачных мыслях невольно стал переноситься в будущее.

Осень стояла сначала столь же ясная, тихая и жаркая, как лето; многие приписывали это действию кометы, которая все продолжала еще бедой сверкать нам в очи. Эта осень замечательна была двумя событиями в столице: окончанием и освящением Казанского собора и основанием Царскосельского лицея.

Вообще цари, и особенно самодержавные, любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования; и замечательно, что чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздымались: доказательством тому служат в преданиях существующий Вавилон, пирамиды, Колизей и все египетское и римское гигантское зодчество (греческие произведения в сем роде более отличаются грацией и совершенством форм). Когда император Павел окончил свой, по мнению его, чудо-дворец, что ныне Михайловский или Инженерный зáмок, и на короткое время поселился в сем сооруженном себе храме, то задумал воздвигнуть другой храм и божеству и незадолго перед смертью своею заложил новый Казанский собор. Старый, даже при Елисавете, стоял почти на краю нераспространившегося еще города, над мутным ручьем, называемом Черною речкой, чтó ныне вычищенный, но все-таки грязный Екатерининский канал. Подобно некоторым, находящимся доныне в Петербурге церквам, был он не что иное как продолговатый, просторный каменный сарай с довольно высоким деревянным куполом; позади его находилось обширное место, избранное для помещения его великого преемника.

Великим строителем нового храма назначен был граф Александр Сергеевич Строганов. Он всегда был покровитель художников и любитель художеств, не знаю до какой степени в них сведущий; с иностранным воспитанием и вкусами сочетая русские навыки и хлебосольство, жил он барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рождением, но и талантами отличающихся людей. Он был старик про-

свещенный, умный и благородный, однако же, вместе с те довольно искусный царедворец, чтобы ладить со всеми лю бимцами царей и пользоваться благосклонностью четыре венценосцев. Ему удалось устранить от строения собор строившего Михайловский замок самозванца архитектор Бренну, весьма любимого Павлом, бывшего в Италии едва л посредственным маляром, и предложить доморощенного сво его зодчего Воронихина. У Павла совсем не было вкуса, Александра очень много; но в первые годы своего царство вания чрезвычайно любил он колонны, везде они были ему надобны, и оттого-то сохранил он утвержденный отцом его план, ибо на нем находились они в большом изобилии.

Все огороженное место вокруг новостроящегося храма равно как и вход во внутренность его, когда строение его начало приходить к окончанию, оставались открыты для любопытных; не так, как ныне, когда никому, исключая самых избранных, не дозволяется взглянуть на работы, производящиеся десятки лет, когда как будто опасаются, чтобы порядочно одетые люди днем не утащили лежащие кирпич и известку, когда фиглярство строителей хочет какою-то таинственностью закрыть от народа совершаемые им чудеса Мне иногда случалось входить в достраивающееся здание, и нельзя было не подивиться богатству, расточаемому для внутреннего его убранства. Мраморный узорчатый помост, необ'ятной величины полированные монолиты, составляющие длинную колоннаду, серебряные решетки, двери и паникадилы, покрытые золотом и облитые бриллиантами иконы, все должно было изумлять входящих во храм. Некоторые, однако же, позволяли себе сравнивать архитектора с неискусным поваром, который, начиняя все кушанья свои перцем, инбирем, корицей, всякими пряностями, думает стряпне своей придать необычайно приятный вкус.

Ровно через десять лет после венчания на царство императора Александра, 15 сентября, происходило освящение нового храма. Все носящие мундир, без из'ятия, были допущены во внутренность его; у меня мундира не было, и я на улице скромно стоял между фраками и крестьянскими кафтанами, в народной толпе.

Не столь блестящим образом в октябре было открытие Царскосельского лицея. Кто подал мысль, или кто первый

имел ее об его основании, не знаю, но если не ошибаюсь, то кажется сам государь. В первоначальные счастливые годы его царствования любил он свою простонародность (слово, которым я думаю заменить употребляемое ныне популярность). Наскучив пышностью и величием, среди коих возрос, всегда любил он также простоту как в одеянии, так и в образе жизни. Изо всех дворцов своих, самый укромнейший, совсем забытый Каменноостровский дворец выбрал он летним своим местопребыванием. Так было до Тильзитского мира, после которого стал он предпочитать Царское Село.

Странная была участь этого казенного городка и дворца его! Он никогда при начале, а всегда под конец царствования государей делался любимым их убежищем. Место, подаренное Петром великим Екатерине I, в стороне от большой московской дороги, тайком от него засадила она липовыми деревьями и построила на нем трехэтажное высокое, но не обширное здание. В августе 1724 года в первый раз угощала она тут своего дарителя; все ему чрезвычайно понравилось, и он возвестил, что не только гостить, но даже часто будет жить у нее; в следующем январе он скончался. Несколько лет Екатерина II предпочитала петергофский вид на взморье другим увеселительным местам своей столицы, пока не прилепилась к Царскому Селу; тогда наложила она на него свою могущественную руку и тут, как и во всем, что предпринимала, творила чудеса, так что сын ее, малолетний, когда она вступала на престол, все почитал тут ее созданием. Конечно, не из сыновней нежности совершенно бросил он Царское Село и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать; все начало глохнуть, поростать крапивой, покрываться тиной, все портиться, валиться, и сие грозящее разрушение певец Екатерины, Державин, грустно изобразил в стихах своих под названием «Развалины». Окружающим Павла I жалко стало русского Версаля, и они, убедив его, что оно творение не одной матери его, но бабки и прабабки, склонили в июле 1800 года в него переехать. Он прожил тут до сентября, с быстротою, с которой от одного чувства переходил к другому, нашел место сие очаровательным, гораздо лучше его Павловска, и об'явил намерение свое каждое лето проводить в нем по два месяца. Он не мог его исполнить: в марте его не стало.

При торжественном открытии лицея находился Тургенев [1]; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василья Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело! Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то в миг пробудилось все мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России; как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов.

Возвратясь [в Петербург] после краткого отсутствия, я нашел его жителей несколько уже в тревожном ожидании. Находясь гораздо более в соседстве с Европой, по образу жизни и по всякого рода сношениям принадлежа к ней более, чем внутренние части государства, Петербург сильнее чуял приближающуюся грозу, которая, однако же, не над ним должна была разразиться. Трудно об'яснить состояние, в котором находились тогда умы; не видно было уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности: заметно было какое-то грустное чувство, не совсем лишенное надежды. Казалось, все думали, а многие и говорили: ну, что̀ делать, увидим, что-то бог даст! В высшем кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себе более бодрости. Так иногда испуганные громко распевают, чтобы заглушить в себе страх.

Забыты прежние неудовольствия на правительство. Против чрезвычайного умножения налогов, требования добровольных приношений не поднялся ни малейший ропот: все чувствовали, что при наступлении решительной, окончательной борьбы государству нужны всевозможные вспомогательные средства. Гвардии велено приготовиться к выступлению в поход, и, нежно смотря на нее, наперед все уже напутствовали ее благословениями; офицеры вдруг все вы-

---

[1] А. И. Тургенев устроил прием Пушкина в лицей. Об открытии лицея и о годах учения в нем Пушкина, см. И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Ред. С. Я. Штрайха». М. — 1927.

росли и в глазах граждан сделались существами священными. Воззрение на спокойно-печальный Петербург было тогда истинно трогательно.

Оставил я город [Москву — по пути в Пензу], который уже в ином виде должен был узреть. В самую минуту выезда моего из Рогожской заставы, вместе со мною проехала чья-то погребальная процессия, и потом, странное дело, во всю дорогу все говорило мне о смерти, все напоминало об ней. На станции Мошки, близ Мурома, захотелось мне отдохнуть; я был тогда неприхотлив и растянулся на голой лавке. На ней же, повыше меня, лежало что-то длинное, покрытое простыней; входя в избу, спросонья мне показалось, что это собранный холст. Проснувшись поутру, я увидел, что это труп покойника, положенный под образа, и что я проспал у ног его. На другой станции за Муромом нашел я в почтовой избе вынос тела младенца. Далее, за Арзамасом, глас смерти сделался мне как будто еще слышнее; у меня правил лошадьми молодой, красивый парень, который так и заливался слезами; когда я спросил его о причине, он отвечал мне: «Да чтò, барин, у меня и руки и ноги трясутся, я себя не помню; ребята сказывали, что у меня отец помер на той станции, куда мы едем. Ох, да кабы ты знал, как я люблю его!» Под'езжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами; вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямился, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения. Я все это помню как диво, хотя и очень знаю, что не для меня многогрешного могут твориться чудеса, и передаю это просто, как оно было, читателю: поверит ли он мне или не поверит, мне все равно. С этого времени началось мое суеверие.

СОДЕРЖАНИЕ.

